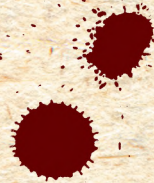


Письма из России

№1, 2008



№1, 2008

Тисбля и Юссыч

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ,
ИЗДАВАЕМЫЙ
СЕРГЕЕМ ЯКОВЛЕВЫМ

при участии
*Льва Аннинского,
Андрея Битова,
Михаила Кураева,
Валентина Курбатова,
Владимира Леоновича.*

Корреспонденты:
*Роман Всеволодов (Санкт-Петербург),
Елена Зайцева (Владивосток),
Елена Романенко (Челябинск),
Геннадий Сапронов (Иркутск),
Виталий Тепикин (Кинешма).*

Художник
Александр Архутин.

Директор издательства
Леонид Слуцкий.

ВЫХОДИТ
ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД

МОСКВА
«Знак»

Журнал «Письма из России»
выпускается на благотворительные
пожертвования.
Авторы и постоянные сотрудники
денежного вознаграждения не
получают.

Верстка: А. Колганов

Корректор: С. Терещенкова

При перепечатке ссылка на журнал
«Письма из России» обязательна.

© С.А. Яковлев

© А.Б. Архутик

(художественное оформление)

Редактор-издатель не всегда разделяет
убеждения и вкусы авторов.

Слова «Бог» и «бог» сохраняются в
авторском написании.

Рукописи и предложения
принимаются в электронном виде по
адресу: sayakovlev@yandex.ru

Издательство «Знак»
101000, Москва, а/я 648
тел.: (095) 361-93-77
e-mail: znack1993@rambler.ru

Отпечатано в ПЦ МИ,
Москва, Красноказарменная, 13

Содержание

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 **Андрей Битов**
ШОРТ-ЛИСТ

8 **Лев Аннинский**
ВЗАИМОУПОР

ПЕРЕПИСКА РЕДАКТОРА

10 **Павел Негретов**
(Воркута)
«БОЛЬШЕ УСТУПИТЬ НЕ МОГУ»

ПОЭЗИЯ

34 **Владимир Леонович**
(д. Илешево Костромской обл.)
СИРОТА В МИРУ

ПОВЕСТЬ

38 **Сергей Ручко**
(Новочеркасск)
ОБРАЩЕНИЕ

72 **Елена Зайцева**
(Владивосток)
АКЦИЯ
О повести С. Ручко

ПЕЧАЛЬНОЕ

74 **Игорь Цуканов**
(пос. Залегощь Орловской области)
СЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ

ПРЕМЬЕРА

85 **Александр Лютиков**
(Челябинск)
СТАНЦИЯ УЙ
Стихи

ПРИКОСНОВЕНИЕ

93 **Валентин Курбатов**
(Псков)
СЁСТРЫ ТЯЖЕСТЬ И НЕЖНОСТЬ
Из итальянского дневника

ПРОШУ ПРИНЯТЬ

- 111 **Александр Молотков**
(Великие Луки)
ВОЗМОЖНО ЛИ ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕСТВО?

ПРИМЕТЫ

- 117 **Максим Бабко**
(Петергоф)
ВИТЁК. ДЕРЕВНЯ
Рассказы
- 127 **Игорь Корниенко**
(Ангарск)
КАК ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИЛА.
МАРСИАНСКОЕ УТРО
Рассказы

ПРОСТЫЕ ПИСЬМА

- 136 **Татьяна Шеметова**
(Улан-Удэ)
ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ

ПРОКАЗЫ

- 153 **Мила Божович**
(Брянск)
НЕВОЗМОЖНОЕ
Гримаски и стишки
- 158 **Елена Романенко**
(Челябинск)
СЫН. КЛОП-САМОУБИЙЦА
Короткие истории

ПРИТЧА

- 160 **Светлана Тремасова**
(Саранск)
ДЕВУШКА И ЛЮДОЕД. КУВШИН. УПРЯМАЯ ОЙМЕ.
Сказки

ПОСТСКРИПТУМ

- 175 **Ананий Яковлев**
ДАЛЬНИЕ ПОЛОСЫ

Андрей Битов

Шорт-лист

У России огромное пространство. Если и есть какая вина у народа, который сумел – единственный, по-моему, на свете – осуществить в отношении себя геноцид, так это то, что он очень плохо воспользовался землей. И никак за нее не ответил. Никогда не мог я этого понять. Вот сейчас собственность снова роздана в частные руки, а у земли по-прежнему нет хозяина, потому что она захвачена и никаким местом не приращена к тому человеку, который ею владеет.

Провинция пронизана историей гораздо больше, чем Москва. Идет огромный геополитический процесс, который торжественно называется как бы воссоединением России, а на самом деле ничего подобного не происходит. Думаю, что давно зреет... ну, не зреет, совершается, просто современник никогда не видит того, что совершается, он находится в прошлом и будущем и никогда не находится в настоящем, – так вот, есть движение к тому, чтобы Москву присоединить к России, а не наоборот. Хоть Россия традиционно и централизованное государство, но в принципе – пора. Вот в этом направлении все происходит, ниточки тянутся из Владивостока, Красноярска, Костромы, откуда угодно. И обрываются. Попробуй, набрось петлю! Мне кажется иногда, что под Кремлем вымыт карст – что-то такое вымыто там, и эта штука может со всей своей красотой просто рухнуть туда, и станет ровно. Тогда что: для спасения Кремля надо прежде всего присоединить его к Москве. Потом присоединить Москву к Московскому княжеству. Потом Московское княжество присоединить, допустим, к европейской части России. Дойти до Урала и начать присоединение к Сибири... То есть проделать весь путь в обратном порядке. У нас изо всех сил делается наоборот, а это безнадежно.

В Москве, допустим, даже враждующие литературные группы – они сплавились. Как бывает ранний ледоход, а потом ледостав. Между сросченными льдинами только видимость вражды, они никого не пропустят. Я имел отрицательный опыт на «Повестях Белкина»...

Кстати, возьмите Белкина. Кем его считать? Он был помещиком, то есть жил где-то в провинции. Писал свои повести о том, как жила провинция в XIX веке, на который мы до сих пор вынуждены опираться, потому что ничего лучшего, чем было создано тогда, не сделали. Россия долго писала только дворянскую литературу, дворянин не отделялся от провинциала. Он рождался на земле, которая – по праву, не по праву – ему принадлежала. Он в нее вращался. Затем помирал – как правило, в столице или за границей, где медицина. Рождала, значит, вся Россия, а затем «в Мо-

Трижды февраль

скву, в Москву» (это образ Чехова). А до этого был Петербург. Я как петербуржец, то есть человек «опущенный» – опущенный в провинциальное состояние, немножко понимаю в этих делах. Потому и говорю: пора присоединить Москву к России. Не так уж она важна. Воспользуюсь метафорой, которую где-то уже употреблял: если вам в авоську с картошкой (авоська – утраченная культура, очень хорошая вещь) попадет от какого-то халтурщика-продавца камень, вся картошка будет испорчена. Не говоря уже о персиках. У нас такой булыжник – Москва. Великий город, любимый город, и не надо превращать его в булыжник. Он должен как-то размягчить, и это происходит. В Москве теперь – бездна диаспор...

Но вернусь к опыту с «Повестями Белкина». Есть такая литературная премия, кстати, очень московская и хорошо придуманная. Повесть – великий русский жанр, ни у кого такого нет. И есть на что оглянуться и с чем сравнить. Я не читатель, я чистый чукча, довольно-таки пропустил двадцатилетие гласности, потому что кроме публикаций, которые я уже успел прочитать во времена самиздата и тамиздата предыдущего времени, ничего не находил. Была некоторая жадность к темам, а в общем – пустота, задохнулись люди от возможности. За это время осели те, кто оседает всегда. У кого нет возможности, те начинают писать. Начала писать, конечно, провинция. России опять нечего делать, она пишет, она все время пишет.

Итак, я в жюри премии, беру шорт-лист (произведения, присланные из 30 мест) и впервые выступаю в роли читателя. Я действительно «свежая голова», потому что не читал ничего! «Кысь» не читал – ну и кысь с ней! – не читал я эту «Кысь» и не буду читать. Роман слишком толстый. Читать мне хуже, чем писать, писать еще хуже, чем читать, и так далее. Это безвыходное возрастное состояние. А повесть – то, что надо. Читаю 30 штук добросовестно, я должен это отработать за тысячу долларов, а заодно любопытно, что люди теперь пишут. Из тридцати – 5 первоклассных ве-

Мне кажется, что Вы очень национальный, русский. А их сейчас очень не хватает, особенно среди тех, кто стал в последнее время постыдно кичиться кровью, патриотично приобщаясь к общему разбою. Надо полагать, что тем, кто еще чувствует страну /"Мы живем, под собою не чуя страны..." / – не ту, которая была, не ту, которая будет, а ту, которая есть и может быть, – необходимо отстоять это чувство. Гарантии, кроме веры, и тут нет. Зато есть что и чем писать, было бы кому.

Мне Вас незачем напутствовать – я не начальник и не классик.

Когда Вы спрашивали, мне кажется Вы уже знали ответ. Думаю, Вы не можете ^{не} дописать этот роман /или он весь?/ и не начать следующий.

Суванин

А Битов

Сергее Лковлеву —
На память
об утрате
образца 1977 —
от автора второй
половины XX века —
сердечно —

Андрей Битов
Загребля 2001

щей! И все: одна из Петрозаводска, другая из Средней Азии, третья с Урала, и всё незнакомые имена. Сажу я перед очень достойным московским жюри, спрашиваю: все прочитали? Ну, говорю, раз все, раз это честно, давайте применим самый демократичный способ: каждый из вас напишет пятерку лучших, и сложим голоса.

Так вот, из тех пяти, что я выбрал, ни один не попал в их списки! У каждого были свои люди. Я тогда очень разозлился. Либо у меня нет вкуса и я уже ничего не понимаю, либо они ничего не понимают, либо, что вернее всего, они и не читали вовсе тех, кого не имели в виду заранее. Только признаться в этом они никогда не признаются.

Теперь я потихоньку пользуюсь всякими возможностями, чтобы моя пятерка получала какие-то региональные премии. А здесь сомкнуто всё. Лед! Видите, у нас даже климат против этого протестует. Зимы нет. Кстати, всё происходит по проекциям европейским. Когда-то, бывая за границей, я любил слушать и смотреть погоду по «Евроньюс» (у нас теперь есть и свой, советский «Евроньюс»), и вот какую замечательную толерантность обнаружил: Петербург — это погода в Скандинавии, а Владивосток — погода в Европе...

Лев Аннинский

Взаимоупор

Второе десятилетие я имею возможность с чувством солидарности и восхищения читать публицистику Сергея Яковлева и с изумлением наблюдаю его издательский оптимизм. Я думаю, что у него есть шанс. Потому что он верит в дело, которое иным людям кажется безнадежным. Он никогда не чувствовал себя краеведом, хотя всегда помнит, откуда он. Из Солигалича. Люди, читавшие Лескова, не ошибутся, где это и что это; кто изучал родословную академика Лихачева, тоже знает, что это за место. Яковлев очень четко помнит среду, из которой он вышел. Помнит свою родословную. Ищет связи. Из той среды он хочет выйти в то целое, что в первом приближении называется Россией, но и дальше: ведь Россия тоже часть чего-то... Вот это – тема его жизни.

Тема непростая. Первое, что приходит в голову: «А! Провинция просыпается, а Москва продолжает бесчинствовать! Провинция Москву ненавидит!» Не так всё однозначно. Москва вся состоит из приехавших сюда провинциалов разного срока призыва. Если вы и найдете какого-нибудь потомственного, «чистого» москвича, то вы обнаружите, что он заражен тем же чувством соперничества Москвы и провинции – иногда болезненным, иногда несправедливым. Допустим, мы продолжим наблюдать это душевное расхождение, будем взаимно отталкиваться дальше. Допустим, мы примиримся с тем, что люди, которые считают великим поэтом Юрия Кузнецова, никогда в жизни не раскрывали Иосифа Бродского, а люди, которые помнят наизусть Бродского, не хотят знать, кто такой Юрий Кузнецов. Если так будет продолжаться, наша славная родина распадется на несколько замечательных самостийных организмов, каждый из которых будет дышать своим воздухом. Вы думаете, что наши соседи так это дело и оставят? Вы думаете, Приморский край так и будет самостийным? Я боюсь, что его приберут к рукам другие объединители. Ни Кавказ, ни наш Север, ни южную Россию никто в покое не оставит. Так или эдак станут объединять. Как объединять? А попробуйте объединить хотя бы наши четыре писательских союза. Все эти самостийные, самостоятельные, неповторимо мыслящие группы и группочки – под нож? Снова единый союз, единый метод – этого хотим? И этого тоже не хотим. Как дальше жить?

Я думаю, будет и то и другое. Будет, как говорил Аверинцев, взаимоупор нашего стремления жить наособицу и понимание того, что наособицу можно только умереть. Нужно одновременно жить и наособицу, и держась друг за друга. Вот такая проблема стоит сейчас перед русской культурой и перед нами всеми.

Яковлев очень хорошо это чувствует. Он упорно бьется в эту стену. Первый журнал, который он издавал в начале 1990-х годов, назывался «Странник». Это тоже русская традиция. Дорога у нас обязательно на край света, а где край света? Как сказал Юрий Кузнецов – за каждым углом. И теперь вот снова задумано общение провинции и столицы. Еще раз говорю: это один народ, части которого то и дело оказываются в разной роли. И роли эти они или доигрывают, или отказываются играть, но при этом постоянно находятся в драматическом взаимоотношении. Те люди, которые завтра приедут в Москву, станут точно такими же москвичами, как нынешние москвичи, которым провинция не может простить, что кто-то уже там, а она еще здесь. Провинция всегда что-то рождает, это кроветворный орган. Она рождает новые таланты. А столица всегда эти таланты подбирает и распределяет в систему. Столица вертит головой на весь мир, у нее шея болит – у Москвы, у Парижа, у Лондона, у любой столицы. Тамошняя провинция тоже ненавидит свою столицу. Никуда мы от этой проблемы не денемся.

А то, что провинция сейчас пишет, начинает писать – может ли в России быть иначе? Мы, русский народ, по преимуществу талантливый, как сказал один деятель. Читать перестали, но писать-то не перестанут. Вопрос не в том, чтобы издать книгу, а в том, куда ее потом девать. Авансцена занята литературой, которая хочет угодить публике. Но литература – не эта мелкая возня. Хотя и возня есть. Разрешите мне напомнить один апокриф, связанный с Анной Ахматовой. Может быть, это неправда, может быть, это апокриф, однако характерный. Вроде бы ее спросили: Анна Андреевна, почему вы, акмеисты, так жестко враждовали с символистами? Вас что, какие-то принципы разделяли? Разве не из одного серебра с ними вы были отлиты? И вроде бы она ответила: да мы просто место себе от них расчищали.

Сейчас этого полно, и дальше тоже будут расчищать место – одни от других. Но поверх всего останется ощущение недостижимой и необходимой нашей общности, которая будет состоять из борьбы крайностей, всегда связанных в драматическом взаимоотношении. Одна из линий этой борьбы – состязание провинции и столицы.

Журнал, который начал издавать Сергей Яковлев, конечно, стоит на этой самой горячей точке. А то, что он называется «Письма из России»... Меня уже спрашивали: куда это вы собрались писать из России? Я растерялся, а потом подумал: если кто-то пишет, допустим, письмо из Франции во Францию – можно как-то себе представить, куда оно попадет; но если ты из России пишешь в Россию, ты ничего не можешь знать заранее. И слава богу.

Павел Негретов:

«Больше уступить не могу»

Высокий прямой старик. Уже по виду – несгибаемый.

В письмах то и дело: «прошу подтвердить получение»; «прошу исправить». На всякое упоминание, если оно касается литературы, – четкая библиографическая ссылка. Обязательность и повышенная требовательность, прежде всего к самому себе.

Познакомились мы с ним в 1987 году, когда в «Новом мире» готовилась первая публикация «Писем к Луначарскому» В.Г. Короленко. Негретов вместе с А.В. Храбровицким составлял комментарии, я был редактором. Объединенные одной целью – вернуть народу украденную у него общественную мысль, – мы еще не помышляли о разногласиях. Люди имели право знать своих праведников и пророков. В моих глазах, выстраданное Короленко народолюбие (иными словами, демократическое и гуманное либерально-почвенное мировоззрение, присущее лучшим русским людям на протяжении более двух веков) было и остается главной, самой ясной и, может быть, единственно возможной перспективой для России. Та забытая нынче публикация видится мне нравственной вершиной, на которую мы в те годы как общество и единая (в границах СССР) нация взбирались и где могли, обязаны были удержаться...

Прошлое Павла Ивановича долгое время оставалось для меня загадкой. Как он, уроженец Elizavetgrada, очутился на далеком Севере? Почему, будучи серьезным историком, выпускником Ленинградского университета, одним из лучших в стране специалистов по творчеству Короленко, работал машинистом на очистных сооружениях? Откуда эти несгибаемость, суровая прямота, независимость и бесстрашие? Он не любил о себе рассказывать, был крепко замкнут, и в этом уже чувствовалась роковая мета сталинских лагерей. Сразу после войны угодил на 15 лет каторжных работ. Через десять лет освобожден условно-досрочно.

«Это был знаменательный для меня год, первый год жизни на воле. Я прочел тогда "Курс" Ключевского и вслед за ним купленного на Сретенке Плеханова. Горизонты мои многократно раздвинулись, я как будто осмыслил все пережитое за последние десять лет. "Кто не кормил тюремных вшей, тот не знает, что такое государство", – говорил Лев Толстой. Особенно государство Российское, позволю себе добавить я. Никогда, вероятно, я не смог бы понять "Историю русской общественной мысли" Плеханова, если бы предварительно не покормил лагерных вшей. Только тогда, в 1956, я окончательно перестал идеализировать старую Россию, в которой государство всегда было – все, а человек – ничто. Старая Россия, думал я, виновата уже тем, что породила большевизм».

Реабилитировали его лишь в начале 1990-х. Я принимал в этом посильное участие – писал ходатайство от издания, в котором работал. Тогда же по моей инициативе журнал

Сергей Яковлев

жде всего его горький стыд за происходящее, крушение надежд и последнюю отчаянную попытку найти выход из тупика.

Такой оппонент, каким был Негретов, стоит целой армии единомышленников.

С. Яковлев.

27.04.2000 г.

Дорогой Павел Иванович!

Давно ничего от Вас не получал и все собирался написать, а тут как раз пришло напоминание от Холопова из «Дружбы народов»: что Вы живы-здоровы и справляетесь обо мне.

Спасибо, что не забываете. Я перелистываю иногда журналы с вашими статьями, в т.ч. «Странник»*, и восхищаюсь. Не говорю уже о том, как я привязан к Вам по-человечески и с какой грустью вспоминаю годы нашего активного сотрудничества.

За последнее время случилось много тяжелого и непонятного, в том числе с журналом «Новый мир», из которого я вынужден был уйти сразу после Залыгина. Теперь вот изгнали оттуда и С.И. Ларина**. И Залыгин умер. Я писал обо всем этом – если Вам интересно, покажу потом и расскажу. Последняя моя статья – она о Залыгине и «Новом мире» – только что вышла в «Общей газете» (от 27 апреля). В этот журнал я больше ни ногой, зато вернулся в небезызвестную Вам «Родину», уже год как делаю здесь историческую публицистику. Так что милости прошу и жду с нетерпением Ваши новые работы, ведь это как раз то, что Вам близко.

Присылайте и о современности, и о прошлом, и о жизни, и о литературе. Только в объеме желательно не больше половины авт. л.

Сердечно поздравляю Вас с весной (которая здесь пока, можно сказать, удалась), со всеми праздниками, какие Вам дороги.

Когда окажетесь в Москве – не забудьте навестить!

Ваш

Сергей Яковлев.

* * *

Воркута, 13.05.2000 г.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Очень рад был получить от Вас письмо. Я Вас давно разыскиваю. Два раза писал в «Новый мир», просил одного знакомого в Москве позвонить в редакцию журнала, там как-то сухо уклонились от ответа. Спасибо Б.Б. Холопову, который быстро выполнил мою просьбу.

Нет ли у Вас вырезки из «Общей газеты», 27 апреля, с Вашей статьей? Наша гор. библиотека не выписывает эту газету.

* См.: Павел Негретов. Станут ли москвиты снова русскими? – «Странник», 1993, № 1(5), с. 66–71. («Странник» – журнал, издававшийся мной в 1991–1993 годах. – С.Я.)

** Ларин Сергей Иванович – старейший сотрудник отдела публицистики «Нового мира», наш общий с Негретовым знакомый, ныне покойный. – С.Я.

Воркута, 22 февраля 1996.

Дорогой Сергей Ананьевич,

знаю, как Вы заняты и на скорый ответ не рассчитывал. Если "Религиозные искания В.Г.Короленко" не подойдут для "Нового мира", то не знаю, стоит ли показывать их "Родине" или "Дружбе народов"? Им это не по профилю. А для "Нового мира" эта тема, я думаю, подходит. Другое дело, справился ли я с ней? Конечно, у Александра Меня, наверно, получилось бы лучше. В общем оставляю на Ваше усмотрение.

Ельцин для меня давно уже ~~не~~ герой не моего романа, но если придется выбирать между ним и Зюгановым, то придется голосовать за Ельцина. Меньшее зло...

Что касается А.Солженицына, то писатели и мыслители - плохие политики. После Февраля 17-го года Луначарский предлагал в президенты Российской республики Короленко. Потом одумался и исправился и уже никогда не изменял Ленину.

Завтра исполняется ровно 50 лет, как я ступил на землю Воркуты. За все 50 лет я после полярной ночи Солнца раньше 10 января никогда не видел, хотя в ~~в~~ книгах пишут, что оно первый раз всходит 3 января. Но чтобы его увидеть так рано, надо чистое небо и выйти за город. В городе дома закрывают горизонт. В этом году 9 января я специально поднимался на пятый этаж в полдень и увидел Солнце! На душе даже легче стало.

Будьте здоровы!

Ваш П. Негретов

Я после выхода на пенсию в 1991 г. был в Москве только один раз в 1994, да и то только одну неделю. Поддерживаю связь с Москвой только перепиской. <...>

В 6-м номере «Вопросов лит.» за прошлый год опубликована моя заметка о религиозных исканиях В.Г. Короленко. На очереди там же будет напечатана еще моя заметка «Короленко и Украина». Редакция только пожелала удалить всё, относящееся к современной политике, т.е. сократила статью с 8 до 5 стр. Пришлось согласиться. <...>

Сергей Федоров

В «Отечественную историю» послал статью, отклик на сборник «Куда идет Россия?». Это научный журнал, а у меня статья скорее публицистическая, не знаю, подойдет ли им. Прилагаю её для «Родины».

Еще могу предложить для «Родины» заметочку «Семейные ссоры». Посмотрите.

Внук наш Паша в конце мая кончает школу. В июне приедет наша Ксения из СПб., будем решать, что с ним делать дальше. Через год его заберут в армию.

Всего доброго Вам и Вашей семье.

П. Негретов.

* * *

1.06.2000 г.

Дорогой Павел Иванович!

Получил Ваши материалы, отвечаю подробно.

«Семейные ссоры» – постараемся опубликовать в подборке материалов по Украине (но уж тогда никому больше это не давайте!).

«Куда идет Россия?..» – немного устарело по времени как отклик, да и «Родина» не любит ничего рецензионного. Нам подавай оригинальные статьи, «прямое слово». А для оригинальной статьи здесь сказано слишком о многом и слишком бегло. Некоторые тезисы мне показались интересными (свежими) – напр., о «национальной идее», – но это нужно разворачивать отдельно.

А вот по поводу Ваших статей о Короленко – пожалел, что они не у нас.

Хочется живой сегодняшней публицистики (не исторической). А уж если исторической, то весьма «фундированной», как говорят нынче, то есть по Вашей теме (Короленко). Такова особенность журнала. Он теперь притворяется научным.

Но очерки, быт, воспоминания – это в нем остается, и это как раз то, что мне хотелось бы от Вас иногда получать.

В целом Вы пишете все так же ясно, отточенно, бескомпромиссно, в общем – блестяще, что меня необычайно порадовало.

Посылаю Вам копии своих статей – из журнала «Нева» и «Независимой газеты». Из них многое, относящееся к «Новому миру», станет ясно.

Недавно вспоминали Вас в разговоре с милейшим И.И. Мочаловым*.

Не забывайте!

Ваш

С. Яковлев.

Как пойдет публикация, сообщу дополнительно.

* * *

Воркута, 24 июля 2000.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Ваше последнее письмо от 1 июня я получил 15 июня – так работает наша почта.

<...>

Вы обещаете опубликовать в «Родине» мои «Семейные ссоры». В моем родном

* Мочалов Инар Иванович – доктор философских наук, профессор, известный исследователь творчества В.В. Вернадского и В.Г. Короленко.

Кировограде (Украина) есть Литературный мезей, один из отделов которого посвящен писателям-землякам, куда руководство музея отнесло и меня. Директор музея и глава местной писательской организации просили меня прислать им что-нибудь из моих неопубликованных работ, и я в феврале выслал им эти «Семейные ссоры». Из музея я после этого получил еще два письма, но о публикации моей небольшой статьи речи не было. Боюсь, что в Кировограде не решаются печатать мою заметку. Из газет Вы, вероятно, знаете о той истерической антироссийской кампании, которая раздувается сейчас на Западной Украине.

Наш внук Павел в июне кончил школу, за ним приехала мама и увезла его в Петербург. Там он в июле успешно выдержал вступительный экзамен в физкультурный техникум, но прошел ли по конкурсу (семь человек на одно место!), будет известно только 28 августа. Это больше месяца томительного ожидания...

Прошу Вас прислать мне номер «Родины» с моей заметкой, когда она выйдет. Или хотя бы оттиск.

* * *

14 сентября 2000 г.

Дорогой Павел Иванович!

Письмо Ваше от 24 июля пришло, когда я был в отпуске, поэтому задержался с ответом. А теперь получил от Вас и очерк Храбровицкого. Пока ничего решительного о возможности напечатать его здесь сказать не могу.

Высылаю Вам номер с публикацией «Семейных ссор» (см. стр. 18). Честно признаюсь, что я огорчен: во-первых, сократили без моего ведома (а мне неловко и возражать – выбросили ссылку на «Странник»!), во-вторых, поместили как письмо, а письма идут без гонорара. Мне-то хотелось хоть немного поддержать Вас материально. Что делать, таковы условия в редакции. Таковы мои возможности здесь. Вы должны иметь это в виду, если не прогневайтесь и согласитесь продолжить сотрудничество.

«Родина» не имеет книжных изданий, ничего не выпускает кроме самой себя да журнала «Источник» (он едва держится и может скоро закрыться). Так что об издании Вашей брошюры не может быть и речи.

И.И. Мочалов рассказал мне о возобновлении переписки с Вами и некоторых общих проектах. Я очень этому рад. Инар Иванович – человек исключительной порядочности и серьезный ученый. У меня с ним вот уже лет 15, с первой его публикации в «Новом мире», не прерываются рабочие (как у редактора с постоянным автором) и самые теплые дружеские отношения.

Подумайте над предложениями, изложенными в моем предыдущем письме. Напишите для нас что-нибудь авторское. Например, о Храбровицком. Отрывки из его воспоминаний пристроить трудно, нужен повод, а вот если бы это (и многое другое, пусть даже публиковавшееся ранее) включить в Ваш очерк о нем, страниц на 15 машинописных, – другое дело. Есть для такого жанра у нас и рубрика. Портреты современников (и тех, кто ушел недавно), которые ни в какие времена не сгибались и никому не угождали. Сам я писал в эту рубрику о покойном Игоре Дедкове, критике и благородном мыслителе. Если бы немного больше знал Вас – с увлечением написал бы Ваш портрет. А не возьмется ли кто из хорошо знающих Вас литераторов за такую работу? Да не напишете ли Вы для нас сами о своей жизни, с фотографиями, пускай и с повторами из автобиографической книги? Вот это бы – как раз для «Родины»...

Легенда Рекордс

Воркута, 31 мая 1996

Дорогой Сергей Ананьевич,

сегодня, 31 мая, Урсула Вальтеровна, наконец, с моей помощью сделала несколько шагов по палате - на костылях, конечно. Дело в том, что 22 апреля Урсула, идя на работу, перед самой поликлиникой поскользнулась и упала. В результате - перелом шейки бедра правой ноги. Урсуле 64 года, операция была тяжелой, после операции повезли сразу в реанимацию. При наркозе трубкой выбили зуб, повредили горло, потом три дня не могла ничего есть. Больше месяца на спине, образовались пролежни. Лежит в "Палате усиленной терапии", но медицина наша до сих пор советская, сестер милосердия давно нет, есть "медсестры". Вся сигнализация давно раскурочена, никого не дозовешься, ночью с 10 вечера до 8 утра вообще никто в палату не заходит, да и днем редко кто заглядывает. Судна подать некому. К счастью, в палате на две койки лежит женщина со сломанной рукой, все-таки ходячая. Добрая женщина спасает Урсулу.

Я хожу в больницу каждый день. Урсула еще в 1978 сломала левую руку (и тоже в апреле), потом в 1992 правую, а теперь дошла очередь и до правой ноги. Урсула не советский врач, и больные это чувствуют. Поэтому к ней приходят не только коллеги, но и пациенты, - больше жены пациентов.

На меня свалилась вся домашняя работа: кормить внука, стирать, мыть полы и проч. Сейчас у нас бурно тают снега, кругом лужи и грязь. Внук перешел в 8-й класс, целый день на улице, приходит только поесть, грязный как черт. Дочь наша звонила из Петербурга, говорит, что раньше августа забрать Пашу к себе не может. Да я на нее и не рассчитывал.

24-25 мая у нас был Ельцин. Посылаю Вам вырезку из нашей "Заполярки" с моей заметкой. А в 5-м номере "Дружбы народов" напечатаны три моих заметки об укр. национализме. Посмотрите, когда будет время. Кстати, в 4-м номере "Звезды" блестящая статья С.Сидоренко об укр. независимости. Видели?

Только что перечитал свою статью "Религиозные искания Короленко". Восемь страниц, даже 7 1/2, короче не мог. Почти конспективно, опускаю подробности, не вдаваясь в свои рассуждения, о которых писал Вам в письмах. Тема очень серьезная, жаль, что я с ней не справился.

Я сейчас как белка в колесе, другой день и газеты просмотреть некогда. Урсула в б-це будет еще долго. Родной дядя из Нью-Йорка пишет, что хлопочет о визах, хочет пригласить Урсулу к себе в гости на лето. Я послал ему факсом письмо, рассказал, в каком состоянии Урсула, что не то что в Америку, даже в Петербург этим летом не сможет поехать.

Всего Вам доброго.

И. Неретов

Р.С. В связи с реабилитацией я
имею право на денежную компенса-
цию - около $5\frac{1}{2}$ миллионов руб.

До сих пор не получил.

В газетах читаю, что можно купить
в России квартиры, стоимость 1 (одно-
го) кв. м. = 2 млн. Так что моя ком-
пенсация принесет мне два с полови-
ной кв. м.!

На кладбище мне их дадут даром.
(По закону реабилитированных должно
хоронить государство.)

П.Н.

Полистайте журнал – может быть, он наведет Вас на какой-либо близкий Вам и приемлемый для нас жанр.

Что касается воспоминаний Храбровицкого... Я помню ту рукопись (Вы давали читать), там были весьма и весьма «забористые» страницы (об Алексее Толстом, например). Не выбрать ли (из того, что не публиковалось) мозаику известных лиц – поярче, поразнообразнее, опять-таки на пол-листа и даже чуть больше? С Вашим пространным предисловием о том, кто такой Храбровицкий. Пускай и шокирующие, и скандальные характеристики. Здесь это может понравиться.

Подумайте. Сами понимаете, мне это не слишком близко, но «Странника», увы, уже нет, как нет и старого «Нового мира». Выживают те, кто питается совсем другим. «Родина» в этом смысле не из худших, она где-то на пограничном рубеже, едва вытягивает...

В отношении настоящего и будущего я, как Вы знаете, большой пессимист. В том числе и в нашей профессии.

Все-таки надо бы Вам показаться в Москве. Если получится – буду счастлив увидеться.

Всей душой с Вами

С. Яковлев.

* * *

Воркута, 24 сент. 2000.

Дорогой Сергей Ананьевич!

К гонорарам я совершенно равнодушен, если бы я был богатым человеком, я бы сам заплатил журналу, только бы он напечатал мою заметку без сокращений. <...>

Рецензия редактору

Посылаю Вам страничку из воспоминаний А.В. Храбровицкого. Александр Вениаминович умер 13 сентября 1989 года, некролог я успел дать в известной Вам «Летописи жизни и творчества В.Г. Короленко».

Вы предлагаете мне написать несколько страниц об Александре Вениаминовиче? Согласен, на днях вышлю. Могу еще написать о моей жене Урсуле Вальтеровне, которую так оболгала в своих воспоминаниях Тамара Милютина (см. мою заметку в «КО», 1999, № 22, с. 18).

Жаль, что рецензия на «Куда идет Россия?..» журналу «Родина» не подходит. Я раздумываю, не послать ли ее в «Новый мир»? Все-таки там печатается А. Солженицын.

Если не трудно, сообщите мне, когда и где Вы родились, а также основные вехи Вашей жизни. Есть ли у Вас дети?

Здоровья Вам и всем Вашим близким.

Ваш П. Негретов.

* * *

Воркута, 30 сент. 2000.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Писал Вам 24 сентября. Сегодня высылаю воспоминания Храбровицкого о Шолохове и Солоухине.

Прилагаю также мой очерк о Храбровицком. Чтобы не повторяться, пишу только о том, чего нет в некрологе, который я успел дать в «Летописи...».

Кстати, не следовало бы издательству этой «Летописи» ставить мое имя как автора на обложке книги. Достаточно было бы обозначить на титульном листе: составитель такой-то. Как это сделано было на зарубежном издании.

Будьте здоровы Вы и Ваши близкие.

Ваш П. Негретов.

P. S.

Фотографию прошу вернуть.

П. Н.

* * *

12 октября 2000 г.

Дорогой Павел Иванович!

Получил Вашу заметку о Храбровицком вместе с фотографией и фрагментами его «Встреч». Их можно объединить с теми, что Вы присылали мне ранее (об А. Толстом и дочерях Короленко). Если не возражаете, я буду такую публикацию с Вашей вступительной статьей готовить.

Получил также «Без вины виноватые». Напечатать такую заметку здесь едва ли возможно, а вот с нашей ошибкой будем разбираться и постараемся дать поправку. Дело в том, что я вынужден был выпустить из рук Ваше письмо, всю подборку готовил другой редактор. Отсюда – неуместные сокращения, а к этому еще и ошибка. Простите.

Высылаю «украинский» номер, о котором Вы меня просили.

Ваш

С. Яковлев.

Р. S. Не очень хочется обременять Вас подробностями моей биографии. Если Вам попадет в руки № 3 «Родины» за этот год – там есть мой очерк «Деревенское кладбище», где излагается, рядом с прочим, родословная по линии отца. Сам я окончил в Москве физматшколу при Московском университете (попал туда из сельской школы, пройдя строжайший отбор), затем в Ленинграде выучился на штурмана торгового флота и там же (в Макаровском училище) закончил аспирантуру, а затем еще и Литературный институт в Москве по отделению прозы. Моя единственная дочь (от первого брака, ей сейчас 25 лет) вышла замуж и живет в любимом обоими нами Ленинграде-Петербурге, мы с ней дружим и часто обмениваемся визитами. Моя жена, с которой я уже 20 лет, – молдаванка из Тирасполя, филолог по образованию. Мы с ней только-только (года три как) обзавелись квартирой, первым в моей (и ее) жизни отдельным жильем, и до сих пор не можем нарадоваться. Хотя жизнь протекает не гладко, и особенно подкосили меня катастрофические события в «Новом мире», с которым я связывал определенные надежды и в который вкладывал много сил. Об этом писал в разных изданиях и еще собираюсь печатать большую повесть.

О моих взглядах на жизнь Вы могли судить по публикациям, с конца 80-х годов они изменений не претерпели (хотя окружающая атмосфера постоянно меняется, и не всегда, к сожалению, к лучшему). Думаю, что последнее достояние России, на которое еще можно рассчитывать, – упрямые люди. Независимо от их политических убеждений. Такие, каким был покойный Игорь Дедков (о нем я писал в «Родине» № 9 за прошлый год). Такие, как Солженицын. Как Вы. В нас еще много этого упрямства или, говоря по-иностранному, «нонконформизма» – уж не знаю, от старообрядчества оно идет или от чего другого. Хотя иные «демократические» деятели своим конформизмом щеголяют и почитают его едва ли не оплотом цивилизации (а соответственно и история российская переиначивается: в чести жандармы и т.д.). Тут я по-старомодному либерален: на первом месте достоинство личное (моральная стойкость), все остальные ценности (включая государство, церковь и проч.) – потом. Боюсь, нынешние «консервативные» веяния опять вытолкнут меня в оппозицию (в этом был и корень конфликта в «Новом мире»).

Еще раз кланяюсь и желаю всяческих благ.

* * *

Воркута, 23 окт. 2000.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Журнал получил, большое спасибо. Конечно, заметку о Храбровицком надо объединить с его «каплями» воспоминаний. («Встречи» первоначально носили название «Воспоминания в каплях».) Я на это и рассчитывал. Хорошо было бы помянуть добрым словом Александра Вениаминовича, особенно после бестактной публикации в «Новом времени» в прошлом году.

Большую честь Вы мне оказали, включив меня в такую достойную компанию «упрямых людей». Откровенно говоря, достигнув возраста, о котором можно сказать «все в прошлом», я оглядываюсь на свою жизнь и невольно вспоминаю слова поэта:

*И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,*

Петерскс Редкортс

*И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.*

Скоро наступит Новый год, Новый век и Новое тысячелетие. И юбилей – столетие Н. Ленина. Этот псевдоним В.И. Ульянов стал употреблять с 1901 года. Я обдумываю небольшую заметку, посвященную этому юбилею.

Всего доброго Вам и Вашей семье.

П. Негретов.

* * *

Воркута, 21.1.2001.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Писал вам 2 января. Зная Вашу занятость, мне неудобно поторапливать Вас с ответом, но я очень нуждаюсь в Вашей оценке моей заметки о Ленине. Подойдет ли она для «Родины»? Вообще, стоит ли с ней возиться? Меня она не удовлетворяет, все время хочется что-то добавить. Так, напр., на стр. 6 (перед первым абзацем) следовало бы вернуть выброшенный абзац, начинающийся с «Развитие производительных сил...» и заканчивающийся словами: «а его захват власти в октябре 1917 года с марксистской точки зрения оказался реакционным действием».

Далее, на последней 9-й странице после второго абзаца вставить:

«Пора признать простой факт: Россия не является великой державой. Из уважения к своему утраченному прошлому она должна отказаться от места постоянного члена Совета Безопасности в ООН и уступить его Германии. Этим актом элементарной справедливости мы заявили бы всему миру – и прежде всего самим себе, – что наша противница в двух мировых войнах сумела после Гитлера воспрянуть, а мы после Ленина и Сталина продолжаем пребывать в советской мерзости».

В «Вопросах литературы», № 6 за прошлый год, посмотрите мою заметку «Короленко и Украина» (три странички). Тогда же, в декабре, был издан в Глазове (Удмуртия) сборник «Пятые Короленковские чтения» (Материалы региональной научной конференции 25–26 октября 1999 г.). В этом сборнике помещена та же моя заметка о Короленко, тоже сокращенная, но по-иному. В примечаниях ошибка: 4-е является продолжением 3-го, все последующие оказались сдвинутыми на единицу. Тираж сборника – 80 экземпляров!

Если найдете мою статью (или заметку) о Ленине стоящей, могу перебелить ее с учетом Ваших замечаний.

Всего Вам доброго, здоровья Вам и Вашей семье.

П. Негретов.

P. S.

Объявлен официально прожиточный минимум на Воркуте – 1740 руб. Я, как реабилитированный, получаю повышенную пенсию – 1399 р. 57 коп. С 1 февр. обещают повысить на 10 %.

П. Н.

* * *

26 января 2001 г.

Дорогой Павел Иванович!

Получил несколько Ваших посланий, а молчал оттого, что ждал решения вопроса с «Банкротом». Кажется, решилось положительно, и статья может (должна) появиться в апрельском номере. С большей определенностью в нашем деле загадывать нельзя. Я написал к статье вступление и сам прослежу ее путь. Сокращения незначительны (вмешивался только я), правки фактически никакой. Позднейшие дополнения учтены. Что касается концовки, я предпочел остановиться на первом варианте с добавлением «национальной» темы из второго. Самый последний вариант запоздал (статья была уже в работе), и не могу сказать, что он получился лучше первого. К сожалению, наш режим не дает времени высылать автору гранки или верстку.

Из-за «Банкрота» пришлось отодвинуть «Встречи» Храбровицкого (Ваша публикация), которые также мной подготовлены и начальством одобрены. Если «Родина» до вас доходит, то увидите: № 1–2 вышел сдвоенным и целиком отдан проблемам славянства; № 11 за прошлый год – «гвардейский»; № 5 тоже, видимо, будет специальным, тематическим, и так до четырех номеров в год – это сильно ломает мои планы и сдвигает сроки. Но – ничто не пропадет, буду печатать по мере возможности.

Доходит ли до Вас петербургский журнал «Нева»? Там в первом и втором номерах (еще не вышли) печатается моя документальная хроника о «Новом мире» времен Залыгина. Вещь для меня тяжкая и болезненная. Думаю, она сильно Вас поразит. Буду рад услышать Ваше мнение (любое).

Держитесь, Павел Иванович! Мы с Мочаловым молимся за Вас, как умеем.

Ваш Сергей Яковлев.

Дорогой Сергей Аманьевич!

Писал Вам 10 февраля. Паша уже звонил из СПб. 17-го ему исполнилось 18 лет...

Послал Вам «Письмо в редакцию».

С нетерпением жду апрельский номер «Родина».

Всех благ Вашим близким!

22/II - 2001.

Ваш П. Негретов

Сергей Яковлев

ПАВЕЛ НЕГРЕТОВ

БАНКРОТ

К 100-летию Н. Ленина

Эта статья, приуроченная автором к юбилею знаменитого псевдонима «Н. Ленин», напоминает нам, казалось бы, о событиях и фактах давно известных. Не поражает и новизна концепции: так начали у нас судить и писать о Ленине еще десять с лишним лет назад. Кому-то рассуждения автора могут даже показаться наивными, устаревшими, набившими оскомину...

Но это только на самый первый, поверхностный взгляд. Историк из Воркуты Павел Негретов никогда не бежал, что называется, впереди прогресса, не ловил последних веяний и не торопился «отметиться». Он из тех немногих, кто задолго до всех веяний сам упорно докапывался до истины и платил за свою внутреннюю свободу дорожную цену. И пишет он о том, чем мучился и десять, и двадцать, и пятьдесят лет назад. А такое всегда чувствуется. Самостоятельность мышления, лаконичная и жесткая манера письма, выношенность каждой фразы и каждого слова Негретова дают результат неожиданный: за внешней банальностью темы скрывается подлинная глубина, за кажущейся простотой выводов – бездна парадоксов.

Может быть, это как раз тот уровень разговора о Ленине, для которого мы как общество только-только начинаем созреть. И «повторения» здесь как нельзя более уместны.

Сергей Яковлев.

* * *

Воркута, 10.2.2001.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Вчера пришло Ваше долгожданное письмо. Значит, «Банкрота» перебелять уже поздно. Достаточно ли ясно я выразил свою мысль? Ленин заложил душу дьяволу, чтобы он помог ему добиться блага для всего человечества на вечные времена. Россия была принесена в жертву этой великой цели. Но дьявол, конечно, его надул: мировой революции не произошло, а в России восторжествовал не коммунизм, не социализм, а черт знает что, какая-то азиатская деспотия. Поделом вождю и мука, поделом и народу, который за ним пошел.

Я писал Вам еще 21 января, но письма идут долго.

«Родину» наша гор. библиотека выписывает, а «Неву» – нет. Может быть, пришлете ксерокс?

31 января приехал к нам Паша, наш внук, на каникулы. Сегодня уезжает. Поезд СПб–Воркута ходит раз в пять дней, плацкарты не было, поедет купейным, а это 700 руб.

Новые книги до Воркуты не доходят, но некоторые мне присылают знакомые. Так, недавно получил А.И. Миллера, «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.).

И.И. Мочалов писал мне, что чувствует себя неважно. Передавайте ему привет и пожелания здоровья.

П. Н.

* * *

9.4.2001. Воркута.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Сегодня получил Ваше письмо* и 4-й номер «Родины». Высоко ценю Ваше участие в публикации моей крохотной статьи о Ленине. Вы точно выразились: там каждое слово выношено, может быть, всей моей жизнью.

Вы ни слова не сказали о моем письме в редакцию 22 февраля и 3 марта. Это ответ Каппелеру. Или Вы думаете, что не стоит ему отвечать?..

У нас шалют грабители. 4 апреля Урсула была на работе, я на час-полтора вышел в библиотеку. Прихожу – дверь взломана, унесли телевизор, телефон, кое-какую мелочь. Милиция говорит, что в тот день по городу было шесть квартирных ограблений.

П. Негретов.

P. S.

Из моего гонорара возьмите сколько нужно на почтовые расходы.

П. Н.

* * *

Воркута, 22 мая 2001.

Дорогой Сергей Ананьевич!

9 апреля послал вам на адрес «Родины» заказное письмо. 25 апр. Вы звонили мне и сказали, что письмо Вами не получено. 28-го я пошел на наш главпочтамт и предъявил претензию нашему вонючему (выражаясь языком Ленина) Наркомсвязи (не Министерству!). Почта обещала навести справки и известить меня. Вчера, 21 мая, я снова пошел со своей квитанцией «качать права», как в таких случаях говорим мы, рядовые совки. Официальное лицо, сидящее на контроле, уведомило меня, что Москва молчит, на запросы не отвечает. Обещали повторить запрос. Всё. Советская империя рухнула, но совковое общество и государство продолжают существовать.

Получил гонорар за «Банкрота». Такого огромного гонорара за три странички я не ожидал. Чудеса! Благодарю редакцию за щедрость.

Теперь жду публикации моего ответа А. Каппелеру. Хочу своими глазами увидеть, что на бумаге напечатана моя мысль: «Интересы России требуют, чтобы Кенигсберг был возвращен Германии, а Южные Курилы – Японии». Давно надо было отделяться от этих осколков Советской империи.

Прочтите в «Новом мире», 1997, № 12, с. 232–236, рецензию В. Свинцова на книгу Ивана Бунина «Великий дурман». До нас эта книга не дошла, я ее, к сожалению, не видел. Привожу из рецензии запись Бунина в дневнике 6 авг. 1921 г.: «Как надоела всему миру своими гнусностями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!» (с. 235). Такие высказывания русских писателей о своей родине в литературе принято называть «национальным нигилизмом». Бунин был не первым в таком чувстве. Возьмите, кроме Чаадаева, А.К. Толстого...

Россия погибла в марте 1917 года. Но ее гибель не была предопределена. Вопре-

* Письмо утеряно.

Сергей Федоров

ки лжеевропеизации Петра I, после великих реформ 1860-х годов Россия развивалась по европейскому пути. Смертельный удар нанесла ей Первая мировая война, не будь ее – В. Ульянов умер бы в эмиграции (что он и сам признавал).

Не напишете ли статью на эту тему? У Вас должно получиться. Можете рассматривать это мое письмо как мое завещание.

После капельницы, после внутримышечных инъекций (дочь привезла из СПб какое-то новое импортное лекарство, шесть ампул, каждая по 100 руб.), после массажа мне стало значительно лучше. Но все равно к состоянию до 12 апреля я не вернулся. Это письмо я выстукиваю на машинке правой рукой, левая бессильна. Не знаю, вернется ли ко мне та крайне ограниченная работоспособность, которой наделила меня природа (или Бог?). Не нам судить.

Не знаю, как посылать Вам письма – простым или заказным? Наша совковая почта цены за свои услуги подняла в сто раз, а надежность снизила тоже, наверно, в сто раз...

П. Негретов.

* * *

20.VI.01.

Воркута.

Дорогой Сергей Ананьевич!

В «Родине» № 6 прочел Ваши «Русофобские заметки». Вы правы: «...как общество мы только деградируем», об этом можно и надо бы написать книгу. И началась эта деградация с рубежа XIX – XX веков, см., напр., рассказ Чехова «Новая дача» (1899 год!). На мой взгляд, надо было бы подчеркнуть отсутствие самоуважения в русском обществе (возьмите наши обращения: «Женщина!», «Мужчина!»)...

Не помню, писал ли я Вам, что в моем ответе А. Каппелеру на 2-й стр. в конце первого абзаца прошу вставить: (О «жертвах Ялты» я уж и не заикаюсь. См. у А. Солженицына в «Новом мире», 2000, № 12, с. 145). Если, конечно, есть еще время.

П. Негретов.

* * *

4 июля 2001 г.

Дорогой Павел Иванович!

Наконец-то могу выслать Вам долгожданный № с Вашим ответом Каппелеру. Это все, что было возможно (по объему) напечатать. Воспоминания Храбровицкого на очереди (надеюсь, выйдут достаточно скоро). За них Вам как публикатору будет начислен гонорар, а вот за письмо, к сожалению, – не предусмотрен.

Не ответил на несколько Ваших предыдущих посланий – ждал выхода номера. Жаль, что Вас расстроили почтовые неурядицы. Вперед постараюсь более аккуратно сообщать Вам о получении корреспонденции. Мне кажется (судя по Вашим письмам), ничто не было потеряно, случались лишь задержки, но я могу и ошибаться. Особенно жаль Ваших нервов и сил, которые уходят на борьбу с окружающими хаосом и хамством. Эта борьба неизбежна, к сожалению, и крайне необходима, хотя со стороны иной раз кажется – зачем убиваться из-за пустяков, лучше бы себя побережь для больших дел... Но я и сам такой, оттого и сижу почти крулый год с неза-

живающей язвой в желудке. Подкосившая меня в последние годы борьба за «Новый мир» тоже кажется кому-то, думаю, мелкой и ничтожной.

Письма Ваши храню и ко многому в них буду еще возвращаться.

В конце августа, когда вернусь из отпуска, надеюсь более точно проинформировать Вас о выходе публикации Храбровицкого.

Всего Вам доброго. Держитесь!

Ваш С. Яковлев.

* * *

Воркута, 27.10.01.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Сегодня получил гонорар из «Родины» за мою публикацию в № 9. Сумма солидная – 403 руб. Спасибо.

Я писал Вам 10 сентября, к письму (заказному) приложил небольшую заметку на трех листах, под названием «Последняя надежда». Ответа до сих пор от Вас не имею. Беспокоюсь. А что у Вас? Как себя чувствуете?

23 октября У.В. исполнилось 70 лет. На работе ее поздравляли коллеги, главврач, заведующая горздравотделом Воркуты, из «Заполярья» приезжал фотограф, был и председатель нашего городского «Мемориала». Было много цветов, похвальных грамот, подарков, сердечных поздравлений. Урсула была тронута. А вечером позвонила из СПб наша Ксения, поздравила маму с юбилеем.

Из 70 лет жизни 35 лет Урсула проработала врачом, если бы ее в 1951 не выгнали из института, ее медицинский стаж был бы на 11 лет больше. Но и так жизнь прожита не зря, больные ее ценят.

Привет Вашей семье, будьте все здоровы.

Ваш П. Негретов.

* * *

21.11.01.

Дорогой Павел Иванович!

Спасибо, что известили о получении гонорара: меня всегда беспокоит наша почта. Часть денег теряется при пересылке – но другой возможности, видимо, нет? Т.е. мог бы получать кто-то из ваших близких, если бывает проездом в Москве...

Ничего не пишете, довольны ли Вы публикацией Храбровицкого. К сожалению, от Вашей полемической статьи о нем мало что осталось, но иное и невозможно в журнале неспециальном, массовом, где Храбровицкий к тому же представляется впервые. Если рассказывать о нем у нас, то – с «нуля», со всеми биографическими подробностями (что я и имел в виду, заказывая Вам очерк). Ну, нет так нет; зато он предстал здесь во всем блеске своего литературного мастерства.

Письмо Ваше от 10 сентября с заметкой «Последняя надежда» было получено в срок. Тянул с ответом потому, во-первых, что ждал отклика на получение Вами авторского № 9 (получили ли? так и не знаю), а во-вторых – не знаю, что с этой «Последней надеждой» делать. В части общепублицистической она мне понятна и близка, хотя и не ставит новых вопросов; в той же части, ради которой все это, как можно догадываться, и пишется, – мягко говоря, несвоевременна. Это мое (а не казен-

Сергей Федоров

ное) чувство, и я говорю Вам о нем откровенно. Я не считаю, что русские должны без конца что-то искупать и каяться – то есть не думаю, что они виноваты больше, чем все остальные. В конце концов, каждый живет по трудам своим и получает то, что заслужил. Я человек внецерковный, и у меня давно нет иллюзий в отношении божеского мироустройства и человеческой природы. А события последнего десятилетия в России и возможность ближе познакомиться за это время с идеями и путями Запада окончательно утвердили меня в моем пессимизме. Да, отдать Калининград-Кёнигсберг было бы, наверное, христианским подвигом народа-мученика (не власти – власть тут вообще ни при чем), в полном соответствии с заповедью подставлять вторую щеку. Но, во-первых, много ли Вы видели примеров исполнения этой заповеди в жизни? Во-вторых, такое самопожертвование окупится, вероятно, уже только на небесах, потому что Россия и без того при смерти. В-третьих, издыхающий народ на это не пойдет (и не должен идти) в силу простого инстинкта самосохранения. В-четвертых, на всем Западе едва ли найдется сотня человек, способных оценить такой жест по достоинству... И т.д. и т.п.

Я был в Калининграде единственный раз в жизни ровно 30 лет назад, молодым моряком-курсантом. Город произвел на меня тогда жуткое впечатление. Это были руины чужой богатой и прекрасной культуры – культуры, которую никто и не пытался восстанавливать! Последнее-то и добивало. Город выглядел так, как будто

Воркута, 2 января 2002 г.

Дорогой Сергей Ананьевич!

"Достоинство России", сократив, послал в "Моск. новости" в таком виде:

При всем уважении к Президенту В.В.Путину (я голосовал за него на выборах) не могу согласиться с его высказыванием о Калининграде 24 декабря сего года.

Тверь снова стала Тверью, а Кенигсберг до сих пор носит имя сталинской шестерки. Россия, вернее, то, что от нее осталось, не должна цепляться за Кенигсберг и Южные Курилы, никогда ей не принадлежавшие. Достоинство России этого не допускает. Символом нашего пробуждения должен стать отказ от этих осколков сталинской империи. Россия заинтересована в том, чтобы вернуть их законным владельцам. Чтобы самой вернуться в Европу.

+ + +

Видели ли Вы книгу Ю.Н.Афанасьева "Опасная Россия" (М.изд-во РГГУ, 2001)? Очень прошу Вас, прочтите ее внимательно. Она того заслуживает.

С Новым годом Вас и всех Ваших близких. Будьте здоровы и благополучны!

Ваш

С. Сергеев

только вчера отгремела последняя бомбежка. Если бы я тогда, в Советском Союзе, услышал Ваше предложение, я бы поддержал его всем сердцем. Но я ведь не жил в том городе, а сейчас-то его населяют в основном русские, многие из которых там родились...

С тех пор в стране произошло много глупого, обидного и преступного. И на подобные предложения хочется с досадой ответить: нет уж, сначала давайте разберемся, кому принадлежит Крым. Или: сначала надо привлечь к суду Ельцина и его клику, из алчности разорвавших на клочки и расшвырявших единую страну, живой организм, – в этом (в требовании такого суда) ведь тоже проявилось бы достоинство народа, в этом тоже был бы значительный шаг к демократическому возрождению. В Германии судят бывших правителей ГДР, разделивших единую нацию стеной, – и правильно делают. Но ведь Вы не назовете подобные предложения временными, хотя, может быть, кое с какими из них и согласились бы, верно?

Так говорит мне мое внутреннее чувство. Я журналист, и в интересах Вашей свободы высказываться я готов через него переступить. Но напечатать сейчас такое в официальном журнале можно разве только в качестве курьеза, сомнительного парадокса, и это не достойно ни Вас, ни Вашей идеи. Последствия такой публикации, чувства, которые она вызовет, были бы прямо противоположны ожидаемым Вами.

Нелегко мне все это Вам писать, дорогой Павел Иванович, потому и молчал. Хотя свое отношение к Ельцину и всему, что случилось в несчастную пору его правления, я не скрывал, высказывал его (в том числе печатно) с 1992 года, и для Вас это не должно быть неожиданностью. Равно как и мое сострадание к народу, среди которого были, например, Чехов и Дедков, к которому и сам принадлежу. У России есть своя прекрасная дорога, стоило бы только успокоиться и приглядеться к ней повнимательнее, а не гнать сломя голову к очередной пропасти-клоаке, чем занимались многие в минувшее десятилетие. Впрочем, Вы-то – из самых страдающих, и досаду свою я, конечно, изливаю совсем не по адресу...

Возвращаю Вам фотографию. Спасибо. Берегите здоровье! И если оно позволяет – пишите для нас больше. Пока Ваше сотрудничество с «Родиной» кажется мне успешным сверх всяких ожиданий (учитывая те сомнения, что я излагал Вам в самом начале, года два назад).

Желаю здоровья и добра всем Вашим близким; не зная их, по скупым Вашим замечаниям уже испытываю к ним глубокую симпатию.

Преданный Вам

С. Яковлев.

* * *

Воркута, 4 декабря 2001.

Дорогой Сергей Ананьевич!

В «Известиях» 25 апреля 2000 г. было опубликовано письмо некоего Марка Кабакова из Калининграда, где он, между прочим, пишет: «Кенигсберг звучит гордо, а Калининград – подло».

Сталин мог дать Кенигсбергу имя своей шестерки, но как может постсоветская Россия терпеть эту кличку? Даже если у нее нет сил и решимости сбросить этот жернов со своей шеи, то хотя бы не позорилась этим «Калининградом»! Но постсоветская Россия, очевидно, лишена чувства чести.

Вопрос о том, кому должен принадлежать Крым, был решен Хрущевым в 1954 го-

Сергей Федоров

ду, и обсуждение этого вопроса заняло в Политбюро менее 15 минут. Никто не протестовал. А при Ленине целые русские области отдавались нац. республикам, и тоже все молчали. Так кого теперь должны винить русские в разложении страны? Самих себя?

Я писал Вам не только 10 сент., но и 27 октября и 25 ноября. Вижу, что моего письма от 27 окт. Вы не получили. Куда оно девалось – спросите ту даму, которая сидит в редакции на получении почты (все письма заказные). Снова затевать переписку с почтой, чтобы, как уже было, получить ответ, что такое-то зак. письмо вручено тогда-то по доверенности такой-то – не хочется. При нашей всеобщей необязательности никому верить нельзя и ничего ни от кого не добьешься. В 1992 году я выслал в «Вопросы философии» бандероль с телеграфным уведомлением о вручении. Уведомление пришло, но пакет так и пропал. Главред и его пом. на мои письма даже не отвечали, видно, совестно было. Я просил московский «Мемориал» позвонить им и спросить о судьбе моей бандероли. Ответ был таков: мы переезжали, и бандероль, возможно, потерялась (!).

Итак, 9-й номер «Родины» я получил, получил и гонорар за публикацию Храбровицкого. Это письмо посылаю простым, не заказным. Может быть, так надежней.

Кажется, на все вопросы ответил. Я чувствую себя очень плохо, даже газеты просматриваю с трудом.

Вам и Вашей семье желаю всего доброго.

П. Негретов.

* * *

7.12.01. Воркута.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Сократил втрое свою заметку, хотя первый вариант, по-моему, лучше. Больше уступить не могу. Можете оговориться, что редакция не разделяет точки зрения автора, но помещает его письмо в порядке дискуссии.

Важно, чтобы такой журнал, как «Родина», поднял этот вопрос.

П. Негретов.

Писал Вам 4 декабря.

П. Н.

К ДОСТОИНСТВУ РОССИИ

...Что представляет собой сегодня Россия? Страна, населенная не господами или товарищами, а *мужчинами и женщинами*, поголовно ограбленными 2-й криминальной революцией (1-я была в 1917-м), потерявшими уверенность в завтрашнем дне, полностью лишены самоуважения, затурканными всемогущим чиновничеством, начинающимся с ничтожной женщины-вахтера из шукшинской «Кляузы». Страна тонет в преступности, пьянстве, наркомании. Всюду процветают непрофессионализм, равнодушие к делу, коррупция. В милиции и на следствии применяются пытки, судьи плюют на правосудие и руководствуются не законом, а «телефонным правом». Мы хотели вернуться в капитализм, но у нас получился тот уродливый строй, которому специалисты затрудняются подобрать название. Дикий капитализм? Номенклатурный капитализм? Или проще: прихватизация. Одна только буква вставлена, а какой убийственный смысл стоит за ней...

Россия, вернее, то, что от нее осталось после всех большевистских национальных опытов, когда целые чисто русские области остались за ее пределами, не должна цепляться за Кёнигсберг и Южные Курилы, никогда ей не принадлежавшие. Достоинство России этого не допускает. Символом нашего пробуждения может и должен стать отказ от осколков Советской империи. Россия заинтересована в том, чтобы вернуть их законным владельцам.

Чтобы самой вернуться в Европу.

Павел НЕГРЕТОВ.

* * *

8.12.01. Воркута.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Вчера отправил Вам письмо «К достоинству России», а сегодня вижу, что концовку надо отредактировать. Простите.

Крепко жму Вашу руку.

П. Негретов.

К ДОСТОИНСТВУ РОССИИ

...Россия, вернее, то, что от нее осталось после всех большевистских экспериментов, когда целые чисто русские области остались за ее пределами, не должна цепляться за Кёнигсберг и Южные Курилы, никогда ей не принадлежавшие. Достоинство России этого не допускает. Символом нашего пробуждения может и должен стать отказ от осколков Советской империи. Россия заинтересована в том, чтобы вернуть их законным владельцам. Чтобы самой вернуться в Европу.

Отнюдь не идеализируя Запад, не забывая о «жертвах Ялты», мы заявляем, что тоже имеем право на национальный эгоизм. А он велит нам, после катастрофы 1917 года, отказаться от нелепых претензий на великодержавие.

П. НЕГРЕТОВ.

* * *

17 декабря 2001 г.

Дорогой Павел Иванович!

Сегодня получил Вашу заметку «К достоинству России» и в отдельном конверте концовку к ней. Ранее получено было простое письмо от 4 декабря. Что касается Вашего письма от 27 октября, о котором Вы пишете, – его я действительно не видел. Оно могло затеряться как на почте, так и в наших запутанных коридорах. Почта редакции велика и, к сожалению, не регистрируется. Не мы с Вами устанавливаем порядки. Сейчас везде не хватает людей, штаты сокращены, работники перегружены. У меня не хватит ни власти, ни духу с этим разбираться и кого-то винить.

Пропало что-то важное? Можно ли это восстановить? Если можно – давайте побережем силы и забудем о неприятности.

Что касается Вашей заметки, свое мнение по существу дела я Вам уже излагал, и оно не изменилось. На публикацию ее в нашем журнале надежды практически нет.

Сергей Федоров

Если эта заметка так для Вас важна, думаю, ее надо немедленно отправить в другие издания, где отношение может оказаться иным («Родина» – правительственный журнал, официоз), в те же «Известия» или «Московские новости», на которые Вы ссылаетесь. И резонанс в этом случае будет куда большим.

Меня беспокоят Ваши жалобы на здоровье. Берегите себя!

Пользуюсь случаем, чтобы поздравить Вас и Вашу супругу с Новым годом! И дай Бог всем нам встретить его еще много раз.

Сердечно Ваш

С.А. Яковлев.

* * *

Воркута, 2 января 2002 г.

Дорогой Сергей Ананьевич!

«Достоинство России», сократив, послал в «Моск. новости» <...>

Видели ли Вы книгу Ю.Н. Афанасьева «Опасная Россия» (М., изд-во РГГУ, 2001)?

Очень прошу Вас, прочтите ее внимательно. Она того заслуживает.

С Новым годом Вас и всех Ваших близких. Будьте здоровы и благополучны!

Ваш П. Негретов.

* * *

13/3-02 г.

Месяц тому назад меня хватил второй удар инсульта. С утра 12/II я еще ходил по делам, а днем часов в 12 полностью отнялась левая рука и нарушилась речь. У.В. взяла отпуск, сидит дома, ухаживает за мной. Без нее я совершенно беспомощный. Даже купает меня и кормит. Сестра приходит делать уколы, всего искололи.

Машинкой пользоваться не могу, правой рукой кое-как пишу, как видите. Читаю, но не много.

Будьте здоровы.

П. Негретов.

P. S. «МН» мое письмо о Кёнигсберге так и не напечатали.

П. Н.

* * *

28.VI.02 г.

Посылаю Вам заметку о Короленко без ссылок на литературу, поскольку это публицистика, а не научный труд.

До короленковского юбилея в 2003 г. еще год с лишним. Я торопился со своей заметкой, потому что не знаю, что будет завтра.

Наилучшие пожелания всей Вашей семье.

П. Негретов.

P. S. Есть опечатки, прошу исправить. Печатаю одной рукой, к счастью – правой.

П. Н.

15.V.02 г.

Дорогой Сергей Ананьевич!

Спасибо за письмо. На нем стоит домашний обратный адрес, поэтому я отвечаю также на дом. адрес.

Арсения Рогинского вспоминаю с благодарностью, он принимал участие в опубликовании моих выписок из дневников Короленко в тамиздате. Я отдал их внучке Короленко - С. К. Ляхович (умерла в июне 1992), - а она передала их Рогинскому и его друзьям.

Игоря Дедкова мы с Ч.В. читали в "Новом мире", о его дневниках, об их духе можно сказать одним словом - дух глаголемости, вы выразились точно.

В будущем 2003 исполняется 150 лет со дня рождения В.Г. Короленко и 70-летие голода на Украине.

Поднимите подшивку "Лит. газет" за 1993 г., 19 мая, № 20, с. 6. Там письмо старшей дочери Короленко - С.В. Короленко о голоде на Украине, доходившем до людоедства и детоедства. М.б., "Розина" перепечатает это письмо С.В. Короленко?

В прошлом году вышли из печати две замечательные книги: Ю.Н. Афанасьев "Опасная Россия" и А.А. Искендеров "Закат империи". Обе книги показывают откуда произросли корни зерного XX века для России. Искендерову я написал письмо, копию послал И.И. Моголову, ему понравилась. Передайте ему от меня привет.

Вам и Вашей семье от нас с Ч.В. наилучшие пожелания.

Ваш П. Негретов

К 150-летию В.Г. Короленко

Б.А. Кистяковский, один из авторов «Вех», обвинил русскую интеллигенцию в притупленности ее правосознания, отсутствии у нее интереса к правовым вопросам. Между тем, когда он писал эти строки, в «Русском Богатстве» уже была опубликована «Сорочинская трагедия» В.Г. Короленко, огласившего на всю Россию преступные действия чиновника Полтавского губернского правления Филонова, посланного во главе карательной экспедиции в Миргородский уезд для усмирения крестьянских беспорядков. Короленко требовал суда над Филоновым, одновременно выражая готовность самому сесть на скамью подсудимых, если факты, описанные им, окажутся не верными. Власти были поставлены в затруднительное положение, тем более что скандальная филоновская история произошла после манифеста 17 октября, фактически обещавшего российским подданным введение конституционного образа правления. Но старая власть привыкла ставить права человека – особенно простого крестьянина – ни во что, судить чиновника никто не хотел, факты же, преданные писателем гласности, все подтвердились. Что было делать властям предрержащим? Им на помощь пришел эсеровский террорист, застреливший среди бела дня на полтавской улице Филонова. Убийца благополучно бежал за границу, а Короленко подвергся правой печатью травле как подстрекатель, с думской трибуны его даже обозвали «писателем-убийцей». Сражение за право Короленко проиграл. Против него победоносно выступил объединенный фронт реакции и революции.

Т.А. Богданович, биограф Короленко, отметила его редкую для русского черту характера, роднящую его с человеком западноевропейским. Эта черта – уважение к законности и непреклонное отстаивание права. Сам Короленко революционной деятельностью не занимался, он только взывал к законности и праву для всех, указывая наиболее яркие случаи его нарушения. Только поэтому царская администрация всякого вида и ранга считала его опасным революционером.

Короленко легко избавился от народнических иллюзий, он убедился в первобытной дикости и глубокой анархичности народных представлений и чувств. Это была не вина, а беда его «лесных людей», и просвещение их зависело от той меры, в какой в их среду вносилось сознание правопорядка и уважение их прав. Если Россия, говорил Короленко, еще не созрела для народоуправства, то всякая страна всегда является созревшей для законности.

Самодержавие этого не понимало, оно было слепо реакционно. Особенно последний Романов, лишенный не только элементарных способностей правителя государства, но и естественного чувства самосохранения. После Ходынки, вместо того чтобы отдать под суд дядю, московского градоначальника вел. кн. С.А., он всех простил и поехал плясать на балу у французского посланника. Жалкий, безвольный и недалёкий человек.

Таковы были «верхи».

«Низы» были не лучше. На путях к кровавой смуте народ выбрал своими вождями таких нравственных уродов, как С. Нечаев, П. Ткачев, В. Ульянов. В апреле 1917, в самом начале «великой бескровной», Луначарский в Швейцарии сказал Р. Роллану, что если в России будет республика, то Короленко должен стать ее президентом. Луначарский, вдали от России, заблуждался: он не знал, что популярность Короленко в то время среди «широких масс» стала падать. Еще бы! Массы в то время уже подхватили ленинское «грабь награбленное!», и короленковские призывы к спра-

ведливости, равной для всех, только раздражали их. Выступая на сельском сходе, Короленко объяснял своим землякам, почему нельзя безвозмездно отнимать землю у собственников, но его слова вызвали у его слушателей неудовольствие и протесты, хотя большинство из них помнило «Сорочинскую трагедию» и чью сторону занимал в ней писатель. Тем не менее в задних рядах слышался шум и даже восклицания, что Короленко, мол, «подослан помещиками», а один солдат-отпускник прямо сказал ему: «Если бы вы, господин, сказали такое у нас на фронте, то, пожалуй, живым бы не вышли».

Короленко призывал солдат к защите родины, но демагоги соблазнили народ лозунгом «мир без аннексий и контрибуций», чтобы в Брест-Литовске отдать Германии и аннексии, и контрибуции.

В письмах к Луначарскому Короленко писал, что если при царской власти жандармы могли без суда ссылать в Сибирь, то теперь, при большевиках, ЧК применяет административные расстрелы, которые поистине превратились в «бытовое явление». Нарком после смерти писателя ответил ему: «Мы для него палачи, а он для нас болтун».

Через год мы будем отмечать 150-летие со дня рождения В.Г. Короленко, писателя и правозащитника, которому суждено было в конце жизни увидеть крушение России. Пусть моя заметка напомнит, что он всегда был в оппозиции ко всем правителям нашего отечества – от царей до генсеков. Теперь мы имеем право предполагать, что он остался бы в оппозиции к постсоветским президентам.

**П. Негретов.
Воркута.**

Владимир Леонович

Сирота в миру

Ковыли

Такая выходит разлука.
Никто нам не может помочь.
Полгода как старая сука
в воротах лежит день и ночь.

Всё тише дыша, цепенея,
лежит, но хвостом шевельнёт,
когда поравнявшийся с нею
прохожий невольно вздохнёт.

Всё жальче, плешивее, плоче
становятся день ото дня
её клочковатые мощи.
Такая мне вышла родня...

Тебя не столкну я в канаву –
пока прикопаю в снегу,
а после ты ляжешь по праву
на волжском крутом берегу.

Тот берег – земля меловая.
Белы, как дыханье земли,
обступят тебя ковыли,
метёлками в лад помавая.

Царь-Колокол

*Блаженной памяти Ксении Гемп,
ученого-биолога, сказительницы,
собирателя преданий Беломорья*

Не поддался на переков
Главный Колокол Соловков.

Через пару конвойных миль
он шпангоуты проломил

и ушёл в водяную хмарь
Соловецкий Колокол-Царь.

Он парит не дойдя до дна.
Колокольная тишина,

та, что в мире тише всего,
исхожаше выпсрь от него.

Он колеблется на весу
В беломорском ржавом лесу

потайной водяной красы,
что сошел с валунной косы.

И приливам-отливам в лад
он раскачивается. Набат.

Анзер, Голгофа

Птица гордая, птица мертвая,
широко вразлёт распростертая,
Анзер-белый гусь – остров на море
весь во льдах лежит как во мраморе.

Налетает вест, сокрушая льды.
Ох, декабрь-старик, время трудное! –
а взгляни на скол – там душа воды
бирюзовая, изумрудная.

А еловый бор как церковный хор,
а Распятский храм как святой костер –
вся заря на нём протяженная,
непогасшая, незажжённая.

*Жизнь прекрасна
гошла*

*Только искра потаила,
Торная лес подошла.*

*Лес был сгорел,
Свѣ' огорѣл.*

*Белая зрѣла
Клячеб кровет обѣла,*

*Накарал как удлами
и съябнул погон.*

*Эт мѣ. Это с нами.
Кором... А кором –*

*Чернолесе
Удмич свѣб.*

*Эт – мѣ. Эт – Лесе
Удмич и ничбѣб.*

Не рождается, не торопится...
 Полунощная Богородица,
 я молюсь Тебе и работаю.
 Сохрани-спаси Ты рабу Твою!

Прилетит весной чайка черная,
 будет звать кого – не докличется.
 Сирота в миру, Мать Прискорбная
 Тень Голгофская, Всевладычица,

я молюсь Тебе и работаю –
 сохрани-спаси Ты рабу Твою,
 дни продли ея,
 утоли ея!..

Мелкая дробь

Б. Я.

Ты знал, душа микробья,
 как надо убивать:
 не пулею, но дробью –
 «щекоткой» № 5.

А с тысячью дробинок
 возможны ли когда
 достойный поединок,
 серьёзная вражда?

Нас убивает, братцы,
 не бытие, а быт,
 когда и почесаться –
 ведь тоже срам и стыд.

«Щекотка» в ягодицах!
 По совести смешно:
 ни драться, ни судиться,
 ни сесть. А всё равно...

Вот эту яму я и вырыл
 в сосновом островном бору.
 Живой смолы две бочки выгнал –
 понадобится, как умру.

За страсть к анапесту и ямбу,
за жизнь, упорную во зле,
я буду ввергнут в эту яму
и крепко выварен в смоле.

Сперва чертями перепачкан
и заткнут и проконопачен –
комар херка не подоткнет!
Картинно мыслит мой народ.

А смолка в голубом угаре
пузырится и не горит.
Меня волнует тёмно-карий
её медовый колорит...

Вот и пришла моя расплата
за беззаконье всех страстей.
Щекочут спинку бесенята
щекоткой огненных кистей.

Рисуют клейма – клейма – клейма
злокозненного жития.
Разоблаченный постатейно,
Вот я. Вот – лишняя статья.

Здесь мой стукач перестарался:
что было – было не со мной.
Рисуют, чтобы я карался
чужой какою-то виной.

Мне шелестит мой бор покатый,
прохладой дышит темный лог.
Я сам приплыл сюда с лопатой,
стволов смоливых наволоков.

Заметно гривка поредела,
отдав янтарное смольё.
Казнить меня – благое дело.
Не ваше, черти, – а моё.

*Деревня Илешево
Кологривского района
Костромской области.*

Сосо

САХАРНАЯ СТАТУЯ ВОЖДИ
1949

Прозрачен и голубоват
был монолитный рафинад.
Из цельной глыбы ВОЖДЬ возник.
Вятедь, ах ты взорник!

Ах ты мудрец! То лизь, то кусь...
Ты знал, что это колесо
буксует. Вот какая грусть.
Нам все вожди всегда Сосо.

Россия, обратим твой рок,
твой Рим стократно повторим:
чуть послабее сахарок,
чуть побыстрее растворим...

*(В музее водки
Старый)*

Сергей Ручко

Обращение

В своём почтовом ящике я обнаружил потрепанную общую тетрадь. Дневник. Записи велись неаккуратно, как будто второпях. На обложке было выведено:

«Обрывки мыслей, записанные в различных местах, непонятно для чего. На четвертом году самовольного заточения в собственной комнате. Минимум сношения с миром, только по необходимости, крайне редко.

Тихон Диверзин».

Я не думаю, что именно мне эту тетрадь положили по ошибке, так как в ней много написано интимного и личного, а потому решаюсь использовать её по своему усмотрению.

Воскресенье

Фиванская Манто видела, но не понимала. Эдип понял, когда ослеп.

Сегодня утром, по обыкновению своему, я проснулся рано. Какое-то время пролежал в постели с закрытыми глазами, не желая вставать. Но не прошло и двух минут, как я уже был на ногах, заваривал чай. Внимание моё привлекла кружка. Ничего необычного в ней нет, кружка как кружка. Белая с красными узорами.

Смотря на нее, я думал не о ней, а о том, что сегодня нужно ехать к моему деду, праздновать восьмидесятилетие умершей в прошлом году нашей бабушки. Я не могу к нему не поехать, так как он будет меня ждать...

Я заливаю кипятком заварку и думаю о Людмиле Петровне. Пожилая женщина, соседка, которая всё пытается привлечь меня к церкви. Это смысл её жизни – обращать неверующих в верующих.

ОБРАЩАТЬ.

Мои мысли обращены совсем к другому.

Перевернул чашку вверх дном. Смотрю. Все одно – чашка. Сколько бы я ни крутил её, она всегда остаётся чашкой, которую можно обращать в различных плоскостях. Даже если её разбить, осколки от неё будут показывать эту же самую чашку. Выбросить их в мусорное ведро не означает забыть. При определенном случае обязательно вспомнится сначала чашка, а после осколки.

Переворачиваю песочные часы через каждую минуту, покуда высыпается песок из верхней части в нижнюю. Когда песок сыплется, то есть когда песочные часы

функционируют, они всегда одинаковы, хотя я их переворачиваю. Если они не функционируют, то тоже всегда одинаковы – нижняя их часть наполнена песком. Сверху он сыплется сам, но чтоб он поднялся наверх, нужна внешняя сила, которая «обратит» низ в верх.

ВЕЩИ НЕ ОБРАЩАЮТСЯ.

Они есть то, что они есть. Мои мысли о них длятся лишь мгновение. Кружка, чтоб налить в неё чаю. А дальше – мысли о моей бабушке, которой бы сегодня исполнилось 80 лет, о моём деде, который уже со вчерашнего дня готовится к встрече с родственниками, о Людмиле Петровне, о моей матери, сестре, моих делах... Всё это проносится в сознании, пока чай наливается в кружку. Вокруг неё – тьма образов.

Стол, на нем электрический чайник, который поглощает электроэнергию столько же, сколько и стиральная машина. Заварной чайник, уже старый, непонятно откуда взявшийся в доме. Может, кто-нибудь подарил, или, может быть, просто он был куплен в магазине; то ли один, то ли в сервисе. Не помню. Будь он из сервиса, были бы и чашки. Чашек похожих нет: могли разбиться. Есть только эта чашка, только этот чайник и только этот стол, на котором все это стоит, и стул, на котором я сижу.

Нужно ехать к моему деду... заждался уже (мысль во время глотка горячего чая).

ХОЧУ ВИДЕТЬ И ПОНИМАТЬ.

Если ходить одним и тем же маршрутом многие годы, то это хождение превратится в привычку. Если в первый раз идти в гости к некоему гипотетическому господину К., живущему, к примеру, на улице Полевой в доме 3, кв. 5, то обязательно взгляд будет отмечать все детали маршрута, запоминая особые приметы – таблички с названием улицы, большой магазин, перекресток и т.д. Если во второй раз идти этим же маршрутом к этому же господину и если вдруг вместо улицы Полевой на табличке будет написана улица Бакалейная, то, при наличии совпадения всех других особых примет, ощущение того, что заблудился, будет вполне реальным. А вот если табличку переменят на десятый или двадцатый раз следования этим же маршрутом, то она никакого особенного воздействия не вызовет. Можно подумать, что вновь переименовали улицу.

Вышел из автобуса № 11 на площади Ермака. Иду через всю площадь к остановке возле НКВД (Новочеркасский кожно-венерологический диспансер). По обыкновению, там я дожидаясь автобуса № 1, проезжаю одну остановку вниз, по спуску Ермака, выхожу на Лассаля, прохожу мимо госпиталя МВД и спускаюсь по переулку Трудовому к дому деда, где я вообще-то родился.

На соборных часах 9 часов, то есть уже 10. ВВ – Весной Вперед, ОО – Осенью Обратно. Весна. Не будь ветра, было бы тепло. Как обычно в эту пору, возле НКВД масса автомобилей и много людей... Многие подхватывают трипперы, гонореи, сифилисы и, может, даже СПИД. Зимой здесь пустынно и мрачно. Из окна второго этажа женское лицо мне подает знаки: двумя пальцами она прикасается к своим губам, как будто курит... Просит сигарету. Она с ума сошла, если думает, что я по своей воле зайду в это помещение. Не люблю больничный запах, палаты, иголки и больничный рассольник – он отвратителен.

В новеньком «пежо» сидит молодой человек современного типа – по причёске видно. В открытом окне только и заметна его голова да еще рука, нервно тарабаниющая по рулю. Зачем открывать окно в машине, когда на улице чуть ли не пыльная буря? Чтоб его видели другие. Он совершил геройский поступок – подхватил триппер, следовательно, как настоящий мужчина, хотя и молодой, совершил полноцен-

ный половой акт с женщиной. Почему бы ему не угостить сигареткой то лицо, которое маячит в окне на втором этаже?

Перед Новым годом с нашим дедом случился инсульт. Насилу выкарабкался старик. Навещал его в больнице. Ужасающее впечатление. Реанимационное отделение. Палата, где либо умирают, либо выживают. У деда отнялась левая часть тела. Одни живые глаза – живые, потому что он хочет жить.

– Мне сказали, что через три дня я поправлюсь, – сказал. – Рука и нога вроде как шевелятся.

– Двигайся, дед, двигайся. Пытайся, хотя бы мысленно двигать ими. – Мне было страшно, что он смирится с безжизненностью.

– Нам еще нужно с тобой посадить в этом году картошку, аккурат на день рожденья бабушки. Мы с ней всегда в это время сажали картошку.

– Посадим, дед, посадим

– Ты не можешь забрать меня отсюда?

– Могу. Врачи не пускают.

– Пошли они к черту! – возмутился он.

Мне понравился его настрой. Он возмущается, значит, живет.

– Сестра, сестра, скорее... Боже, он умер!

Крики позади нас. Мужчина, лежащий возле входной двери, который только что, пять минут назад, смотрел в потолок, умер. В глазах деда паника. Во мне взбунтовалась ярость.

– Дед, ты не должен здесь лежать, понимаешь, не должен!

– Он умер?!

– Нет, потерял сознание.

– Умер, я же вижу! Что они с ним делают?

– Увозят в реанимационную палату. Будут спасать.

– Бесплезно, он уже на том свете.

– Откуда ты знаешь?

– Чувствую. Скоро и я туда отправлюсь. – Качнул головой в сторону окна.

– Куда?

– Там кладбище.

Больница новая, находится за городом, прямо за постом ГИБДД. Как говорит робот испанской телефонной сети: «fuga de cobertura» – вне зоны действия сети... Кладбище – не доезжая и чуть ниже, через рощу, где расположен тубдиспансер, а напротив кладбища стоит роддом. Детский сад возле рынка «Магнит» на Баклановском перестроили под городской суд. «Устами младенца глаголет истина». Всё в мире символично...

– Выкинь из головы эту чушь, – говорю деду.

– Как же я её выкину?

– Подвигай левой ногой.

– Двигается. – С гримасой боли на лице.

– Ещё двигай.

– Сейчас лучше. – Сквозь проступающие на глазах слезы.

– Мать, – говорю матери, которая здесь же, – давай заберем его домой.

– Врач не пускает, – отвечает.

Мне стало дурно. Запах смерти и предсмертия совсем не сладкий. Сладкий он в морге. Быстро вышел из палаты. Закружилась голова и затошнило. Глотнул свежего воздуха. Снова зашел. Дед уснул. Пришел домой – и сразу в ванну, смывать с себя налипшую на тело больниц. Она осязательная, её чувствуешь на коже, как грязную ру-



Александр Архугик. Из серии «Сны Галатеи»

башку, которую хочется скинуть с себя и выстирать. Терся как оглашенный мочалкой. Несколько раз менял воду, но абсолютной чистоты так и не достиг. Ощущение «облепленности» непонятно чем не отпускало несколько дней.

31 декабря его, еще слабого, выписали. Снес его в такси. Дома он облегченно вздохнул. Сейчас более-менее разошелся. Ходит с палочкой. Движение – жизнь. Если у меня и есть для него желание, то, чтобы он пожил подольше и чтоб умер во сне, как бабушка.

В тот сентябрьский день она деда отправила в погреб за вареньем, а мать попросила приготовить чай. Когда мать вошла в комнату с чаем, она уже умерла. Санитар скорой помощи, скинув её тело на пол, пытался оживить его. Дед сидел на скамейке во дворе, просто смотря в одну точку. Даже не заметил вышедшего из дома санитара. Тот вышел с печальным лицом, весь растрепанный. «Не смог» – только и прошептал.

– Может, чаю? – со слезами на глазах почему-то ответила ему мать...

Вместе с бабушкой умер кусочек добра, потому и скорбь, что добро умерло.

Они с дедом, за год до её смерти, затеяли устанавливать газ в доме. Переселились во флигель, где раньше жила дедова мать, моя прабабка. Дед целый год ходил по городским инстанциям, собирал какие-то справки и все же осовременил дом. В первый раз завел бабушку – показать. Она порадовалась, но в дом больше не заходила, а вскоре и умерла.

Подхожу к дедову дому. Иду пешком. Почему-то не стал дожидаться автобуса, даже не подумал об этом. Деда застал в огороде с тяпкой. Уже начал картошку сажать.

– Дед, ну что ты делаешь? Брось тяпку, куда тебе!..

– Да ты же сам говорил – двигайся!

– Когда я такое говорил?

– В больнице.

– Так ты ж не в больнице! Теперь аккуратненько нужно.

Сажаем картошку. Все же старика смерть мучит. Все шутки у него с могилой, гробом и кладбищем связаны. Всё больше чему-то скорбному внимание уделять стал.

Сидим на ящиках в огороде, отдыхаем.

– У Паши-гармониста, что ниже по переулку живет, жена умерла. Они же пьянствуют всей семьей. А в зиму, буквально и месяца после похорон не прошло, он на улице заснул. Зима теплая была, морозы только неделю постояли, так он умудрился именно в морозную ночь заснуть. Соседи вызвали скорую, приехала, забрала его. Через несколько дней выписали. А у него гангрена на руках и ногах, отморозил напроць. Чернеют они у него. Снова к врачам. Ампутировали ступни и пальцы на руках, снова домой отправили. Дочка его тоже пьет, как бы не прибила. По пьяной лавочке грозилась... Пожилой человек нынче презирается всеми. Время молодое настало, стариков не нужно...

Зато о своей прошлой жизни рассказывает серьезно. В ней он есть ОН. Непонятные перипетии жизни деда, совершенно обывательские и банальные для меня, для него суть величайшая ценность. Война, годы, проведенные на поселении по решению советского суда, какой-то трест «Химдым», где он работал – везде ОН, который принимал решения, от которого много что зависело и без которого все, что становилось действительным, было бы абсолютно невозможным. Теперь, когда он вспоминает об этом, у него проступают слезы на глазах.

Правда, он глуховат. Мне кажется, что он не слышит своих слов, когда проговаривает их вслух. Монологи его скорее размышления внутри себя. Это не то же самое, что речь хорошо слышащего человека. Последний в момент проговаривания

осознает сказанное. Дед же не осознает, часто повторяется и путается. Я сужу по себе: мне редко доводится излагать свои мысли вслух. Признаюсь, боязно говорить. Что-то похожее со мной случается, когда следует ударить человека по лицу. Если меня ударят – не особенно страшно, а мне другого – боязно. Не знаю, почему.

Наконец-то, хоть на старости лет, дед себя возлюбил по-настоящему. Всю свою жизнь он не любил себя вовсе и только сейчас, перед лицом смерти, возлюбил. За человеком, который натурально себя любит, всегда радостно наблюдать. Отвратительно созерцать тех, которые и в грош себя не ставят, набивая при этом цену. Как прекрасна любовь к самому себе – даже старческие глаза она делает молодыми...

Еду домой в автобусе, думаю о последних моих впечатлениях. По проходу к выходу пробираются двое слепых – женщина и мужчина. Люди с интересом разглядывают их. Сначала смотрят на их поступки, после сразу же на их глаза. Где-то внутри себя задаются вопросом: не притворяются ли? Подозрительные лица у подозрительных субъектов сразу выражают их желание обличать кого-нибудь, выводить на чистую воду.

Я дома. Пью кофе. Смотрю всё на ту же пустую кружку. Как стояла на столе, так и стоит. Вместе с глотком горячего кофе меня посетила мысль: я, оказывается, совершенно не могу переносить умирающих людей...

Но человек как только родился уже суть человек умирающий... Всегда обращающийся в неизвестные стороны с неизвестными целями, пустыми затеями, без самолюбия, даже без намека на него. И этих медленно умирающих людей массы, полчища, миллиарды. Они везде и повсюду; это-то и пугает.

Понедельник

День абсолютного «ничего не хочу». Насилу к вечеру заставил себя выйти на улицу. Целый день, лежа в постели, составлял схемы маршрутов, по которым пойду. Ни один не подходил, везде и всё знакомо. Мысль о том, что за три года, пока меня не было, могло что-нибудь измениться, вывела меня на улицу. Морозно. И природа обращается, недопонимая, куда и во что. Конец марта, а морозно; в середине февраля – теплынь, как будто май месяц на дворе. Всё обманчиво, всё как-то живет по-своему...

Всякие размышления о вещах нужно плести, сплести их в косы, которые заплетают девушки. Приятно на самом деле наблюдать со стороны, как женщины прихорашиваются возле зеркала. Меня они не любили именно из-за этого моего предпочтения. Прятались куда-то с глаз моих долой, непонятно почему. Любить можно человека, который любит самого себя и наслаждается самим собою. А это можно заметить лишь в интимных действиях его. Женщины обыкновенно не любят наводить красоту в присутствии мужчины; следовательно, они не любят себя или боятся, что их счастье может украсть тот, кто их рассматривает – кто их действительно любит...

Встретилась на улице Леночка. Три года назад это была милая девушка, среднего роста, стройная, с длинными светлыми волосами. Теперь она замужем. Муж старше неё. С первой женой разошелся и на Леночке женился. Его первая жена и Леночка – подруги: какими были, такими и остались. Собираются иногда все вместе, развлекаются и отдыхают. Злые языки говорят, что он до брака с Леночкой не пил, был человеком положительных направленностей, имел должность и фотогеничный внешний вид.

Леночка теперь похожа на даму средних лет. Она относит свою пышность на рождение ребенка. А муж (не знаю, как его зовут) совершенно высох. Работает на электростанции, исхудал и потемнел кожей лица. Мне кажется, у него большая печень: белки глаз желтые. Леночка поливает его грязью везде и всюду; это излюбленная тема её разговоров. Зато, усаживая дитя в коляску, она мило напевает себе под нос какую-то модную мелодию, и никакого неудовлетворения в ней не заметно. Она зациклена на семейном счастье. Брак ей в радость, а не в печаль.

Природа создала людей так, что одни носят счастье в своих карманах, но заметить этого не могут, поэтому они всегда несчастны. Они носят это счастье как бы не для себя, а для других, которые обыкновенно и воруют это их счастье.

В баре «Эдем» были еще свободные места.

– Ты где был, Тихоня? – это Ксюша нарисовалась за моим столиком.

– Дома.

– Сто лет тебя не видела.

– Взаимно.

– Я что-то не пойму, то ли ты похорошел, то ли поплохел. На лицо вроде как похорошел, а вообще, что-то не то.

– Зато ты в порядке.

Вру, выглядит просто здорово. Грудь, бедра, стан – всё при ней, кроме мозгов. Мы с ней были близки, правда, давно это было.

– Ага, будешь в порядке с таким мужем. Я два года как замужем. Ты не знал?

– Нет. Поздравляю.

– Ты с ума сошел, Тихоня! «Поздравляю». Как у тебя-то дела?

– Как обычно.

– Значит, плохо. Кофе помешай ложкой в обратную сторону.

– Что? – не понял я.

– Ты кофе в чашке мешаешь против часовой стрелки.

Попробовал в обратную сторону – неудобно, не получается.

– Никак? – спрашивает.

– Никак.

– А ты пробуй, пока не привыкнешь.

– Зачем?

– Мне бабка нашептала. Я замуж хотела выйти, и никак. Она меня и спрашивает, в какую я сторону сахар в чае размешиваю. Говорю, против часовой стрелки. А она мне и говорит: как научишься размешивать в обратную сторону, сразу замуж выйдешь. Мучилась долго. Постоянно об этом и думала. Привыкла, и сразу мой благоверный откуда ни возьмись. Вот, теперь замужем. Так что учись, Тихоня, мешать в обратную сторону. Ты со своей не сошелся?

– Нет

– Ну и правильно. Я вот со своим мучаюсь только. Дурдом. Хотела замуж выскочить, думала, жизнь как-то по-новому развернется, и на тебе, подарочек. Вы, мужики, с первого взгляда внушаете доверие, а после присмотришься к вам... У тебя не бывает такого?

– Вроде не бывает.

– Вот и я про то же самое, ничего у вас такого не бывает. По мужской линии мой слабоват. Мне бабка нашептала ему настоя по капле в чай вечером добавлять перед этим, чтоб он не знал. Ты как думаешь, нормально?

– Нехорошо как-то. Он же не знает.

– Так если узнает, то и не согласится. Жутко суеверный. Верит в бесов, духов, за-

говоры, заклинания. В гостях, перед тем как поесть, обязательно посолит, не пробуя, или вообще не ест. Слово «смерть» и слышать не желает. На кладбище не затянешь.

– Ты, Ксюша, даешь. Что ему на кладбище делать?

– Как что? Могилки справить, на Пасху сходить, на родительскую, да и вообще... Я тут недавно в больницу попала, так он и носа своего в ней не показывал. Сестру мою присылал, а сам внизу, во дворе больничном дождался. Засиделась я с тобой, заговорил меня всю. Может, в гости зайдешь?

– С мужем познакомится?

– Ха-ха, ты шутник, однако. Он сегодня в ночную идет. Надумаешь, заходи.

– Не знаю, посмотрим.

– Мы на Юность переехали. Квартиру купили. Вот мой номер телефона и адрес (протянула клочок бумажки). Звони, заходи.

– Хорошо.

В самом деле, мешать кофе по часовой стрелке совершенно невозможно – ни левой, ни правой рукой.

Люди, заходящие в бар, перестают быть людьми: они обращаются в посетители. Теперь они – посетители «Эдема». На время работы, правда, этого самого «Эдема». Заходят чинно, с достоинством усаживаются за свободный столик, крутят головами в разные стороны, отыскивая знакомые лица, и ждут официантку. Большой мужчина в светлом костюме и дама, его сопровождающая, заказали семейную пиццу, литр пива, салат и кофе. Дама эта, всенепременно, является женой большого мужчины. Она все ему напоминает, чтоб он кушал. Он и кушает – всю пиццу и всё пиво и весь салат. Время от времени дамочка стирает с его бороды и губ сальные подтеки. Но рубашечку все же он выпачкал.

– Фу, какой ты свинтус, Жорик, – любя говорит.

– Хи-хи-хи, а как ты хотела... – Голос тонкий, писклявый, совершенно несовместимый с внешним видом. – Видишь, зашла молодуха... – Показывает ей глазами в сторону.

– Ну. – Дамочка с интересом рассматривает вошедшую.

– Помнишь, я тебе рассказывал о Ступаре, который извращенец, с нами работает.

– Ага.

– Вот это она, его жена.

– Сразу видно, проститутка.

– Я знаю кума Ступаря. Он мне рассказывал, что они там вытворяют друг с другом.

– Что, что вытворяют?

– Ступарь-то вроде как ненормальный, помешанный слегка. Так с виду человек скромный, малообщительный, ни с кем особенно не водится. А домой когда приходит, в деспота превращается. Наручниками к кровати её пристегивает и насилует во все места, даже туда. – Он многозначительно показал глазами на то место, которым была повернута к ним дама.

– Что ты говоришь! – Глаза у его жены засверкали.

– Ну, точно тебе говорю. Эта, – снова показал он глазами, – в очень хороших отношениях с женой кума и всё ей рассказывает, причем в подробностях. А та потом куму пересказывает, только чтоб он никому ничего не говорил. Но он мне одному, исключительно по секрету. Ты тоже, смотри, никому не ляпни, а то пойдет бродить по округе.

– Да я могила. И что там еще?

– Говорит, в сексшоп они частенько ездят и там покупают всякие такие штучки-дрючки. Он это любит. Особенно резиновые трусы с приделанной сзади мужской штучковиной. Он их надевает, и эта штучковина ему туда пролазит, спереди пристегивает еще один и двумя её протыкает, привязанную к кровати, и плеткой бьёт. Соседи рассказывали куму, что каждую ночь вопли и крики из их квартиры раздаются.

– Это же надо, а! А с виду и не скажешь.

– Хе, с виду. Жена кумова рассказывала ему, что как-то зашла к ним в квартиру, а там белье разбросано по всей квартире, и все сплошь в красных и желтых пятнах. Сейчас если трусы с неё стянуть, точно там всё в плесени и в паутине.

– Фи, Жорик, какой ты гадкий.

– Хи-хи-хи. – Жорик обрадовался комплименту.

– Ты, кушай, кушай. – Снова оттирает сальные подтеки с его лица. – Кушай, Жорик, не спеши.

Мешаю ложкой кофе против часовой стрелки, как обычно. Кофе остыл. Дышать в «Эдеме» трудно, много посетителей.

«Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза!» – раздавался пьяный крик с лавочки на так называемой «аллейке дурачков». Под водку и на лавочке можно веселиться. Однако понедельник. В пятницу и субботу будут петь хором. На аллее собирается местная молодежь, чтоб повеселиться, – поэтому, наверное, и «аллейка дурачков». Иные мнительные граждане здесь даже не ходят. В их представлениях, если идешь по «аллейке дурачков» – значит дурак.

– Сигарета есть? – тот же голос из темноты аллеи.

Остановился, жду.

– О! Тихоня! Водку будешь?

– Нет.

– Заболел?

– Ага.

– Говорят, в Америке был?

– Был.

– Тогда я у тебя парочку уворую.

– Уворуй.

– Благодарствую! Бывай здоров! А может, водочки?

– В другой раз.

– Ну смотри. Моё дело предложить, твое отказаться. Ха-ха-ха.

Звоню в дверь. Ксюша в коротеньком легком халатике, растрепанная, выглядит ещё лучше.

– Заходи, что ли.

Разговоров больше не было. Её тело мешает мне заниматься с ней сексом. Оно стоит между нашими желаниями как китайская стена, которую не обойти и не объехать. Где в этой стене проходы, по которым можно преодолеть её, знает только тот, кто постоянно пользуется ими. Борьба двух тел, которые хотят друг от друга того, чего ни у того, ни у другого нет. Я чертовски устал. Ксюша по ощущениям походила на тушку цыпленка, которую час назад вытащили из морозилки, чтоб она разморозилась. Холодная, мокрая, на ощупь хлипкая. Говорят, что проститутки все холодные, поэтому их и пользуют в саунах – то ли для контраста, то ли чтоб нагреть.

Встал, оделся и ушел. Ночь. Никого. Все спит. Темно, звездное небо. Наткнулся на лавочку, сел перекурить.

Нужно как-то приткнуться к этому миру, какой-то стороною с ним сойтись, дого-



вориться с ним обо всех условиях дальнейшего нашего с ним сожительства. Он втягивает в себя, вытягивает меня из самого себя, и в то же самое время отталкивает, впихивает меня обратно. Внезапно втягивает и внезапно отталкивает. В голове шумит, хотя на улице тишина. Обхватил руками голову. Внутри что-то бродит, внешне вновь ощущение облепленности, как после больницы. Я не могу быть вместе с умирающими, не могу. И без них не могу, никак не могу. Лучше с рождающимися или воскресающими, возрождающимися.

С Майей мне было хорошо, тогда, давно, лет пять тому назад, и то временно, в самом начале наших встреч. Космическая девушка. Небесная флейта. К ней прикасаешься, и она тут же возбуждается. Белая кожа, высокий стан, чувствовалась порода и огромнейших размеров внутренняя гордость. Приятно иметь отношения с такими людьми. Правда, все делала невпопад. Пыталась как-то предусмотреть мои желания. А как их можно предусмотреть, если «ничего не хочется» – совсем ничего.

– Какими ты словами будешь меня ругать?

– Никакими.

– Совсем?

– Совсем. Буду молчать.

– Мужчины должны уметь ругаться.

– Вздор. Нормальные должны уметь молчать.

– Когда ругаются, можно понять, чего мужчина хочет.

– Может быть.

– Мои мама и папа хотят с тобой познакомиться.

– Не стоит.

– Почему?

– Не хочу.

– Почему не хочешь? Они хорошие.

– Все мы хорошие. Не хочу и всё.

Как-то у неё дома я задержался. Вернее, она специально меня задержала, чтоб я познакомился с её родителями. Поздно я спохватился. Отец её кряжистой своей рукою все пытался раздавить мою ладонь. После бросил эту затею и стал нести всякую чепуху о беспорядках на ночных улицах. Потом появилась её мама. Стала, уперев руки в боки, и наглым тоном заявила:

– Молодой человек, как вы смеете так поступать с нашей дочерью? – И сразу же к отцу: – А ты что сидишь и мямлишь, два слова связать не можешь.

Я молча встал и вышел из квартиры. Майя догнала меня уже в подъезде.

– Ты не сердись?

– Нет.

– Правда?

– Правда.

– Честно?

– Честно.

– Не бросишь меня?

– Нет.

– Скажи правду.

– Правду и говорю.

– Не хочу тебя отпускать. Вернись!

– Куда?

– Ко мне домой.

– Там твои родственники.

– Ну и что?

– Не хочу их видеть.

– Значит, сердисься. Мне кажется, что ты уйдешь сейчас навсегда и никогда больше не вернешься.

– Вернусь. Я люблю возвращаться.

– Я буду тебя ждать, слышишь?

– Слышу.

Больше мы не виделись. Всё как-то было недосуг.

Глядя на Луну.

Планеты обращаются вокруг своих осей и вокруг Солнца. Солнце – это мое эго, которое обращается вокруг самого себя, и вокруг него обращаются вещи, которые обращаются вокруг своих собственных осей, нисколько не меняясь в существовании своем. Эго моё, моё «Я» одновременно и Солнце, и Земля в отношении к Солнцу; еще оно темный лик Луны, тень обеих.

Меня, может, в понедельник родили.

Пришел домой, открыл эфемериды. Родился в субботу.

Оттого и не хочу ничего, выходной по жизни.

Закрывая глаза, в постели.

ЛЮДИ ОБРАЩАЮТСЯ. Во что – неизвестно.

Вторник

На сон грядущий я всегда себе ставлю задачу и вместе с нею засыпаю. Ночью, когда я сплю, все лишнее и наносное исчезает из меня, оставляя, только то, что предназначено моему утреннему выбору. Постоянное и привычное – чашечка кофе или чашка горячего крепко заваренного чая, с сигаретой и парой строк в записной книжке, – всегда остается неизблемым, происходящим совершенно автоматически, без всякого напряжения и душевного протеста.

Мысль с утра всего лишь одна: вещи не обращаются. Передо мною лежат книги. Разные авторы их написали, они разного цвета, разного размера, разного объема. По этим данным, даже не читая их, не вникая в содержание написанного, я вполне логично утверждаю, что они разные и по содержанию. И что поменялось, что обратилось и во что обратилось? Ничего. Вот я беру листы формата А4, на которых напечатаны тексты. Не читая их, могу ли сказать, что они различны? Вот лист и вот лист. Отставляю на метр от себя и смотрю: одинаковы. Различие в красных строках текста, и всё. О содержании никаких выводов и заключений сделать нельзя, потому что неизвестен автор, неизвестно название и т.д. Более того, если смотреть на две раскрытые книги, то результат будет тот же самый. Таким образом, человек вносит различия в вещи, творя из них что-то, и попутно идентифицирует сотворенное для его узнаваемости другими.

Вещи есть то, что они есть. И только человек обращается, становится обращенным и стремится обращать других в то, во что он обратился сам, или в то, во что его обратили.

Нет, не человек, а его сознание, которое постоянно видится обращенным то ли в прошлое, то ли в будущее.

СОЗНАНИЕ, ОБРАЩЕННОЕ В СТОРОНУ ОТ САМОГО СЕБЯ.

Родился свободным – обратился в раба, родился русским – обратился в христианина, родился гением – обратился в бездарность, родился человеком – обратился в

сапожника, академика, пьяницу, космонавта. Но человек – это и человек, и русский, и христианин, и академик, и свободный, и раб: в одном лице смесь, как говорят испанцы, *la mezcla*, всего того, чем обладает сознание.

Мне противно моё отражение в зеркале: оно лживо, лицемерно и никогда не бывает искренним.

Среда

Утренняя чашечка только что сваренного кофе, первая затяжка ароматной сигаретой, и по кухне распространилась благодать. «Пойду подстригусь». Вот, спрашивается, к чему эта нелепая мысль может быть приставлена? Да ни к чему. Пойду, действительно, подстригусь.

Та же парикмахерская на втором этаже Дома быта, то же кресло посередине (всего три кресла), то же большое зеркало, та же тумбочка со всякими причиндалами и та же тетя Ира.

– Как обычно?

– Да.

Но в этот раз чувствую себя скверно. Больно волосам, когда она их стрижёт ножницами. Включила машинку – закружилась голова. На свое отражение в зеркале смотреть не могу, тошнит. Насилу высидел, мука да и только. Вышел на улицу, полегчало. Побрел на канал, искусственно прорытый от Дона к ГРЭС для охлаждения турбин. Отработанная ГРЭС вода образует другой канал, который называется «вторым» или «теплым». Грязная жижа с масляными пятнами образует целую реку. В этом теплом канале, кстати говоря, раньше водились огромные сомы и амуры. Сейчас не знаю.

Зеленая тина, тухлый запах, берег, заросший камышом, везде грязь.

В документальном фильме Би-би-си «Живая природа» запомнился эпизод. Где-то на юге Африки один раз в год происходит удивительное явление. Пустыня, барханы. Голодные львы, обессиленные антилопы, угрюмые слоны и прочая живность страдают от невыносимо палящего солнца. Выгоревшие кустарники и сухое русло реки напоминают животным о засухе. Слоны подходят к пойме и тупо смотрят на неё, не понимая, в чем дело. Им остается только осыпать себя песком. И вдруг русло начинает наполняться водой. Где-то за 200 километров от того места в горах прошел дождь. И разливающиеся горные реки растекаются по сухим руслам. Берега моментально начинают зеленеть, превращая всю пойму в цветущий оазис. Животные бросаются к воде и к пище. Через пару дней – та же пустыня, и все живое вновь существует в ожидании ежегодного чуда.

Зато наш канал от переизбытка воды и своего постоянства превратился уже в смердящую лужу.

Я поспешил вернуться обратно.

– Здравствуй, Тихон! – проповедница христианства встретила на пути.

– Здравствуйте, Людмила Петровна.

– Гуляешь?

– Гуляю.

– А я на проповедь в церковь спешу. Пойдешь со мной?

– Нет.

– Почему?

– Не хочу.

– Зря. У меня книжка есть. Дать почитать?

- Не надо.
 - Почему?
 - Не хочу.
 - Это нужно читать. Тут про любовь Бога сказано.
 - Оставьте себе. Занят я. Всего хорошего.
- Пришел домой. Наконец-то покой.

Нужно было сказать Людмиле Петровне так: «Я тут по дороге, пока шел, наткнулся на раздавленную жабу. Тоже из огромной любви к ней, наверное, ваш Бог сделал так, чтоб её раздавили, именно сегодня, именно здесь и именно таким образом. Нет, я понимаю, когда бы её змея проглотила, – естественный закон природы, а так – к чему это? Лишняя, что ли, жаба эта была, количество жаб, может, таким образом регулируется? Уж вы мне скажите, что жаба здесь ни при чём. А люди? Идет пенсионер, и ему на голову льдина с крыши падает, и насмерть. Бог, что ли, на крышу забрался и лед сковырнул? А к другому спустился – тот живее всех живых и еще с деньгами. Любовь! Если жабу раздавили случайно, а льдина так же случайно упала на голову человеку, а другому так же случайно достались деньги, то во всех этих случайностях Бога нет. Потому что если бы был, то не было бы случайностей, и жабу бы не раздавило, и льдины бы на головы не падали, и катастроф бы не случалось, ибо Бог есть любовь. Наисладчайшие спасители к вам приходят чуть ли не каждый день, а вы их как не видели, так и не будете видеть. Все эти известные персонажи: козлы отпущения, гадкие утята, золушки, психеи, нарциссы – Иисус разве не один из них? Оттого-то и радостно вам, когда этим больно и скорбно. И они на себя боль и скорбь принимают, чтоб вам радостно было, тогда и им радостно через вас. Так нужно разве их угнетать?.. А! Жабу жалко мне. Прыгала куда-то, а её бац – и раздавили».

Моё сознание обратить в эту сторону пока невозможно. Для всех верующих и проповедующих свои или чужие идеи сами по себе идеи представляют ценность в смысле возможности посредством них обратиться к человеку, завязать разговор или дискуссию, осуществить коммуникацию. Ну, как бы мы общались с Людмилой Петровной, если бы не было меж нами её идеи о божественной любви? Никак. И они там, в своей богадельне, о чем бы говорили, если б не было этой библейской романтики в их головах? Им общение нужно – только и всего.

Людмиле Петровне, чтоб обращать неверующего в христианина, нужен неверующий. Так что ей незачем все это рассказывать...

О раздавленной жабе, между прочим, я вспомнил только сейчас. Когда шел, особенного внимания не уделил. Всё замечается, однако, сознанием, абсолютно всё. Причем в одномоментном режиме. Бог и раздавленная жаба, затхлый канал и оазис в пустыне. В настоящем сознание выхватывает противоположное из прошлого и составляет суждение в фазе отрицания, неприятия, избавления. Оно убегает от противного к прекрасному и от прекрасного к противному, но не во временной последовательности, а одновременно. Нужен контраст, чтоб сознательное сбилось. В нём все образы вещей, вне его – только координаты, столбы, к которым можно привязать эти образы.

Когда все эти образы в голове образуют что-то похожее на парад планет в космосе, то хочется всего и сразу, приходит экстаз. Хочется женщин: не этой, этой и этой, а всех сразу. Хочется денег: не сотни, тысячи или миллиона, а всех вообще. Власти не над этим или тем, а над всеми народами, государствами и планетами.

Поэтому нет последовательности, а есть случайная одновременность одного и того же сознания, обращающегося вокруг своей собственной оси.

Четверг

За созерцанием чашки.

Всё, что есть, – не обратимо. Вещи, предметы, животные, растения, планеты и люди.

ОБРАТИМО только сознание человека, которое в этой обратимости существует само по себе.

Все в жизни можно сознательно исковеркать, унижить, презреть, свести к прошлости либо возлюбить, возвысить. Можно много чего еще, но всякая обратимость приближается с каждым мгновением к необратимому. Необратима смерть. Человек рождается умирающим.

Чашка не сотворена смертной. Она умирает по вине других. Сама по себе она, если её никто и никогда не будет трогать, вечна. Может лежать в земле тысячи и тысячи лет, как и камни. По существу своему она не обратима. Человеческое сознание может сделать её обратимой, но только в самом себе. В моем сознании чашка обратима, например, в вазу.

Телефонный звонок.

– Тихон, здравствуй! Не помешала? – голос Людмилы Петровны.

– Нет.

– Представляешь, я вчера поругалась со своею подругою, Марьей Алексеевной. Поругались на пустом месте.

– Зачем?

– Боже, какой гениальный вопрос, зачем. И в самом деле, зачем?..

Удивительный человек. Она мной восторгается. Тем, что я мало говорю, а если говорю, то все по делу.

Днями раньше чай пьём, она меня спрашивает про душу. И вот думаю про себя о платоновской душе, которая во сне покидает бrenную и смертную плоть, начиная своё странствие по историческому миру. Присутствует в Египте, на суде Осириса, окруженного сорока двумя судьями мертвых, проходит жреческий ритуал посвящения. Оттуда направляется в Древнюю Грецию, где слушает речи Сократа и скорбит о его участи. Заходит и в Вавилон, город-тень, в котором благоухают родники и который весь покрыт холодными мрамором, золотом и серебром, чтоб утолить жажду, сопровождающую её в пустыне. Пленившись образами Иерусалима, направляется и в этот город раздоров насыщаться сочным виноградом размером больше дыни, толкаться среди паломников, со всей земли стремящихся туда. После попадает на хадж в Мекку, с упованием слушает муэдзина, призывающего с минарета мусульман к молитве. В Древнем Иране встречается с Заратустрой, примиряющего доброго Ормузда со злым Ариманом. Вместе с флибустьерами сражается за колонии на стороне Англии и Франции против Испании. После бродит по темным, мрачным и узким улочкам Мадрида. Развлекается пикантными французскими вечеринками на Ривьере. Созерцает охваченный огнем зал Вальгаллы, в котором сидело собрание богов и героев. Везде она действует, что-то находит полезное, что-то отвергает и вновь возвращается в тело, которое просыпается и обращается к жизни. Душа наша подобна арбузу, в котором полным-полно семечек. Из них должны рождаться другие огромные плоды под палящим солнцем. Сорвешь арбуз на бахче, разлочишь пополам и пьешь сладкий сок, и ешь с удовольствием мягкую и прохладную плоть, приносящую нам наслаждение...

– Кто его знает, что есть душа, – вместо этого говорю ей.



Есть сорт арбуза под названием «огонек». По цвету назвали, наверное, – по сути в нем ничего огненного нет.

Вернусь к вещам.

Вещи своею необратимостью во мне, к примеру, создают душевный покой, неподвижность, что-то остановленное, устоявшееся, вечное. Статуи, которые везде и всюду ставили и греки и римляне, судя по всему, исполняли эту роль. Самим присутствием своим эти надменные фигуры как бы успокаивали внутренний дух. Где-то читал, что у римлян было обыкновенным делом натирать тело порошком молотого стеатита, надевать на голову венок из побеленных лавровых листьев и стоять по полчаса на плинте рядом со скульптурами, наслаждаясь этой приятной компанией. Римлянин тогда чувствовал себя как-то по-гречески. В Европе нынче модное занятие: там такие живые скульптуры стоят везде и всюду.

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

И деньги, за которые можно купить любую вещь, тоже что-то постоянное, временное, вечное. Деньги символизируют постоянство. Сознание же обращается с ними, как ему заблагорассудится. Деньги имеют различные формы в различные эпохи и различные времена, у различных народов они различны. Ими обмениваются, их передают из рук в руки, закладывают, размещают в банках, посредством них удовлетворяют свои желания, полагают, что можно достичь абсолютной свободы, но сами по себе деньги нисколько не меняются.

Мне, может быть, так же, как и всем, нужны деньги, но я не хочу обращаться в монтера, шофера, стропальщика, академика, бизнесмена, олигарха... Абсолютное «ничего не хочется» и «не можется».

А может, это страх перед жизнью...

Пятница

Внезапно, по следам прочитанного сегодня, появилась мысль о смерти, о смысле её.

И этим все кончилось. Мысль не может упереться в смерть как в тело... Только если в покойника, так он уже умер, просто труп, бездушный человек – холодный и страшный.

Есть духи мертвых – они являются людям то в словах, то в призраках, то в вещах. Как персоны.

Духи живых – это сила, воля и стойкость духа.

Даже в мире духов всё обращается. Необратимых духов не бывает.

Действительно, страшно жить, хоть в этом мире, хоть в том – все одно – страх. Непонятный, неосознанный, леденящий душу страх либо перед болью, либо перед неизвестностью, либо перед известным событием, которое должно повториться.

Абсолютное «ничего не хочется», сегодня еще сильнее.

Суббота

Вместо того чтоб купить сигарет в ларьке возле дома, я направился в супермаркет «Магнит». Даже не заметил как. Понял это, рассматривая молоденькую кассиршу, которая мучительно размышляла, каким образом дать мне сдачу со ста рублей при стоимости пачки «Marlboro» двадцать шесть рублей девяносто копеек. Рассматриваю её живот. Вернее, кусочек живота, который вывалился у неё из под кофты. Верхняя пуговица штанов растегнута. Наверное, штаны ей маловаты. Она бьёт

пальцами по клавишам кассы, и животик её дергается вместе с этими ударами. Волосы выкрашены дешевой краской. Они как будто немые, лежат безжизненными плетями на её голове. Веки синие, а губная помада коричневая: и то и другое тоже дешевое.

На улице распечатываю пачку. «Курение вредит вашему здоровью». Жизнь вредит здоровью еще больше, чем сигареты. Человека всегда привлекает именно то, что его убивает. Даже к ране первым делом он прикасается рукою. Жизнь – это медленное самоубийство.

Из новенького «фольксвагена», припарковавшегося возле супермаркета, выходит молодой человек. Топают ногами по земле – сбивает пыль с туфель, подтягивает штаны, изгибаясь при этом всем телом, одергивает пиджак, придаёт выражению лица серьёзный вид, щелкает сигнализацией и гордо идет в магазин, по ходу движения осматривая себя с ног до головы. Тут же подъезжает старенькая «шестерка». Из неё выходит тоже молодой человек и поступает совершенно таким же образом. Братя по духу.

В маленьком парке напротив супермаркета сел на лавочку. Две молодые девушки с интересом рассматривают меня.

– У вас не будет сигаретки? – подошла одна.

– Пожалуйста.

– А можно две?

– Бери две.

– А десять рублей не займёте?

– На что?

– На автобус не хватает.

– Честно говори.

– Ну, на сигареты. – Нагло.

– За десять рублей что можно купить? Держи тридцать, купи что-нибудь получше. – Дал ей тридцать.

Отправляются в магазин. Слышу, говорит одна другой: «Чокнутый какой-то попался. Сейчас купим и сигарет, и пива»... Смеются. Подешевле и побольше – богатые люди, однако. Подрастут, и будет у них такой же пивной животик, как у той кассирши. Всякая молодость «оппозиционна» и «революционна».

Из супермаркета выходят хозяева машин. Практически одновременно, и делают практически одно и тоже: рассматривают колеса, открывают задние левые двери, кладут пакеты, топают ногами по земле, садятся за руль. Уехали. Они и не знают, что они братья.

Звоню дочке в Москву. Вера, одиннадцать лет.

– Привет!

– Здравствуй, пап. – Вот же манера, все фразы укорачивать.

– Как дела?

– Хорошо. А у тебя?

– Тоже хорошо. Что нового в школе?

– Ничего. Все пятерки и две четверки.

– Троек и двоек нет, стало быть?

– Не-а, ни одной. Только Борьку выгнали в другую школу.

– Кто такой, Борька?

– Друг мой.

– Почему, выгнали?

– Да ударил там одного по лицу, хулиган.

- Ужасно. Зачем же по лицу человека бить?
- Да он сам виноват. Вернее, они подрались.
- Нельзя, Вера, человека бить по лицу. Так и передай своему Борьке.
- Почему нельзя, если он сам виноват.
- Никто не может быть виноват до такой степени, чтоб его можно было бить по лицу.
- Ну, ты, пап, как с луны свалился. Там в школе такое творится!
- Неважно, что там творится, а бить нельзя.
- Ну и почему же нельзя?
- Потому что человек, который другого бьёт по лицу, себя совсем не любит.
- Как это?
- А вот так. Если ты себя любишь, то как же ты позволишь тому, что ты любишь, бить другого; и если ты все же любишь это, то ты не считаешь себя добрым, а любить можно только лишь доброе. Понятно?
- Нет. Ты мне так объясняешь, как будто я студентка из университета.
- Ладно. Что собираешься делать сегодня?
- Поедем с мамой на Воробьевы горы. Будем там целый день гулять. Фотки тебе потом на мыло вышлю. Я на них буду как ты.
- В каком смысле?
- У меня одежда военная.
- В школе выдали?
- В какой школе, папулька! Просто модно сейчас носить одежду... Ну, такого же цвета, как и ты в армии носил...
- Хаки?
- Как?
- Зеленая?
- Да, зеленая. У меня уже есть такие штаны, юбка и рубашка. Сегодня еще сапоги с мамой купим. И буду как ты.
- Упаси тебя от того, чтобы быть как я.
- Ничего и не упаси. Маме тоже нравятся военные. А ты вообще офицер. Круто!
- И ты хочешь быть военным, что ли?
- А как я им буду?
- Устрою тебя в военное училище, и будешь военным офицером.
- Ты серьёзно говоришь?
- Ну да.
- Да-а, пап. Тяжелый случай. Мода такая сейчас, понимаешь? Мо-да. Носить такую одежду. И всё, хватит об этом. Как баба?
- Это про мою мать.
- Хорошо.
- Пусть мне позвонит. Что-то ей скажу.
- Мне говори.
- Тебе не скажу.
- Почему?
- Это наши, женские дела.
- Договорились.
- Ну всё, пап, мы уже выходим, целую.
- Целую...

С женой мы в контрах. Вернее, она в контрах со мною. Толку от меня финансового никакого нет. Зато мать и отец её до сих пор считают меня своим зятем, а ро-

дители наши вполне мирно общаются друг с другом. У бывшей моей тётки пунктик на том, чтоб нас помирить. Безнадёжная затея. Я слишком сильно, наверное, себя люблю. Субъективности во мне немерено, потому и не уживаюсь ни с кем. Жена даже грозилась как-то дочку в Америку отвезти, чтоб мы с ней меньше общались. Ох и ревнивая же женщина, огонь, ей-богу, какой-то. Честно сказать, хорошая жена была, но дурная. Все хорошие жены какие-то дурные. «Тихоня, – сказала мне в прошлом году, – Верка скоро замуж соберётся, а ты все занимаешься чёрт знает чем». А ведь и правда, соберётся. Борька у неё какой-то, друг. Найдёт себе бестолкового лоботряса, и ничего поделывать будет нельзя. Молодость дурна, бес в молодости живет. Подвернется фотогеничный тип с крепкими мускулами, с копной волос на голове, разговорчивый и нахрапистый. Как такого не полюбить? Полюбит, обязательно полюбит. А он к тридцати годкам обращаться начнет. Глядишь, и тело дряхлеет, и голова лысеет, и мозгов поубавилось, безжизненность настагает, депрессия, меланхолия, болезни... Молодой, всё еще должно быть впереди, а оно всё уже позади.

Нет, надо подыскать ей другую кандидатуру. Мужчина должен все время расти. Он должен медленно-медленно становиться мужчиной. Постепенно, из лысого – в волосатого, из толстого – в стройного, из глупого – в умного, из бездушного – в душевного. Такой будет действительно мужем в долгосрочной перспективе. Кому нужен, спрашивается, муж-спринтер? Лучше стайер, он вынослив и покладист. Домашний опять же. Стайеры все домашние.

Надо же, я так сильно противился военной службе, насилию от неё отделался, и вот опять столкнулся с ее образом в своей дочке, да и в обществе в целом. «Марш, марш, левой!» и что-то там про шар цвета хаки. Вечные повторения: человек в эпохе, что белка в колесе. Белке невдомек, что ежели бы она перестала бежать, то и барабан бы не крутился. Человеку это понятно, но все одно – бежит. Как в «Джентльменах удачи»:

– А ты зачем побежал?

– Все бежали, и я побежал.

Поколение «next-military» обыкновенно сопровождается появлением прапорщиков в юбках – пьяных, скандальных и горлающих о скором величайшем будущем державы. Для этого нужно только презреть себя – и вперед, за птицей счастья завтрашнего дня, коя имеет способность оборачиваться в фигу нынешнего дня. Настоящий день, между прочим, для любого субъекта – это каждый день его жизни из всех тех дней, что он прожил и еще проживет. Понять это трудно, но попытку сделать нужно.

Кто меня втянул в армию, ума не приложу. И все шесть лет через «не хочу» и «противно». За неподчинение приказу командира (даже не помню, кого конкретно: там их столько, что проще запомнить систему умножения семизначных чисел) я уже на третий месяц службы оказался на губе.

Помню, осень была, поздняя. Дождь лил как из ведра. Губу охраняла артучебка: такие же, как я, молодые солдаты. Разводящий сержант, толстый, в наглаженных сапогах, с расстегнутым воротничком и сигаретой в зубах, стоял и ухмылялся, глядя на меня, пока оперативный дежурный по гарнизону оформлял меня на казенное довольствие. Потом повели к коменданту гарнизона. Седой подполковник, ужасно не любивший курсантов (поговаривали, что за его вредную натуру его дочь поймали на улице и подстригли наголо, и сделали это какие-то кадеты, из-за которых он теперь и ненавидит всех подряд курсантов: может быть, так оно и было, потому что трудно объяснить животную ненависть к людям), развалился в кресле, хищно буравя меня своим взором.

– Курсант Диверзин, значит, не успев прослужить и трех месяцев, грубит, чуть ли не дерется со старшим по званию, оскорбляет его. Так?

– Да никого я не оскорблял и ни с кем ни собирался драться. Наговорили с три короба.

– Ну-ну. Мы тебя здесь научим правилам хорошего поведения в армии. Сержант! – Забежал в кабинет толстяк. – На плац его. Ведро, совковую лопату – и на борьбу с лужами.

– Вперед! – скомандовал толстый.

Иду по двору комендатуры и думаю: какие лужи, какая борьба – ливень на улице, весь двор комендатуры – сплошная лужа. Толстый показывает мне на лопату и ведро. Огромная совковая лопата и ржавое дырявое ведро. С недоумением смотрю на него, а он ржет как конь, и два молодых солдата, часовые, ему вторят.

– Хватай, гнида, – говорит толстый мне, – и на улицу. Работаешь до 20.30, потом ужин, и снова до определения заключенных в камеры, до 22.00.

Стою под дождем, смотрю на лопату и ведро. Чуть поодаль от меня – накрытый плащ-палаткой часовой. Около четырех вечера. Дикость какая-то, думаю. Может, просто пошутили или перепутали чего. Это же гарнизонная гауптвахта, а не концлагерь. Толстый, судя по всему, заметил из караульного помещения, что я бездействую, выскочил:

– Что стоишь, скотина, работай! А не то хуже будет, урод.

Выходит комендант.

– В чем дело? – спрашивает у толстого.

– Не работает, товарищ подполковник.

– Почему не исполняете приказание?

– Глупая работа, – говорю, – лужи дождевые черпать дырявым ведром.

– А ты шапкой черпай.

– Как – шапкой? – Я действительно не понял.

– А вот так. – Комендант снял с моей головы шапку и бросил её в лужу. – Теперь бери и выжимай за воротами, в яму, пока весь двор не осушишь. Ну!

Я не знаю, что на меня нашло, но я сорвал с его головы фуражку и бросил её туда же, где плавала моя шапка. На меня сразу же, как собаки, сорвавшиеся с цепей, накинулись часовые вместе с толстым сержантом. Заволокли в одиночную камеру, избili прикладами автоматов и ногами, там и оставили. Холодно, сыро, темно, полнейший мрак. Очнулся от сильнейшего озноба. Открылась дверь. Стоят на пороге камеры начальник караула, толстый сержант и часовой.

– Работать идешь или нет? – спрашивает начальник караула, молодой старлей.

Молчу. Кроме ненависти ничего нет.

– Понятно. Влейте ему хлорочки, и сегодня ужина не давать.

Привели арестанта, солдата, тот выплеснул из ведра в камеру воду с хлоркой. Не помню, сколько прошло времени, но дышать стало нечем. Из глаз потекло. Пытался задерживать дыхание, но как только воздуха в легких становилось мало, я инстинктивно заглывал его еще больше. Более удобно было сидеть на корточках. Так пары хлора меньше ощущались. Посреди камеры имелась бетонная тумба, на которой по идее арестованный должен был сидеть. Снял куртку, положить её на тумбу, сел на мокрый пол и уткнул лицо в колючую мешковину. Дышать стало легче. Однако я стал мерзнуть. Странное ощущение, между прочим, испытываешь, когда чувствуешь одновременно и жар, и холод, и сырость. Тело стало вздрагивать волнами. Посреди мелкого озноба и дрожания мышц – вдруг пара резких толчков. Вместе с тошнотой подступала слабость. Кружилась голова. «Черт возьми, – вдруг прореза-



лась мысль, – так можно и помереть. В этом склепе и найдут моё замерзшее тело. Выдадут его матери, скажут, что проглядели. Сержанта посадят в тюрьму, но мне уже будет все равно». Страх пробежал внутри меня. Я было вскочил, чтоб забарабанивать в дверь, позвать толстого и сказать ему, что согласен черпать лужи хоть шапкой, – но не смог. Не смог переселить себя. Почему-то стало смешно. Так вот загнуться, так прожить свою жизнь, как прожил её я – это смешно. Я смеялся и плакал до тех пор, пока не потерял сознание. Меня всего накрыло что-то тяжелое и вполне осязаемое, материальное, какое-то сладостное, в котором кругом идет голова. Я ничего не видел. Меня закрутило в какой-то воронке, и мне стало действительно «все равно». Я исчез из самого себя. Помню только образы. Галлюцинации тепла и света, чего-то уютного, как будто я, закутанный в теплый халат, сижу за накрытым всякими яствами столом, вполне сытый и довольный жизнью...

Отрезвили меня свежий воздух и голос Кости Жука.

– Тихоня, мать твою, очнись... слышишь меня?

Я вытаращил на него глаза. Откуда он появился и где я вообще, трудно было понять.

– Фу ты, ё-моё, нормально с ним всё. В обмороке был.

А случилось то, что караульных солдат на губе в тот день меняли курсанты, и по счастливому стечению обстоятельств это был первый взвод моей роты. Открыв камеру, увидели меня, мирно спящего на полу. Жук (сержант, заместитель взводного) выволок меня в караулку. Начался кипеш. Крайним оказался толстый сержант, которого и арестовали на пять суток. Тут же его разоружили и определили в сержантскую камеру. Взводный требовал от меня, чтоб я написал заявление о случившемся, но писать мне ничего не хотелось. И меня отконвоировали в общую камеру.

– Тихоня, – говорил мне шепотом Жук, – сегодня ночью толстого под пресс пустим. Я тебя разбужу.

Ночью втроем мы скрутили сержанта. Стянули с него галифе, под которыми еще оказалось теплое нательное белье с рюшками бабушкиной вязки.

– Гляди-ка, утеплился, а? – ворчал Костя. – Как будто в Сибири командует парадом. Сейчас покажем ему культуру общевоинских сношений.

И бляхой солдатского ремня сделали из его белой и пышной филейной части плотно красного цвета. Ух, и отвел же я тогда душу. В казачьих традициях...

Стук в дверь. Не сразу понял, что действительно стучат. Звонок не работает. Смотрю в глазок: молодые парень и девушка. Открываю. Обращенных сразу видно: одеваются неэстетично, никакого вкуса, лишь бы что-то напялить на себя.

– Здравствуйте, – говорит девушка, смотря на меня как-то странно: может, я выгляжу, по их понятиям, неправильно? – Мы от Бога...

– Он мне пожелал что-то передать?

– Да нет... – сконфузилась. – Мы просто приглашаем вас на проповедь... – Дает мне красочную листовку.

– На каком языке будет проповедь?

– На русском. – С удивлением.

Рассматриваю листовку.

«Мы приглашаем Вас ВСПОМНИТЬ О САМОМ ВЕЛИКОМ ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ КОГДА-ЛИБО ЖИЛ.

Кто этот человек?

Почему для нас важно помнить о нем?»

Дальше разъясняется, что ко мне пожаловали свидетели Иеговы, которые при-

глашают меня присоединиться к ним. Адресок в конце листовки интересный, я поэтому и спросил свидетельницу, на каком языке рассказывать-то будут. «Printed in Germany» и еще ссылка на Пенсильванию.

Всё одно к одному. «Бог даст», следовательно, кто даст, тот и Бог. Немцы, американцы дают – значит, Боги.

Человек просто не может не обращаться, а русские и тем паче.

Вот, воспоминания мои прервали...

«Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!»

Ночью

00 ч. 30 мин.

Звоню Людмиле Петровне.

– Алло... а! что?.. кто это?..

– Да я это, Тихон. – Вот же люди – всего боятся.

– Кто?

– Тихон, Людмила Петровна.

– А, Тихон... Понятно.

– Не навещали вас свидетели Иеговы?

– Сейчас? – Чуть не крича в удивлении.

– Не сейчас, где-то с час назад.

– Никого не было.

– Ко мне приходили, листовку оставили.

– Час назад приходили?

– Ну да. – Какая-то странная она.

– Тихон, ты знаешь, сколько сейчас времени?

– Часов восемь, наверное, или половина девятого...

– Боже тебя храни, Тихоня. Половина первого ночи на дворе.

– Ух ты, ёлки-палки, так я вас разбудил. Как нехорошо получилось...

Надо же, действительно половина первого. Человека поднял среди ночи.

Куда делось время с момента прихода этих самых свидетелей? Испарилось. Что делал, когда делал, зачем делал – неизвестно. Так и жизнь – промчится, и не заметишь.

Не спится. Вышел на улицу. Благодать. Тишина, и никого нет.

Устав бродить, на площади возле стелы павшим в Великую Отечественную сел на лавочку. Вернее, лег. Снял куртку, подложил под голову. Курю и гляжу в звездное небо. Вокруг Луны россыпью висят звезды. Можно подумать, что они на верёвочках болтаются. В Космосе, во Вселенной, во всех метагалактиках и вообще во всей бесконечности нет поверхности, к которой можно было бы привязать звезды и планеты. Следовательно, и падать некуда. Человек и вещи на Земле не могут упасть в Космос, так как там нет дна, которое нужно для того, чтобы констатировать падение. Бросаю окурок, он некоторое время летит горячей точкой и падает на землю. Именно на землю.

Ночью меняется восприятие вещей. Вон супермаркет, он не такой, какой был днём: сейчас он мрачный, пустой, какой-то осунувшийся и печальный. Даже яркая вывеска на козырьке крыши не разукрашивает его. Каменные изображения на стене, застывшие и холодные, сейчас еще более трагичны. Елки в парке с опущенными вниз колючими лапами, если не двигают ими под действием ветра, похожи на безвольного человека. Березы, когда не шелестят листьями, похожи на разряжен-

ных танцоров, которые замерли на сцене в ожидании музыки. Ветер – это музыка природы.

Как вымерло всё вокруг. Очень хорошо, что люди иногда должны спать, и хорошо, что они спят в одно и то же время. Когда утром они выскочат из своих малогабаритных или крупногабаритных квартир или вообще из огромных особняков на улицу, то наполнят все вокруг своим присутствием. Они будут толкаться, пихаться, топтать газоны, прокладывать новые тропинки между домами, мчаться на работу, оскалившись и ненавидя всех, кто попадает на пути; они уничтожат ночную тишину треском пилорам, грохотом отбойных молотков, сигналами автомобилей; они будут гибнуть в авариях, бросать на произвол судьбы своих родных, лебезить перед своим начальством. Они наполнят собою этот мир, и он станет маленьким и совсем неприспособленным для жизни, так как сделается полным до краев.

Эти людишки будут искать себе жертв, к которым можно прицепиться, как пиявки присасываются к рыбе, и за чей счет можно пожить. Всё у этих человеческих паразитов зиждется на несчастье другого, на созерцании несчастья, основанием которого служит творимое друг другу зло. Жалкая, жалкая организация. Пошлое прозябание. Внутри мира нельзя быть. Я боюсь, что скоро наступит утро и люди вырвутся на свободу. Почему Морфей не сделает так, чтоб человек спал очень долго и поменьше бодрствовал?..

Космическая Майя была похожа на лунную ночь. В ней так странно совмещались холод и огонь, что мне иногда было страшно. Хрупкая, худенькая, с бледной кожей, малоразговорчивая, вся какая-то правильная, она выглядела нездоровой. По-моему, у неё действительно было не в порядке с сердцем. И вот в этом больном сосуде бурлила яростная сексуальная страсть. Она меня насилвала. А я боялся, потому что она в моменты оргазма теряла сознание, замертво валилась на постель – ужасное зрелище. Приходилось приводить её в чувство – брызгать в лицо холодной водой, отвешивать пощечины, трясти как куклу...

В такие минуты Майя напоминала мне раскаленную добела кочергу. С виду белая, а притронься – обожжешься.

Сошлись мы с ней в конторе, где я тогда работал. Она пришла после окончания колледжа. Наш шеф наказал мне практиковать нового сотрудника.

На праздновании чьего-то дня рождения, которое происходило в офисе, я совершил несвойственный мне поступок. Все вышли курить. В зале остались только я и Майя. Она стояла возле стола, а я находился позади неё. Что-то дернуло меня подойти к ней, обнять её и поцеловать в шею. Она сразу же задрожала в моих руках и сладко вздохнула...

Зашли коллеги. Финансовый директор, Татьяна Семеновна, у которой я числился заместителем, сразу же заметила, что здесь происходило. Обиделась, губы надула.

– Ох, Тихон, Тихон. Решил испортить хорошенькую девочку?

– С чего вы взяли?

– Вижу.

– Так заметно?

– Представь себе, заметно.

– Жизнь личную буду налаживать.

– Тихон, тебе не дочка нужна, а мама.

– Вы, Татьяна Семеновна, как всегда правы.

В кафе «Московское», недалеко от площади Революции (её еще называют Круг), в маленьком зале на втором этаже жду Майю. Розы спрятал под стол. У неё день рождения. Замечаю сверху, как она заходит.

Майя садится напротив меня, с таким милым и светлым лицом.

– Знаешь, – говорит, – мне нужно тебе кое-что сказать.

– Говори.

– Мы не будем с тобой заниматься сексом до 15 ноября.

Да, она могла сказать что-нибудь в таком роде с абсолютно серьёзным видом.

– Почему до 15, а не до первого?

– Потому что 15 ноября я развожусь с мужем в суде. Когда разведусь, тогда и будем заниматься этим.

– Ну хорошо, до 15 ноября потерплю.

– Красивый букет. – Поглаживая нежно-розовые цветы с капельками воды, печально. – Такие розы к скорой разлуке...

– Ничего подобного. Я знаю одного товарища, который своей жене вот уже десять лет дарит розы, и никакой разлуки не предвидится.

– Он дарит ей просто цветы и всё. Просто цветы, которые называются розами. А этот букет прекрасен. Я его сразу же полюбила... Он слишком красив, чтоб служить долго. Розы вообще цветы печали. Они так прекрасны, что скорое их увядание всегда печально и скорбно. Ромашки могут стоять в стакане сколько угодно, и их не жаль. Розы холодные цветы. Мне они нравятся именно поэтому, и именно такого нежно-розового цвета, цвета женской слабости. А в этом букете она чувствует особенно сильно. Я, когда держу руку над этими цветами, даже ощущаю их прохладу... Как мило.

– Космическая ты девушка, Майя, ночная какая-то.

Да, ночная. Но мой дух тогда был возбужден жизнью и страстью. После 15 ноября некоторое время мы насиловали друг друга. Я почему-то был зол на неё, а она постоянно требовала секса. Секса и секса. Наконец я выдохся. В это же время познакомился со студенткой 3-го курса факультета рекламы Ростовского госуниверситета. Совершеннейшая противоположность Майе. Меня не по моей воле отфутболило к Ольге. Я обращался как внутри хрустального шара к ним обеим, будучи рядом то с одной, то с другой. Ольга была крепко сбитой кубанской казачкой с раскосыми и бесстыжими глазами. Третий размер её груди свел меня с ума. Если Майя завоевывала меня для секса, то Ольга постоянно его избегала. Мне пришлось приручать её к себе, потому что я был первым её мужчиной. Она боялась голого мужчины, как антилопа боится львов. Мало-помалу мне удалось настроить её на мою волну. Для этого нужно было иметь терпение, которого у меня к тому моменту уже не было. Как-то само собой я пристрастился к героину. Оле со мной нравилось все больше и больше. Она радовалась и удивлялась моему состоянию. Чувствовалось, что в ней действует воля, которая противится мне: это меня и распяляло. Майя же, напротив, шла в руки сама, отдавалась и этим пыталась как бы владеть мною. Может, я и фантазирую, но я противился этому всем своим существом. Не люблю давления извне и не люблю, когда меня любят не так, как мне нужно. А как мне нужно – я не знаю.

Майя меня за это и проклинала. Я стал её навещать все реже и реже. Она плакала, а я на неё злился. Не люблю рыдающих женщин; плачущих детей и стариков мне жалко, внутри меня всего переворачивает, а рыдающие взрослые, хоть женщины, хоть мужчины, противны. Жизнь требует борьбы за свою участь, а не рыданий. Общество требует жертв и битв, войн и конфликтов, силы, наконец. Часто, бывало, я просыпался оттого, что мне приснился очередной кошмар. Возле себя я видел плачущую Майю. Меня тошнило и рвало. Приходилось все больше и больше засыпать в нос порошка. Я уходил в туалет и таким образом приводил себя в порядок, а затем набрасывался на её тело. Бедная Майя, она все спрашивала, что со мной происхо-

дит, не понимая причин моих резко меняющихся состояний. В одно и то же время я любил её и ненавидел, винил во всех своих бедах. На тот момент дела мои шли из рук вон плохо. Грань, которая отделяла меня от бездны падения, уже стояла перед глазами. Все чаще мне виделось, как я падаю вниз головой в эту черную и пустую дыру, но такие мысли посещали меня ровно на мгновения, отделяющие трезвое состояние от пьяного. Безвольный, я с каким-то остервенением прожигал свои последние деньги: расходы мои резко превысили доходы.

И всё-таки я оттолкнул Майю от себя. Она приехала в контору. С синяками под глазами от недосыпания, бледная и печальная, она потребовала объяснений. Я сказал ей, что приеду к ней и все объясню. Потом как-то всё закрутилось. Меня разрывало на части: с одной стороны, Майя, которая уже угрожала мне чуть ли не самоубийством; с другой – Ольга, к которой меня тянуло самого и которая ужасно привязалась ко мне, как собачка к своему хозяину; с третьей – Татьяна Семеновна, все более желающая внимания к себе. Не считая четвертой стороны, работы.

Нужно было что-то делать. Я собрал все деньги, которые были разбросаны в разных местах, покидал вещи в спортивную сумку и уехал в Благовещенск, в гости к своему армейскому другу Косте Жуку, ничего никому не сказав.

Жуку я очень благодарен. Черт его знает, что бы случилось со мной, если бы не он. Этот тип с завидным постоянством появляется на моем горизонте, особенно тогда, когда мне совсем дурно.

– Тихоня, – сказал он, увидев меня и сразу же поняв, в чем, собственно, дело, – если ты тот Тихоня, которого я помню и знаю, ты вынесешь все это.

Два месяца меня лихорадило. Два месяца каждое утро мы бегали по пять километров, ездили на велосипедах, в спортивном зале он доводил меня боксом до изнеможения. К вечеру мы вваливались в его квартиру и падали без сил. Но несмотря на усталость я не мог заснуть. Всё это время я спал от силы пару часов в сутки. Слабость, боль в суставах, лихорадка, отсутствие аппетита, дурные мысли в голове, галлюцинации и внутренняя тряска органов были постоянными моими спутниками. К концу второго месяца почувствовал перелом к лучшему. А в один прекрасный день проспал шестнадцать часов кряду, проснувшись от чувства голода и с приятными ощущениями. Даже покалывание мышц от нагрузок было приятным.

– Ну слава Богу, теперь ты как огурчик, сразу видно...

Слышатся шаги и голоса. К моей лавочке приближается подвыпившая компания. Смутно уже различаю их силуэты. Несколько женских голосов и несколько мужских. Уже близко. Сомнений нет, направляются в мою сторону. Меня они не видят. Уже рядом. Я встаю с лавочки.

– Аaaa!.. Мамочка, что это? – верещит женский голос.

Я ухожу через кусты. Слышу сзади:

– Боже, я чуть не описалась от страха, что это было?

– Бомж, наверное...

Иду по поселку, никого. Только каменный Ленин на площади Энергетиков стоит с вытянутой рукою.

Все три мои знакомые дамы (плюс еще жена) точно мне всё напророчили. Татьяна Семеновна – в том смысле, что я теперь живу с матерью, а дочь моя в Москве: вроде как и не нужна... Хотя она мне нужна самим только фактом её существования, и я ей нужен таким же образом. Мы прекрасно ладим друг с другом; правда, жена этому совсем не рада: ей нужны деньги, которых у меня нет. Майя предсказала нашу разлуку. Оля говорила, что от меня за версту воняет бабами, поэтому в мужья я ей не го-жусь. И жена говорила, что толку от меня в семейных делах никакого. Очень жаль.

Судьба? Закономерность природы? Естественный закон?

Вздор. Все в жизни происходит случайно. Только глупец может думать, что прошлые события жизни как-то влияют на настоящее положение или что одно вытекает из другого. Это все равно что сказать: не будь всех этих событий – не было бы мне сейчас 35 лет. И меня бы, вообще, не было... Никакой взаимосвязи, никакой. Неужели, например, на лавочку, где я спокойно себе лежал и никого не трогал, эта компания набрела согласно какой-то закономерности? Какой? Нельзя думать, что все события как-то взаимосвязаны, это иллюзия. Мою жизнь составляют случайные события. Все происходит вдруг, внезапно. Единственно, что ответные действия мои на эти внезапности происходили в согласии с моею волей. Или, если кто-то говорит, что все эти события, которые произошли со мной, должны были произойти именно со мной, а не с кем-то другим, то он забывает, что «Я» уже есть. И без меня это уже, естественно, другие события. Изыми меня из моей жизни, и нет событий. Но изъять меня из моей жизни невозможно, следовательно, и другие события невозможны без меня, поэтому и кажется, что все не случайно, а закономерно.

Приятно, конечно, сознавать себя делателем своих собственных ситуаций и руководителем своих собственных событий. Кто же не хочет быть творцом самого себя? Передо мною встают ситуации, и в один миг я должен принять решение, как на них реагировать. Я реагирую очень просто – не обременяю своим присутствием других. Я понимаю, что именно в этой ситуации, именно с этим человеком, именно в этих условиях я лишний, посторонний, который приносит несчастье и себе, и другим. Мне хочется освободить других от меня и меня от них. Постоянный путь освобождений, убегания от ситуаций, на котором я утыкаюсь в другие ситуации и вновь убегаю – вот что такое моё бытие. Груз, состоящий из событий и людей, давит, его хочется сбросить с себя и пойти дальше. Люди сами вплетают себя в эти ситуации. Протащив их с десятков метров, уже привыкают к тяжести и тащат дальше. Нам трудно заметить, что мы, как говорил классик, «лишние на этом празднике жизни».

Я плохо чувствовал желания других людей: они всегда мне представлялись какими-то несовершенными. Сейчас и вовсе путаюсь, потому что сам «ничего не хочу» и живу с острейшим чувством непостоянства. Все случайное – непостоянно. Сомнение в стабильности – это еще одно следствие случайности. В самом деле, империи возникают и рушатся, идеологии появляются и исчезают, как тополиный пух, сдуваемый ветром с кучи мусора, писатели и философы изрекают правды и навлекают на себя гнев толпы, союзы, объединения, общества образуются и разрушаются со страшной стремительностью, мода меняется чуть ли не каждый час! От этого всего голова идет кругом, тем более когда нужно каким-то образом погрузиться в эту катавасию и еще остаться целым и невредимым. Ума не приложу, кому может видаться этот мир закономерным?

Светает...

На проспект вышли дворники. В районе магазина «Восход» они занялись своим привычным делом.

– Ах ты псина... Ну, пошла вон отсюда! – закричала женщина в оранжевом жилете на собаку и бросила в неё метлу. Собака запищала.

– Ты что делаешь, дура! – заступилась за собаку другая в таком же оранжевом жилете.

– Сама дура! Не видишь, нагадила паскуда прямо среди дороги. Выметай теперь за ней.

– Так это же собака. Она понимает разве?

– Иди и убирай сама. Заступница еще нашлась.

Женщина снова попыталась ударить собаку.

– Уйди с дороги, Мария, а то пришибу и тебя вместе с собакой.

– Я те пришибу!

Они стали одна против другой с поднятыми метлами в руках, как будто и в самом деле собирались сразиться. Собака тем временем потрусилась за магазин, постоянно оглядываясь.

Понедельник

Поздним утром за просмотром статей, посвященных Ермаку Тимофеевичу.

Эта историческая личность во мне всегда вызывала интерес. В Новочеркасске соборная площадь называется площадью Ермака, потому что на ней помимо собора стоит огромный высоченный памятник Ермаку. Еще имеется на ней памятник атаману Платову. Но Ермак мне по душе более, чем Платов. В Ермаке есть подвиг. С ним связано представление о подвиге человека, ищущего свободу. «Куда нам бежать? – говорил он на казачьем кругу перед боем с татарами в Сибири. – Уже осень; реки начинают замерзать. Не положим на себя худой славы. Вспомним обещание, что мы дали честным людям перед Богом. Если мы воротимся, то срам нам будет и преступление слова своего; а если Всемогущий Бог нам поможет, то не оскудеет память наша в этих странах и слава наша вечна будет».

Он шел в свободные места. Это не восстание Степана Разина против власти и государства, а уход от государства в свободу, и это подвиг. Биография Ермака крайне скудная. Данных практически нет. От этого и ореол вокруг его поступка. Атаман весь впереди, весь в пустоте Сибири, в безлюдных местах, весь в устремленности в ничто, в нечто неизведанное, холодное, таёжное и глухое. Грандиозных размеров личность, как и памятник. Говорят, что немцы пытались опрокинуть этого монстра, но только смогли сорвать с его руки шапку Мономаха. Он непобедим. Курсанты военного училища после выпускного имели обыкновение ночью натирать ему сапоги ваксой и стрелять холостыми самодельными взрывпакетами из царь-пушки, которая стоит возле Музея донского казачества. Не знаю, сохранился этот обычай или нет.

Ермак, как мне кажется, страстно себя любил. Без этого врожденного самолюбия невозможны ни гордость собою, ни благородство, ни рыцарство, ни нравственность. «...То срам нам будет и преступление слова своего» – без себялюбия такого не скажешь и соответственно этим словам не поступишь. Сама любовь к самому себе уже поступок, вольный и свободный.

В автобусе № 11.

Символично то, что исторически казачество формировалось как общность людей, любящих свободу и волю. Из-за этой их врожденной особенности они не могли существовать в среде государственной и общественной. Поэтому и устремлялись на вольные просторы. Нынче нет таких просторов, все занято людьми. А невозможность сосуществования с ними уже расценивается как шизофрения – нарушение способности человека приспособливаться к среде обитания и неадекватное восприятие действительности. Бывает, интересно, нравственно чистая шизофрения? Думаю, что она такая и есть.

Возле памятника Ермаку.

В соборе ставят свечки и святят воду, пасхи и куличи; атаману Платову молодыжены возлагают цветы. Ермаку же цветов не возлагают, только фотографируются возле него. Никому и в голову, наверное, не приходит, что он погиб. Он превратился в вечно живой миф. Цветы, венки и гирлянды положены тем, кого считают умершим, мертвым. Ермака таким не считают.

Огромен его масштаб – широчайший, неохватный. Его погубила куча маленьких человечков. Они набросились на него, как пираньи на большую рыбу. Умопомешательство Джонатана Свифта сводилось к представлению о том, как лилипуты повязывают веревками огромного спящего Гулливера. Так мелкие людишки обыкновенно поступают с грандиозными личностями. Индивидуальность против толпы – вечное противостояние бытия, причина войн и конфликтов, смертей и трагедий. Индивидуальность в этой борьбе побеждает тогда, когда она хорошо вооружена, а толпа выигрывает, когда в ней особенно развиты хитрость и коварство: качества, отличающие ничтожную личность от великой.

В «Доме книги», не доходя квартала до Азовского рынка, рассматриваю книгу В.В. Розанова. Продавщица пристально за мной наблюдает. Смотрю на неё, она смотрит в другую сторону, делая вид, что ничего странного не происходит. Смотрю в книгу, она снова смотрит на меня. Неужели книги воруют? Другой причины всматриваться в посетителя вроде бы и придумать нельзя. Покупаю книгу. Всё одно – смотрит.

Раскрываю на автобусной остановке «Опавшие листья». Зачитываюсь каждой строчкой. Стало плохо видно. Темнеет. А я и не заметил. Наверное, и автобусы свои пропускал.

Читаю дальше уже в автобусе.

Суть вопроса в делах человеческих, в образе жизни. Сами по себе дела необходимы, чтоб мыслить. Человек в моменты деланья мыслит о чем-нибудь, не связанном с делом, которым он занимается. За матерью заметил: когда она о смертях заводит разговор, то после обязательно хватается за веник и начинает мести. «Вот мне на днях рассказывали, как у мужа Светланы Валентиновны случился инсульт. Его держали в больнице, после выписали домой и сказали ей: ждите, скоро помрет». Разволновалась, схватилась за веник...

В.В. Розанов: «Отчего нумизматика пробуждает столько мыслей? Своей бездумностью. И «думки» летят как птицы, когда глаз рассматривает и вообще около монет «копаешься». Душа тогда свободна, высвобождается. «Механизм занятий» (в нумизматике) отстранил душевную боль (всегда), душа отдыхает, не страдает. И, вылетев из-под боли, которая подавляет самую мысль, душа расправляется в крыльях и летит-летит. Вот отчего я люблю нумизматику. И отдаю ей поэтичнеешие ночные часы (за нумизматикой)».

Вот оно – философское описание сознания, обращенного в другую сторону от того, что оно есть, и при этом остающегося самим собой, ни во что не обращаясь. Весь Розанов таков. У него мысли – то за нумизматикой, то за набивкой табака, то за корректурой статьи, то за чаем, то на извозчике. Хотя эпоха нынешняя, напротив, расплодила во множестве «фандоринцев». Недалек час, когда они от обращения своего перейдут к обрезаю.

Однако не любят они себя. Материалисты, одним словом. Для них полюбить самого себя и полюбить свою собственную печень – одно и то же. Поэтому и не понимают, что это за себялюбие такое, в чем его смысл...

Вышел на второй Мелеховской, уже затемно. Остановки сейчас обстроены кирпичом, с обязательным коммерческим магазинчиком. Очень удобно. На второй Мелеховской возле остановки еще сделаны лавочки, на которых люди ждут автобуса и где по вечерам собираются любители выпить пива и чего-нибудь покрепче. Лавочки эти как бы уходят в редкую посадку, отделяющую дорогу от жилых дворов.

Направляюсь по тропинке, идущей через неё, к дому. Чувствую, что-то ухватило меня за левую ногу. Оборачиваюсь и вижу дворнягу. Она стоит и смотрит в мою сторону. Я смотрю на неё. Черт знает что такое.

– Брысь! – почему-то вырвалось у меня.

Собака убежала. С лавочек послышался пьяный смех.

– Собаки чувят, кого кусать, а кого нет, – сказал один голос.

– Точно, пакостный какой-то тип, – сказал другой.

– А ну-ка пошли посмотрим... – сказал третий.

Я быстро, почти бегом устремился к дому. За спиной раздавались свист и хохот.

Дома.

Смотрю на себя в зеркало. Небритый, в поношенной одежде, с непричесанными волосами – леший, одним словом. И почему бы меня не разглядывать продавщице книжного магазина?

Собака за ногу схватила. Хорошо что не прокусила, пришлось бы уколы от бешенства в живот воспринимать. Говорят, мерзкая процедура. Собака и в самом деле словно почувствовала, что я не совсем честен... Вернее, совсем не честен.

Среда

Стук в дверь. На пороге цыганка с мальцом.

– Помогите, чем можете.

– Заходи!

– Куда? – вытаращивает на меня свои черные глаза.

– Сюда, в коридор. И мешок раскрывай.

Зашла, мешок развернула. Я ей туда старых вещей набросал.

– Спасибо! Погадать?

– Так ты же гадость нагадаешь какую-нибудь.

– Правду скажу. Дай левую руку.

Дал ей свою руку. Стоит и долго смотрит.

– Дай правую.

Даю правую. Голову набок склонила, теперь на меня смотрит.

– Под несчастливой ты звездой родился. И судьбу свою поменял. Руки разные у тебя.

– Я же говорил, что ничего хорошего не скажешь.

– Почему? Разве плохо родиться под звездой, хоть и несчастливой? У тебя на левой руке звезда. Вот она. – Показывает. – И линий головы на правой уже две, вместо одной на левой. Два пути у тебя, две судьбы. Первая, ты будешь богат, но слишком поздно; вторая – будешь несчастлив в любви. Удачи тебе!

Ушла. Ничего нового не сказала. Тут проблема извечная: может ли быть счастлив человек богатый и безусловно ли счастье человека бедного? Ни то, ни другое не ведет к счастью. Нет на земле счастья вообще, не приспособлен к нему человек. Я лично не знаю, что такое счастье, поэтому и не хочу его – оно меня пугает. Какой мудрец выдумал это слово?

Вот сейчас я счастлив? Не знаю. Знаю, что другим приношу одни лишь несчастья, особенно женскому полу, поэтому и сам несчастлив. Два человека, наверное, вообще не могут быть счастливы друг с другом в один и тот же момент времени. Счастье одного – это несчастье для другого. Больше того, счастье первого может быть следствием несчастья второго, как несчастье Христа особенная радость для верующих в него.

Иду к экстрасенсу. Товарищ посоветовал хорошего провидца, женщину, у которой когда-то из-за сильного стресса открылся «третий глаз». Посадила на диванчик, велела закрыть глаза и расслабиться. Так и делаю.

– Всё, – говорит, – просмотрела твою ауру. Нормально, за исключением одного – водку тебе пить нельзя, и наркотики употреблять тоже нельзя.

– Почему?

– Потому что мозжечок у тебя раздвоенный.

Дома смотрю в энциклопедии. Мозжечок – это часть ствола головного мозга. Стоит из древнего отдела – червя и филогенетически нового – полушарий, развитых только у млекопитающих. Играет ведущую роль в поддержании равновесия тела и координации движений... При чем здесь физиология, она же эзотерическое раздвоение имела в виду! Всё хочется отрицать и ничему не хочется верить. Раздвоенный я потому, что люблю сам себя, люблю нечто во мне самом, так называемую душу. «Душа, – как говорил один литературный герой, – патока моих кровей».

Забыл купить сигарет. Всю дорогу домой думал зайти в магазин, так и прошел мимо. Нужно идти обратно.

Возле дома строители выкорчевали все бордюры. Будут делать новую отмостку и заливать всё асфальтом. До самой главной дороги расковыряли. А народ старые бордюры себе на дачи да на коттеджи присмотрел. Из соседнего дома один даже в багажник «мерседеса» бордюры стал засовывать. Собралась толпа жителей. Кричат: «Воровство! Держи жуликов!» Прораб подошел, разрешил забирать бордюры. Понеслась душа по кочкам. Пять секунд – и ничего не осталось...

Покупаю сигареты и снова рассматриваю живот кассирши. Тянет меня к нему.

– Тихоня! – Вместе со мной из магазина выходит Ксюша. – Привет, пропащий.

– О! Привет.

– Покурим?

– Покурим.

Сели в парке на лавочку, на которой я недавней ночью лежал.

– Что не заходишь? Поматросил и бросил! Ну, ты и свинья, Тихоня.

– Да пошла ты... – Хотел встать.

– Ну не ругайся, – схватила за руку, – тебе не к лицу. Твоей руганью и комара не испугаешь...

Об этом мне дочка говорила. Я вскипал на неё, а ей один только смех. «Ты такой смешной, – говорила, – когда ругаешься, с ума просто можно сойти».

– ...В тебе мужского ничего нет, как девица ты, ей-богу...

А об этом – Ольга. Допытывалась, есть у меня кроме неё кто-нибудь или нет: «Не ври, Тихоня, ну не ври! От тебя бабами несет на километр вокруг». У неё всё на нюх переводилось. Запахи она любила; что было, то было.

– ...Не то что мой мужичище! Работает на трех работах: станция, шашки и по сельскому хозяйству. Квартира, дети, деньги – это мужик. Ему и рта лучше не открывать: обязательно какую-нибудь чушь сморозит и даже не поймёт, что сказал, кому сказал, почему сказал. Зато домашний и влюбленный. Слушай, Тихоня, что хотела спросить у тебя! По мужской линии он у меня слабоват, думаю настойки ему для си-

лы незаметно вливать в чай. Ты как думаешь: вливать или не вливать?

У неё в голове одно и то же вертится. Одна-единственная проблема.

– Любовника найди.

– Где же я тебе его найду? Здесь днем с огнем никого не сыщешь.

– Не знаю я, где и кого следует искать.

– Вон мой чешет с работы. Ничего вокруг не видит. Свистеть умеешь? Свисти!

Свистнул. Ксюша замахала руками крутящему во все стороны головой мужу.

– Ладно, побежала я. Заходи в гости.

«Какая гадость, какая гадость – эта ваша заливная рыба»...

Стою на своем балконе. Начался дождь. Свежо и хорошо. С балкона открывается вид на бескрайние поля, разделенные лесополосами. На сколько километров они тянутся, трудно сказать. Поля, поля и поля. Яблочные сады, пшеница, озимые, виноградники, маленькие речки, поливные арыки... И даль. Взгляд упирается в то место, где сходится земля с небом. Иногда, я просто смотрю в даль: нравится. Сейчас смотрю и думаю о письме жены, которое получил по электронной почте. Назначила мне встречу. Хочет поговорить. Спрашивает, приеду ли я. Что за вопрос – конечно приеду, хотя она этого и не заслуживает.

Стемнело. Иду выносить мусор. Бросил пакет в мусорный бак. Промахнулся. Раздался стон, и из-под бака кто-то начал выползать, бурча непонятное. Человек.

– Тихон, это я. Не узнаешь?

– Нет. – Действительно не узнаю.

Человек, встав на ноги, в полный рост, не удержался на ногах и схватился за мусорный бак.

– Ну, я это... Сосед твой.

Не узнаю.

– Возьми меня, – протягивает мне свои руки, – забери! Доведи до дома...

Он мне кажется демоном, оборотнем, огромным волком, стоящим на двух задних лапах. Я помотал головой и побежал. А позади раздавалось:

– Тихон... Тихон... иди сюда... иди сюда, Тихон...

Новочеркасск.

Елена Зайцева

Акция

Ручко пишет неряшливо. Вот и в «Обращении» – скажет: «Я не думаю, что именно мне эту тетрадь положили по ошибке, так как в ней много написано интимного и личного», – и не дрогнет. Слова для него – только польза, не любовь, не игра, не священнодействие какое-нибудь. Он пишет (и много), потому что думает (и постоянно). Если бы он мог объясняться как-то по-другому, не словами, он бы так и сделал...

Но, может быть, как раз поэтому повесть и получается: слова чувствуют эту свою «подсобность» – и подсобляют!

Текст красивый – неказисто-прекрасный.

Цельный – вопреки «режиму дневника».

Сильный – за ним пойдёшь, за всеми его разглядываниями кружек, каналов, табличек на домах, больницами-барами-парикмахерскими-супермаркетами, за всем его «личным-интимным». Это не «внутригородское» личное, а НАД: панорамное виденье, выход за пределы наделов... Что такое обращение? Отправляемся по «поместьям», сидим там: поместье бухгалтеров, поместье верующих, женатых, левых, правых... «Родился человеком – обратился в сапожника, академика, пьяницу, космонавта. Но человек – это и человек, и русский, и христианин, и академик, и свободный, и

раб: в одном лице смесь, как говорят испанцы, la mezcla, всего того, чем обладает сознание». Ну, смесь – это ещё в хорошем случае. А то ведь: звезда и смерть главного бухгалтера, – и никакого «микса», никаких тебе... небухгалтерских элементов. Удобно. Если это и не прекрасная жизнь, то определённая, надёжная, прикреплённая... Так критик один договорился до «смысла жизни русского человека наших дней». Такой вот... узкоспециальный смысл жизни. Повесть – широкая, разобращённая.

И она очень вовлекающая, диалогичная.

«Я тут по дороге, пока шёл, наткнулся на раздавленную жабу. Тоже из огромной любви к ней, наверное, ваш Бог сделал так, чтоб её раздавили, именно сегодня, именно здесь и именно таким образом. Нет, я понимаю, когда бы её змея проглотила, – естественный закон природы, а так – к чему это? Лишняя, что ли, жаба эта была, количество жаб, может, таким образом регулируется? Уж вы мне скажите, что жаба здесь ни при чём. А люди? Идёт пенсионер, и ему на голову льдина с крыши падает, и насмерть. Бог, что ли, на крышу забрался и лёд скovyрнул?» Уж я-то вам этого и не скажу (что жабка тут ни при чём). Тут ВСЁ при чём. Как Бога оправдать, давно уже придумали, да что-то плохие при-

парки нашему жабёнку эти «теодицеи». Даже ему плохие... «А люди?» Жили никак и умерли ни за что. Какая там «свобода выбора»... Всё равно что младенцев пустить по крыше поползать, хотите – падайте. Выбор для тех, кто не в состоянии его осуществить... Люди сначала глупы и беспомощны, а потом уже злы, а не наоборот. Глупость и беспомощность – не предметы выбора... Вот рождается нечто, и неизвестно почему в голове у него только узенькая полосочка. Ничего на ней не помещается. И так и будет оно ходить с этой полосочкой туда-сюда, пока не умрёт, что-то делать или не делать, но выбирать-то – нечем и некуда. И винить некого, не полосочку же...

И это ещё хорошо, если просто ходить будет в школу / на работу. А не в атаку...

Я нас не люблю. Не люблю и боюсь. И не странно, что мизантропически-холодное «Обращение» – моё, что я его читаю и перечитываю. Но этот же холод меня и пугает. Есть в нём какая-то опасность, «непереходимость»... «Обращенческий» герой Тихон, Тихоня, который наблюдает за всем, за всеми с любознательностью зоолога – разве он не прав? Да, всё при них, «кроме мозгов», да, «жалкие людишки», «пошлое прозябание», «внутри мира быть нельзя». Но не могу я вот так... наблюдать. Всё время вырывается дурацкое «но это же человек!». Почему дурацкое? Неудобно. Не хочу быть «оголтелой гуманисткой» – но вырывается и всё. Даже то тупо-чудо «с полосочкой» – могу ли я его не любить хотя бы до степени рассматривания? могу ли – хоть откуда-нибудь – вычеркнуть? Ведь это только начни себя вписывать, кого-то вычёркивать: меня сюда – его никуда, мной любоваться – за ним наблюдать, мне жить – а ему?.. А в конце-то концов и мне не жить. Рассмотрит меня в том же супермаркете какой-нибудь мизантроп-с-большим-автоматом: «Ах ты, утка, бюргерша чёртова!

Прощай». За то, что света не видела, одни сникерсы. А я видела. Как раз не сникерсы, а свет... И нельзя на меня из-за этой черты смотреть – «ОНИ!». Так на кого ж тогда можно?

Я нас не люблю, но люблю, очень. У меня приступы брезгливости, непонимания – с приступами любви мешаются. У Тихони – почти ровно. Затяжная брезгливость, застывающая уже, – и маленькие вкрапленница снисходительности (хорошие вы, хорошие – когда спите зубами к стенке)... «В голове шумит, хотя на улице тишина. Обхватил руками голову. Внутри что-то бродит, внешне вновь ощущение облепленности, как после больницы. Я не могу быть вместе с умирающими, не могу. И без них не могу, никак не могу. Лучше с рождающимися или воскресающими, возрождающимися» – это... всё-таки от любви? От любви или только «от ума – значит от дурусти»? всё-таки больно (жаль, неправильно, невозможно), что они умирают? или только неприятно?.. Сартровский Рокантен, которого, конечно, вспоминаешь, пока Тихоня изучает «кружку как кружку», к какому-то мучительному чувству приходит, мучительной нежности к... да ко всему. Тихоня заканчивает путаницей, глюками-полглюками, ничем...

«Человек может только вымирать и делать вещи и объекты вокруг себя пустыми, безжизненными». Не только. Ещё он может заполнить пространство, организовать его. Написать «Обращение», красивое и... опасное. Такая вот антипустотная акция. Получившаяся, удачная. Наверно, не всё «жизнь никак» и «умирание ни за что». ДА НЕ НАВЕРНО, А ТОЧНО.

Владивосток.

Игорь Цуканов

Северные рассказы

КОНЕЦКИЙ

В Игарке писатель Конецкий проводил творческий вечер в клубе моряков. Народу было немного, человек пятнадцать. Но это обстоятельство его нимало не смутило. Он разговаривал с нами негромким голосом, поминутно вытирая платком длинный красный нос. Простудился. Рядом с ним сидел капитан Шкловский и за всё время не вставил, кажется, ни единого слова.

Конецкий говорил о мировой литературе, о том, что существуют только две великие национальные литературы: русская и американская. Немного поговорил об Алексее Толстом, без особого, впрочем, уважения. Вспомнил, как ездил к Шолохову и как был разочарован этой встречей. Шолохов оказался простым крестьянином, и было невероятно трудно, как выразился Конецкий, поверить, что именно он написал «Тихий Дон». Самым трогательным моментом стал, пожалуй, рассказ о том, что К. Симонов своё последнее письмо написал именно ему, Конецкому. Мне, честно говоря, это было не совсем понятно, ведь даже близкими друзьями Конецкого, как мне тогда казалось, были люди не менее яркие и, уж конечно, не менее талантливые, чем Симонов. Наверное, я в этом ничего не понимал.

Вопросов к писателю было немного. Задавал их в основном электрик порта, бывший профессор МГУ, сосланный когда-то в Игарку да так и прикипевший к ней. Его вопросы были хорошие, умные. Он интересовался, какие книги Конецкого выйдут и в каких издательствах, проявляя потрясающую осведомленность.

Когда подошла моя очередь задавать вопрос, я не нашёл ничего умнее чем сказать:

– Первые ваши рассказы, которые я прочёл, особенно юмористические, мне очень не понравились. – Повисла тишина, и я вдруг увидел, как изменилось лицо Конецкого, как на нём явственно проступила обида. Он, похоже, хотел уже оправдывать своё творчество, но тут я успел добавить: – Однако вот недавно жена заставила меня прочесть роман «За доброй надеждой», и я понял, что в нашей литературе появился классик мирового значения.

Лицо Виктора Викторовича изменилось. Он в очередной раз достал носовой платок и, как мне показалось, в этот раз вытер не только нос, но и слезу умиления. А я продолжал:

– Как это у вас получается? Например, пишете об осенней тундре, кажется, о чем тут писать, как будто и сюжета-то особого нет, и героев явный дефицит, а вы находите какие-то особенно мягкие краски, и читается хорошо, словно даже воздух студёный проникает в лёгкие...

Мне, конечно, хотелось узнать побольше о литературной кухне.

– Виктор Викторович, а где вы находите сюжеты?

– Сюжеты летают вокруг нас в огромном количестве, надо только присмотреться. Вот видите, сюжет только что пролетел и вылетел в форточку.

– А как вы пишете, Виктор Викторович?

– Никаких планов я не составляю, никаких мостиков между кусками не делаю. Что мне видится лучше, то я и пишу, а потом просто соединяю эти куски.

У меня в портфеле томились бутылка водки и бутылка коньяку, арбуз и дыня, мне очень хотелось поговорить с Конецким в неформальной обстановке, но строгий капитан Шкловский всячески пресекал мои попытки увести писателя к нам на пароход. Я не знал, с какого боку подступиться.

– Так зайдем на минутку ко мне? – еще раз предложил я в конце вечера. Конецкий оживился. Классик явно тянул канат в мою сторону. Может быть, ему хотелось поговорить о литературе с дилетантом, может быть, просто пообщаться с новыми людьми, может быть, выпить, а может быть, и всё вместе взятое, – так или иначе, он начал тяжёлое бомбардирование позиций Шкловского в пользу посещения нашего судна. Я робко заметил, что наш пароход стоит у причала на пути к стоянке рейдовых катеров, откуда они должны были отправляться на свою «Индиго», стоявшую на бриделе.

– Да ладно, давай зайдем, пусть ребятам запомнится, – говорил Шкловскому Конецкий.

– Нет, нет, хватит, завтра отход.

Народ начал расходиться, встреча закончилась, мы вышли из клуба. Несмотря на десять часов вечера, было абсолютно светло, как днём. Полярное лето. Мы шли с Виктором Викторовичем впереди, а Шкловский – чуть сзади, как ответственный конвоир. Когда мы подошли к нашему трапу, произошла некоторая заминка. Мы с Конецким повернули к трапу и хотели уже ступить на нижнюю площадку, но тут Шкловский крепко уцепился за рукав Виктора Викторовича. Балтийское пароходство знало, кому доверить судьбу великого мариниста.

И всё-таки кое-чего мы добились. Наша борьба не пропала даром.

15.01.07 10:27

От кого: <sayakovlev@yandex.ru>

Кому: Игорь Цуканов
<igor_tsukanov@inbox.ru>

Тема: Рассказы

Уважаемый Игорь Михайлович!
В журнале "Морской флот", где я сотрудничаю, мне попались Ваши рассказы. Они меня заинтересовали, и не только на предмет публикации в этом журнале (к сожалению, возможности "Морского флота" в беллетристике крайне ограничены). Речь идет о Вашей подборке, присланной по электронной почте в декабре. Сообщите, пожалуйста, не публиковались ли эти рассказы ранее и не будете ли Вы возражать, если я предложу их "толстому" (увь, безгонорарному) литературному изданию? Разумеется, в случае успеха Вы будете поставлены в известность о публикации и Вам пришлют бесплатный экземпляр. В "Морском флоте" тоже постараемся что-то дать.

Всего Вам доброго

С. Яковлев, выпускник судоводительского факультета ЛВИМУ (1976 г.).

15.01.07 16:29

От кого: Игорь Цуканов
<igor_tsukanov@inbox.ru>

Кому: sayakovlev@yandex.ru

Тема: Новые рассказы

Уважаемый Сергей Ананьевич!
Новые рассказы ещё нигде не издавались, так что буду только рад Вашей помощи в их публикации. По фамилии я Вас не могу вспомнить, но уверен, что узнал бы при встрече.

В Вашем выпуске у меня было много друзей.

С уважением И. Цуканов.

– Ладно, – вздохнул Шкловский, – выпейте на скамеечке рейдовой стоянки, но понемногу.

Едва мы уселись на скамейке, между мной и капитаном вновь возникла непримиримая борьба. Я вытаскивал из портфеля бутылки, а Шкловский подхватывал их и ставил назад.

Конецкий захохотал.

– Ну что ты как плохая теща, борешься всё не с тем, – сказал он капитану. – Не волнуйся, выпьем по стопочке-другой и разойдемся. Я прав? – Он посмотрел на меня.

«Нет!» – кричала вся моя поэтическая сущность, но я ответил скромным «да», в интонации которого можно было прочесть всё что угодно, только не согласие. Достал дыню, арбуз, виноград – что у меня было. Фрукты не смягчили душу Шкловского, а когда он выпил десять граммов коньяку из граненого стакана, то сморщился так, как будто пьёт в первый раз. Конецкий же сделал это с явным удовольствием. Что уж говорить обо мне. Я готов был сидеть с писателем всю ночь, разговаривать, слушать, восхищаться...

Не тут-то было. Едва причалил первый рейдовый катер, Шкловский как клещами вцепился Виктору Викторовичу в руку и утащил его на палубу. Мир сразу опустел, а мне ничего не оставалось, как только помахать им рукой на прощанье. Конецкий ответил мне грустной улыбкой, а Шкловский – зловещим взглядом.

Я взял портфель и поплелся на пароход. Было светло, но створные огни уже зажигали. Короткое лето подходило к концу. На причале ловили налимов мальчишки. С резкими звонами передвигались портовые краны. Все семь причалов Игарского морского порта были заняты судами. На всех шла погрузка. Горячая пора. Я поднялся по трапу. Ком застрял у меня в горле. Это была не обида – обижаться мне было не на что. Но что же это было? Я разделся, лёг в постель и только тут осознал, что меня расстроило.

Это было даже не расстройство, а страх – страх перед зарождающимся в моей душе поступком, по легкомыслию совершенно не соответствующим ни моей высокой должности старшего помощника капитана, ни звонкому, хотя и пустому званию комсомольца. Я быстро встал с постели и оделся, но на этот раз уже надел не форму, а спортивный костюм, прихватил сумку и вышел на причал. В паре кабельтовых от берега светилась чистыми огнями старенькая «Индига», ничего ещё не подозревающая. Солнце едва зашло за горизонт дикого правого берега, обросшего чахлым низколесьем, – там, в десяти километрах от Игарки, были места, где не ступала ещё нога человека. Все это некстати пришло мне в голову, когда я быстрым ходом преодолевал семь морских причалов и заводь перед стоянкой рейдовых катеров. Ближайший по расписанию был ещё не скоро, так что я настроился на долгое ожидание. Вскоре, однако, подошла бригада грузчиков, и я напросился доехать с ними до «Индиги». Бригада направлялась на другой пароход, но специально для меня катер ткнулся в борт, и я легко взбежал по небольшому парадному трапу. Вахтенного матроса не было на месте. Старый пароход спал, только тихо журчала струя на выходе охлаждающей системы дизель-генератора да светились два иллюминатора на нижней палубе. Тут только я обратил внимание, что судно полностью загружено, палубный груз закреплён, и догадался, что они стоят в ожидании комиссии. Это открытие было не просто неожиданным, но ошеломляющим. Скорее всего, на судне уже провели досмотр силами экипажа. Я попал в ловушку. Я уже представил себе, как на борт приезжают таможня и пограничники, как они перекрывают все пути к отступлению, начинают досмотр и находят меня. Это означало конец карьеры. Если же я

встречу их у трапа, последствия будут почти те же самые. Кроме того, я подведу Шкловского, а с ним и вахтенного штурмана, и 1-го помощника, и старпома, их всех обязательно накажут. Мне уже было не до разговора с Конецким, все мои мысли обратились на то, как попасть на берег. В конце концов, не выдержав испытания страхом, я выпил стакан коньяка, спустился по трапу и, отбросив подальше сумку, прыгнул в холодную воду Енисея...

Надо сказать, что плавал я хорошо, но никогда не преодолевал столь солидную дистанцию в холодной воде. Не буду описывать прелестей этого заплыва, чтобы не вызвать переохлаждения организма у читателя. Единственный раз в жизни я поблагодарил Бога за то, что он подарил мне тридцать килограммов лишнего веса, и посетовал, что не подарил еще двадцать. С трудом выбравшись на берег в заводи перед причалами, я упал на дощатый настил, с удовольствием ощущая, как тепло возвращается в моё тело.

– Вставай, парень, здесь нельзя лежать, простудишься.

Кто-то помог мне подняться, привел в вагончик, где полыхала буржуйка. Я ничего не видел, только чувствовал мощные волны тепла, идущие от печи, и невероятной амплитуды дрожь, сотрясающую всю мою сущность. Наконец меня сморило, а когда я очнулся, одежда была сухой. Сам же я был мокрый. С паразитическим постоянством меня бросало то в пот, то в озноб.

Двое грузчиков отвели меня на судно, а вскоре уже врач Володя с термометром и стетоскопом углубился в изучение моей болезни.

Неделю я полыхал жаром. Находясь в полусознании, с трудом узнавал друзей, которые меня иногда посещали. Что касается доктора Володи, он даже ночевал на диване. Несколько раз в сутки делал мне уколы, пытался протолкнуть в горло ложку бульона. Каждый день меня навещал капитан. По моему, у него уже возникали планы о вызове мне замены. Но вскоре болезнь начала отступать.

Когда я вышел на первую вахту, судно готовилось к отходу. Я ещё чувствовал некоторую слабость, но преодолевать её пришлось в рабочем порядке. В Карском море перед Югорским Шаром мы догнали «Индиго». Она, видимо, с разбега влетела в небольшую полосу прошлогоднего льда, вылезла на приличную льдину и стояла теперь, не в силах сдвинуться, в ожидании помощи. Мы аккуратно околотили её с правого борта и вывели на чистую воду. Шкловский по радиотелефону

16.01.07 10:02

От кого: <sayakovlev@yandex.ru>

Кому:

igor_tsukanov@inbox.ru

Тема: Однокурсники

Уважаемый Игорь Михайлович!

Я учился в группе 17 "А", где были Кременчугский, Кузнецов, Гришкин, Чикиров, Баранов, Лянной, Федоров, Яхимович, Наполов...

Куча разных людей. Окончил с

красным дипломом и остался в

аспирантуре вместе с Сашей Барановым, который затем сменил

своего отца в должности декана

факультета и безвременно скончался. А я резко поменял судьбу.

Если Вы пользуетесь Интернетом, то можете прочесть, напри-

мер, на сайте "Точка. Зрения"

(www.lito.ru) мой документальный

роман из литературной жизни

(он выходил и на бумаге, и там

есть ссылки, но журналы и книги нынче труднодоступны).

Кстати, туда можно было бы

предложить Ваши рассказы.

Так Вы теперь бросили плавать?

И только пишете, или всё-таки

где-то служите?

Сердечно Ваши

С. Яковлев.

И только пишете, или всё-таки

где-то служите?

Сердечно Ваши

С. Яковлев.

16.01.07 12:11

От кого: Игорь Цуканов

<igor_tsukanov@inbox.ru>

Кому: sayakovlev@yandex.ru

Тема: (Без темы)

Уважаемый Сергей Ананьевич!

Здравствуйте. Из названных Вами

ребят я помню только Баранова, а вот дружить и работать

вместе мне пришлось с Дяденко,

Борцовым, Петровым, Боковым,

хорошо знаю я и Кременчугского.

Что касается меня, то начиная с

1989 г. я работал на заводе, в мелком

бизнесе, был директором не-

рассыпался в благодарностях. Я вышел на крыло, и Шкловский увидел меня. Благодарности закончились. Мы дали полный ход, и «Индига» вскоре скрылась за горизонтом вместе с её злобным капитаном и добрейшим Виктором Викторовичем.

Мне очень хотелось рассказать Конецкому о моем приключении, но по радиотелефону о таких вещах говорить не принято. Кто знает, может быть, он написал бы об этом рассказ. Но больше я Виктора Викторовича не встречал, а теперь он и вовсе уже не человек, а пароход. Да такой, который другим писателям и не снился. Рассказ пришлось писать мне. К сожалению, я не Конецкий.

ВАРАНДЕЙ

Варандей – старый ненецкий поселок из нескольких деревянных домов. За последние несколько десятилетий там обосновалась геологическая партия. Геологи жили вначале в вагончиках, потом появились жилища, напоминающие цистерны, геологи стали жить в них, как Диогены в бочках, потом отстроили деревянные двухэтажные дома, магазин, столовую, базу. Портовых сооружений в Варандее, можно сказать, не было, за исключением мелководного маленького деревянного причала, куда на волне прилива могли заходить самоходные мелкосидящие плашкоуты. Море в районе Варандея совершенно открытое, и волнения на рейде нет только тогда, когда ветер дует с суши. Надо сказать, что геологическая партия требует значительно-го снабжения, туда надо завозить все, от буровых труб, техники и цистерн до табуретки. Раньше все завозилось летом, но пароход мог все лето простоять на рейде, не дождавшись погоды. Лет тридцать назад, благодаря главному технологу нашего пароходства Конюхову, грузы начали завозить весной, выгружая их на припайный лед. Это, конечно, удобнее. Хотя опасно.

В ту стоянку, о которой я вознамерился рассказать, произошел несчастный случай: один из тракторов, перетаскивающих грузы от судна на берег, утонул. Правда, обошлось без жертв. Нашелся хладнокровный парень, который чем-то оказавшимся под рукой разбил стекло двери трактора и выволок оцепеневшего тракториста из кабины. Как только ноги тракториста коснулись льда, раздался мощный бульк, и крыша трактора исчезла в темной дымящейся клоаке.

Геологи оказались не готовыми к такому повороту событий, выгрузка остановилась. Начальник партии Шмергельский – как рассказывали, очень талантливый геолог и ученый – оказался совершенно неспособным организатором. Целыми днями геологи заседали у него в кабинете, не принимая никаких решений. Деньки, однако, были уже весенние, температуры стояли плюсовые, и дожидаться у моря погоды не имело смысла. Работа целой партии, а с ней и жизнь всего поселка могла приостановиться на неопределенный срок.

И тут капитан Грищенко принял судьбоносное решение. Он позвонил в редакцию газеты «Советская Россия». Через два дня на судно прибыли корреспондент и второй секретарь обкома. Что тут началось! Секретарь пробыл на судне всего два часа, но после его отъезда выгрузка неслась полным ходом. Груз вывозили на плывучих тягачах и вертолетах, пытались даже приспособить оленю упряжку.

Через неделю мы уже выгрузились и стояли в ожидании ледокола.

Олег Досмухамедов пригласил меня сходить в посёлок, и я с удовольствием согласился. Вышли мы утром, только рассветало. Я шёл, привычно похрустывая туфлями по снегу, а Олег скользил на лыжах. Спортсмен! Когда мы добрались до магазина в Старом Варандее, тот ещё был закрыт. У входа толпилась дюжина местных

жителей, одетых почти одинаково: в телогрейки, ватные стеганные штаны и кирзовые сапоги. Некоторые были в национальных костюмах, однако. Мы приветливо поздоровались, но не встретили душевного отклика. Насторожённые недоверчивые взгляды были нам ответом. Я внимательнее пригляделся к покупателям. Один из них оказался русским, хотя одет был так же просто, а главное, в такое же грязное, что и остальные. Он смотрел на меня с приветливой улыбкой, и я вдруг с ужасом его узнал. Бог ты мой, да ведь это же К., мой однокашник по училищу! Только с арктического факультета. Метеоролог.

– Петя, что ты здесь делаешь, не золото ли приехал копать? – попытался пошутить я, но он только помрачнел.

Я вспомнил, как мы с ним сидели в вестибюле училища, когда были на пятом курсе. Абитуриенты готовились к экзаменам, и чья-то мать подошла к нам посоветоваться, на какой факультет отдавать своё чадо. Я, помнится, был не в духе, поэтому промолчал, а Петя залился соловьём: мол, лучше арктического нет!

– Вы знаете, как манит к себе Арктика? Человек, который хотя бы раз там побывал, уже не уедет оттуда ни в жизнь. А люди какие! А природа! А зарплата!

Услышав про зарплату, мать поблагодарила Петю и пошла разыскивать любимого сына...

– Петя, что с тобой случилось, можешь рассказать?

– Да что рассказывать. После училища решили мы с женой поехать на какую-нибудь отдаленную станцию, чтоб заработать денег на квартиру, а заодно и на машину. Стали на всем экономить, дабы уложиться в пять лет. Вначале всё шло как по маслу. Направили нас сюда. Рыба, мясо, дичь здесь, можно сказать, бесплатные. Одежду выходную покупать не нужно – куда здесь ходить! Почти всю зарплату – на книжку. В отпуск не ездили. Так прошло года три, а потом Ленка что-то затосковала. Летом-то здесь ещё ничего, а зимой? Сидим целыми днями в избе, топим по очереди печку да выбегаем по расписанию снять показания приборов. Тоска. «Отпусти, – говорит, – меня, ради Бога! Я лучше тебя в Ленинграде буду ждать. Нет моих сил терпеть такую жизнь». Я ей: ну что ты, Лена, мы же договаривались... «Нет! Больше не могу!» Да как зарыдает! И так несколько дней, не остановить, уже хотел врача по рации вызвать. А потом замолчала, как будто оцепенела. Я к ней и так и сяк – молчит, на мои вопросы не отвечает. От работы и пищи отказалась. Куда деваться? Отправил я её ближайшим самолетом, и стало мне совсем тоскливо. Поверишь, три года спиртного в рот не брал, а тут запил, да так, что не мог

большой фирмы. С 2003 года – инвалид 2-й группы, живу с матерью, нигде не работаю, страдаю сахарным диабетом в тяжёлой форме. На 15 сентября запланирована операция в Курске, на результаты которой я очень надеюсь. Может быть, смогу ходить. Очень благодарен Вам за братскую помощь. Помимо того, что я отправил в "Морской флот", у меня есть роман и повесть, может быть, очередь дойдет и до них. Роман, правда, рассматривают в журнале "Полдень. XXI век", предложили мне сократить его, чем я сейчас и занимаюсь. Писать я начал три года назад и еще практически не касался огромных пластов моей жизни, так что потенциал еще есть. Честно говоря, в прошлом году я уже собирался бросить это дело, столкнувшись с невероятной дремучестью курской и редкой черствостью орловской писательских организаций, но, как говорится, надежда постепенно возвращается. А Вы – молодец, не прошли мимо своего почти однокашника. Всего Вам хорошего, с уважением И. Цуканов.

29.01.07 14:45

От кого: Игорь Цуканов

<igor_tsukanov@inbox.ru>

Кому:

<sayakovlev@yandex.ru>

Тема: (Без темы)

Сергей Ананьевич!

Прочел Ваш роман и биографию в Интернете. По-моему, Вы всему миру доказали, на что способен простой романтик, выпускник СВФ ЛВИМУ.

На днях видел по телевизору Вашего бывшего оппонента М. Леонтьева. Он осмелился выступить с песней на вечере, посвящённом па-

остановиться. Пил, но работал. Через силу, через зубовой скрежет, а приборы проверял, радиограммы кодировал и отправлял. Полгода почти Господь терпел, а потом наказал. Просыпаюсь по будильнику, а кругом всё полыхает. Едва успел выскочить из избы. Из Нового Варандея огонь заметили, прислали пожарную машину. Затем приехала милиция, а я лыка не вяжу. Прислали комиссию, посчитали убытки, ну и присудили мне их выплачивать, продолжая работу на восстановленной станции. Теперь, чтобы рассчитаться с государством, мне придется здесь работать еще восемь лет. Жена подала на развод. Вот такая романтика получилась.

Пришла продавщица, и народ шустрой змейкой проскользнул в магазин. Стояли тихо, с почтением взирая, как слоноподобная украинка переодевается и готовит прилавок к торговле. Но вот взлетели в немом вопросе мохнатые брови, и редкий по подобию страстию голос невнятно проямлил:

– Водка есть?

– Нет.

– Одеколону есть?

– Нет.

– А что есть?

– Ничего нет.

Местные ушли, я осмотрел прилавок. Несколько видов круп, хлеб, сахар, лавровый лист, соль, мука. Всё.

Петя купил две бутылки водки и ушел, даже не попрощавшись. Нашлась водка и для нас.

– Что же вы местным-то водку не продаете? – задал я вопрос из чистой справедливости.

– Если я им буду продавать водку, то они будут покупать только её. Денег-то у них почти нет, так пусть хоть детям что-нибудь купят, да и поест себе.

Она рассказала, как на неё писали жалобу. Хоть письмо и было анонимное, но местных в нем опознали по фразе: «Особенно плохо продавщица относится к коренным жителям поселка, редко продает им водку и одеколонные напитки».

Мы вышли из магазина. У входа стоял, сворачивая самокрутку, пожилой ненец:

– Продайте бутылку, сильно выпить охота.

– Да мы тебе так отдадим, только покажи, как ты живешь! – Олега снесало этнографическое любопытство.

В прихожей небольшого домика стояла невыносимая вонь. Прямо на земляном полу в беспорядке валялись: ободранная тушка нерпы, горка наваги, грязная одежда, сети, скелет оленя и мешок с мукой. В жилом помещении всё было скромненько и, как говорится, со вкусом. На дощатом полу возле печки – матрасы, небольшой самодельный стол и скамейки того же производства. Запах прихожей переместился сюда. Мы отдали бутылку Никитичу (так представился старый ненец) и вышли во двор немного поболтать.

– Медвежьей шкуры у тебя случайно нет? – неизвестно зачем спросил я.

– Сто ты, сто ты, медведя нельзя стрелять, посадят.

– А разве они здесь есть? – удивился Олег.

– Приходят иногда, однако.

– Куда приходят?

– Сюда, – просто ответил Никитич. – Вот сегодня ночью один приходил. Стоит возле двери и говорит: «У, у!». А я ему: «Посол на х.., посол на х..!» Еле прогнал.

Мы с Олегом переглянулись. Начинал свежеть северо-западный ветер, а как быстро здесь раздувается метель, мы уже знали. попрощались с Никитичем и пошли на судно.

На чуть припорошённом льду возле самого берега я заметил свежие следы медведя. Олег подошел, взглянул на них, как-то отрешённо посмотрел по сторонам и довольно резво заскользил в сторону парохода. Я не мог за ним угнаться. А вскоре и судно, до этого прекрасно видимое с берега, укрылось в пелене метели. Мне стало страшновато. Я побежал, ориентируясь на следы Олеговых лыж. Но вот позёмка начала укладываться в широкие полосы, толщина которых росла на глазах, и я, потеряв следы, сбился с пути. Попытался ориентироваться по ветру, но вскоре понял, что это бесполезно. Ветер лупил то с одной, то с другой стороны. Метель кружила по бухте. Я испугался. Не было сомнения, что я нахожусь где-то недалеко от судна, но шанс заблудиться и уйти не в ту сторону был очень велик.

И тут я наткнулся на большой торос. Откуда он здесь взялся, было непонятно. Может быть, возник, когда ледокол ставил нас к ледовому причалу? Я сел. Поднявшиеся на дыбы льдины укрывали меня с трех сторон. Незаметно для себя, убаюканный завыванием метели, я задремал. Пошли сны, которые приходят к замерзающему человеку: я в одних трусах бродил по холодным коридорам парохода в поисках горячего душа, но не мог найти душевую. Это продолжалось довольно долго. Затем я уже стоял перед краном и пытался отрегулировать температуру потока. Кран скрипел, свистел, рычал, но брызгался холодной водой. Внезапно он так рыкнул, что я проснулся и прислушался. Рык повторился, уже наяву. Шел он с обратной стороны тороса.

Несмотря на некоторое переохлаждение, я рванул вперед быстрее, чем Олег на лыжах. И тут зажгли огни на пароходе, и его образ высветился в двухстах метрах передо мной.

– Только бы не подняли трап, – шептал я как заклинание, как клятву, как молитву. И Бог меня услышал. Трап оказался опущенным. Сзади приближалось чье-то тяжёлое дыхание. Я в два прыжка вскочил по ступенькам и нажал кнопку подъёма трапа.

– А я? – раздался снизу хриплый голос Олега. – Ты что, бросаешь товарища в беде?

На следующее утро пришёл ледокол и, помучившись полдня, вывел нас на чистую воду. Мы развернулись, я дал гудок. Нам ответила тишина, и только через пару минут послышался ужасный рык. Из-за одинокого тороса торчала белая с желтизной голова медведя. Когда он открывал пасть, обнажались влажные клыки размером с пол-литровую бутылку.

– А, пошел ты... – подумал я.

мяти Высоцкого. Кроме того, что он показал себя полной бездарью, что простительно, он оказался к тому же и полным бараном. Не такая уж он личность, чтобы окружающие его люди боялись сказать ему, на каком уровне находятся его музыкальные способности. Если бы он спел Высоцкого где-нибудь в подземном переходе, ему бы просто набили морду. А на ТВ ограничились тем, что издевательски осмеяли.

С моими вещами разрешаю Вам делать всё, что угодно, издавать там, где Вы сочтете нужным. На гонимых не претендую, дай бог, чтобы мои однокашники где-нибудь прочитали, и командиры роты Сердобольский, если жив. Удачи Вам и творческих успехов. За всё спасибо.

И. Цуканов.

30.01.07 09:03

От кого: <sayakovlev@yandex.ru>

Кому:

igor_tsukanov@inbox.ru

Тема: С радостью

Дорогой Игорь Михайлович!

Большое спасибо за письмо. Так Вы были у Сердобольского, старшие на год!.. Только теперь я понял. О Сердобольском у меня сохранились добрые воспоминания.

Спасибо, что прочли меня. Я показывал Ваши рассказы в литературных журналах, они нравятся. Кое-где обещали напечатать. Беда в том, что журналы-то на ладан дышат, и что с ними будет завтра, неизвестно. Буду и дальше с радостью пропагандировать Ваше творчество, авось пробьётся. А Вы держитесь. Творчество и вера в себя поддерживают лучшие любых лекарств. И ещё говорят, что творческий человек, пока не

В.И. ЛЕНИН

Виктор Иванович Ленин работал прорабом на судоремонтном заводе «Красная Кузница» в Архангельске. Поскольку парнем он был веселым и общительным, знали его очень многие. Ну и, конечно, из-за фамилии. По утрам он приходил на наш пароход раньше всех свежевыбритым и хорошо умытым. От него всегда пахло хорошим одеколоном. Он очень редко просил опохмелиться, делал это ближе к обеду, после которого любил немного подремать на мостике.

Однажды Виктор Иванович пригласил меня прийти в ближайший выходной к нему на ужин. Жил он на Малоникольской улице, так что найти его дом не составило особого труда. Немного склонившаяся набок небольшая деревянная хата, маленький огороδικ да огромная поленица дров вдоль сарая составляли всю недвижимость, которой обладал Витя. В качестве движимого имущества были: одноухий кот, что жил в доме, да беспородный кобель на привязи в будке возле сарая.

В субботу я не стал обедать в столовой завода, чтобы не портить себе аппетит, тщательно побрился, почистил ботинки и отправился в гости. Стоял лёгкий морозец, снег поскрипывал под ногами. Я вышел на площадь Терёхина, быстрым шагом пересёк её по диагонали, а от магазина до Витино дома было уже рукой подать. Беззлобно залаял кобель, и хозяин с раскрасневшимся лицом выскочил во двор.

– Заходи, – радушно распахнул он дверь и, обмахнув мои ботинки веником, подтолкнул меня к входу.

Первое, на что я обратил внимание, была волшебная музыка Фаусто Папетти, она сразу успокоила мою мятущуюся душу. Второе – весьма богатый по тем временам стол. Хозяин явно имел выход на дефицит. Третье – необыкновенно красивые дамы, которые сидели за этим столом. Они приветствовали меня таинственными улыбками.

– Лиля, – сказала одна из них.

– Фаина, – сказала вторая.

Я несколько замешкался, растерявшись в окружении таких красавиц. Витя пришёл мне на помощь.

– Иннокентий, – сообщил он присутствующим, а немного погодя прибавил: – Иннокентий Бонч-Бруевич.

– Боже мой, – сразу расстроился я, – ну зачем, ведь моя фамилия другая – Шпиндель, что в ней такого, чтобы стесняться?

Вскоре, правда, выяснилось, что девушки неправильно его поняли и подумали, что фамилия моя Иннокентьев, а Бонч Бруевич – это имя и отчество.

«Да ладно, – подумал я, – пусть зовут как хотят, не детей же мне с ними крестить».

Я успокоился, сел в кресло и приступил к дегустации блюд и напитков. Пробуя деликатесы, я заметил одну небольшую закономерность: когда я ел икру, рыбу, колбасу и мясо, очень приятно было смотреть на Фаю, а когда пил коньяк, ел конфеты и мандарины, то на Лилю. Если лицо Фаи выражало доброжелательность и чуть заметную женскую озабоченность, то лицо Лили было сладким, как зефир с апельсиновым соком. Вместе они смотрелись великолепно. Поскольку пришел я с некоторым опозданием, хотелось их догнать, особенно по напиткам, но они так резво держали ход, что у меня ничего не получалось. Постепенно подошли к брудершафту, девушки уже звали меня без отчества, просто Бонч, и я отзывался на это имя, как собака на кличку.

Суровым стылым вечером устроились мы спать. Я с Лилей лёг на печке, а Ленин – на кровати. Кровать у него была славная, из дуба, не какая-то там ДВП. Широочен

ная, спинки полукруглые, инкрустированные медной полосой. Такую кровать я видел впервые. У девушек вначале произошло даже некоторое замешательство, никто из них не хотел лезть ко мне на печку, обе хотели спать на такой кровати. Я уже намеревался расстроиться, но тут Лиля, смахнув слезу, сказала:

– Ну почему опять я, – и вспрыгнула на печку, как пантера на спину слона.

К середине ночи от сладкой любви моей красавицы я не знал куда деваться.

Со временем она, однако, успокоилась, и оставшуюся часть ночи я провел в блаженнейшем сне. Утром даже не хотелось вставать, но девушки без особой деликатности стянули меня с печки за ноги и усадили за накрытый стол.

Я сидел в трусах, а поскольку пол был холодным, Лиля надела мне валенки и треух на голову от форточного сквозняка. В большой тарелке шипели только что поджаренные бифштексы, картошка в мундирах щекотала ноздри, а огромный кочан квашеной капусты брызгал соком, когда Витя вонзал в него нож.

Опохмелялись сухим вином и вскоре пришли к тому блаженному градусу томления, когда не хочется уже ни есть, ни пить, ни говорить; а хочется только смотреть и смотреть подруге в глаза, испытывая порой желание залиться слезами умиления от того, что она есть на свете, сидит напротив и смотрит на тебя такими же влюбленными глазами.

Напротив меня сидела Фая. А напротив неё сидел, естественно, я, и никто в мире не сумел бы разрушить возникшую между нами гармонию. Лиля же запрыгнула Ленину на колени и самым бессовестным образом целовала его колючую бороду, залитые вином усы и голову, как коленка, голову.

Вскоре Фая взяла меня за руку и повела в постель, а несколько минут спустя на печке заорал благим матом одноухий кот, на которого, как выяснилось, наступила своим массивным задом Лиля. Я целовал Фаины солёные губы, и мне было хорошо. Меня совершенно не интересовала причина их легкой солёности: то ли сказывалось то, что она живёт на морском побережье, то ли то, что за завтраком она особенно налегала на квашеную капусту. Какая разница?

Весь остальной день я провёл в мягком кресле, балуя себя мелкими глоточками хорошего коньяка, пускал тугие колечки дыма сигаретами «Данкилл», в приятной полупрострации слушал завывания огня в мощном зеве русской печки и завывания метели во дворе.

выработается до конца, – не погибает; Вам до этого, мне кажется, далеко.

Сердечно Ваш С. Яковлев.

22.03.07 09:56

От кого: <sayakovlev@yandex.ru>

Кому:

igor_tsukanov@inbox.ru

Тема: Публикация

Дорогой Игорь Михайлович, рад сообщить Вам, что один из рассказов напечатан в № 3 журнала "Морской флот". Номер будет отправлен Вам на днях, последует и гонофар (к сожалению, невеликий). Не теряю надежду пристроить другие рассказы, сообщу о результатах дополнительно.

Ваш С. Яковлев.

01.05.07 12:03

От кого: Игорь Цуканов

<igor_tsukanov@inbox.ru>

Кому: sayakovlev@yandex.ru

Тема: Re: Публикация

Уважаемый Сергей.

Спасибо Вам, что приняли участие в судьбе его рассказов. К сожалению, Игорь умер после операции. В больнице он всё время ждал, когда придёт "Морской флот". Я выписала его на полгода. Не дождался. Когда я получила второй номер (первый почему-то не пришел), была рада, что напечатали рассказ.

Я его мать. Он жил со мной. Последнее время почти не ходил.

Игорь умер 15.03.2007 г.

Если что-то напечатают ещё, буду очень рада. Это память о сыне.

Цуканова Людмила Григорьевна. Прописана в поселке Залегощь Орловской области.

Завыла собака, и хозяин пустил пса в дом. Лохматое существо, покрытое сосульками, как ёлка шишками, пристроилось возле печки обгрызать обледеневшие лапы.

Близился вечер, и по мере его наступления во мне всё больше росла тревога. Надо было идти на судно, но разбушевавшаяся непогода запросто могла закрутить меня, завертеть да и бросить в какой-нибудь глубокий сугроб, из которого я уже не смог бы выбраться. Ленин очень страстно, а девушки – полнее, уговаривали меня остаться до утра, но долг звал меня на службу, и вскоре я, облачившись в свою курточку на рыбьем меху и клетчатый картуз с помпончиком, стоял у двери, тоскливо озирая приятную компанию. Ленин пожимал мне руку, а девушки посылали воздушные поцелуи, произнося со страстным придыханием:

– До свидания, Бонч!

Распахнулась дверь, и влажноватая пощёчина метели тут же залепила мне снегом всё лицо. Придерживаясь стены, я кое-как доковылял до калитки, а дальше уже шёл, не видя перед собой ничего. Если я наткнулся на забор справа, то немного подворачивал влево, и наоборот. Наконец я выбрался на площадь Терёхина и попал окончательно в плен беспощадной круговерти. Тяжело было даже дышать, но я шёл. Картуз мой унесло, рукава и брючины плотно набило снегом, а я всё шёл не зная куда, как в аду, надеясь лишь на чудо.

И оно всё-таки произошло. Проплутав с полчаса и прочитав двадцать шесть раз «Отче наш», я вышел к проходной завода и ввалился в помещение, тут же усевшись на стул перед турникетом. Добрые женщины из охраны отряхнули меня метлами, вывалили снег из капюшона и рукавов, а из брюк я вытряхнул его сам. Придвинувшись к батарее парового отопления, я обнял её так, что никакая сила не смогла бы оторвать меня от неё. В тот момент она мне была дороже, чем Лиля и даже Фая. Вскоре я заснул, и разбудить меня, а уж тем более оторвать от батареи, не смогли даже бдительные работницы проходной.

Проснувшись под утро, я обнаружил, что метель утихла, слегка подморозило, а мой паропровод мрачной машиной стоит в двухстах метрах от проходной, выглядывая из-за стены цеха. Я медленно поплёлся к нему, зашел в кабину, включил обогреватель и уселся греться в его теплых волнах.

Что-то изменилось во мне.

Ленин через несколько дней уехал в командировку на Дальний Восток, и больше я его никогда не видел. Лилю с Фаей тоже не встречал, я ведь даже не знал, где они живут. Однажды случайно прослышал, что кто-то несколько раз звонил на судно, спрашивал Иннокентьева Бонча Бруевича, но вахтенный, понятное дело, не подумал, что это меня.

А я действительно изменился. Попадая в случайные гости, я уже не выбираю девушку покрасивее, а ищу место потеплее, желательно поближе к огню или горячей батарее. В последнее время полюбил бесцельные прогулки по городу. Обязательно с собакой. Бонч всегда идёт со мной рядом и несет в пасти мои меховые рукавицы. Погуляем немного – и в тепло. Пес у меня тоже теплолюбивый.

Поселок Залегоць Орловской области.

Александр Лютиков



Станция Уй

На далекой станции Уй
Спрыгну я на песок перрона.
Восторгайся душа, ликуй,
Как нашедшая плюшку ворона!

Это твой позабытый рай,
Детский мир без дверей и окон:
Хочешь – стеклышки собирай,
Хочешь – гнезда зори сорокам.

Можешь в сено нырнуть головой,
Просто так, ни о чём, хохоча.
Можешь биться с высокой травой
По-взаправдашнему на мечях...

Всё ты можешь – да я не могу.
Видно, вырос из карапузов.
Нечто ценное берегу:
То ли лысину, то ли пузо.

А и нечего больше беречь –
Всё летал, как навозная муха...
Остается на рельсы лечь,
Да опять-таки жалко брюхо.

Жизнь прошла, как состав пустой, –
Ничего от неё не осталось.
Только с каждой новой верстой –
Новый столбик, похожий на фаллос.

Восторгайся душа, ликуй,
Если можешь ещё прельщаться.



Есть у каждого станция Уй,
Но как больно туда возвращаться...

Попугай, попугай, ты меня не пугай,
Не пугай... Я и так перепуган!
Я, как загнанный в стойло колхозный бугай,
Бит кнутами и матом обруган.

Видно, что-то не то и не так промычал,
Перепутал тональности в гамме –
И кормушка пуста, и пастух осерчал,
И бурёнки бодают рогами,

И сороки с воронами подняли гай,
И бока почесать – столб оструган...
Попугай, попугай, ты меня не пугай,
Не пугай, я и так перепуган.

Попугай, попугай, ты мне лучше скажи,
Где тут кошка собаку зарыла?
Почему эти свиньи в общественной ржи
Наедают загривки и рыла?

Почему жеребцам – и ячмень и овёс,
А быкам – залежалое сено?
Почему от лелеемых в юности грёз
Остаётся лишь грязная пена?

Что молчишь, попугай? Или этого вы
Не прошли в попугайской школе?
Или, может, хохол оборвут с головы
За любые слова не из роли?

Ты умеешь, цитатник когтём теребя,
Кукарекать, мяукать и квакать,
Но никто никогда не научит тебя
Ни любить, ни смеяться, ни плакать!..

Моя шкура в крови. И копыта в дерьмо
Погрузились, как в кислое тесто.
Только я не сменю своё бычье ярмо
На твоё попугайское место.

Потому что я бык! Моё дело пахать,
Или, в случае бойни, на мясо...
Слышишь, Ара, чего там в округе слышать
От быков насчёт Бычьего часа?

Мне говорили: «В Гуся-мать! Летай с гусями!
 Не дай Гусь-Бог крыло сломать в воздушной яме...
 Тебя же бросят лебеда и лебедицы,
 Не подадут среди дождя воды напиться!»

Но мне с гусями скукота – они сдурели!
 Они – от клюва до хвоста – позажирели!
 И я, обычный серый гусь из серой кучи,
 Знал: с лебедями сберегусь – летают круче...

Они и взяли круто в срез вблизи болота,
 Да я в инерции не слез с автопилота,
 Не уложился в поворот, а там не спали –
 Сыпнули дробь от щедрот... Ну и попали.

Меня тогда одно спасло – у леса сбили.
 Как парус стаю унесло, лишь протрубили.
 Прощальный крик своим теплом мне был как месса –
 Я бил изломанным крылом, тянул до леса...

Упал под куст и сразу сник – хана, бродяга.
 Теперь и кровь и сок брусник – одна бодяга.
 Теперь и жизнь – лишь маета в цепях отсрочки.
 А смерть у ближнего куста рвала цветочки...

Как солнце выпало в зенит – не помню точно.
 Но помню: всё вокруг звенит тепло и сочно.
 И помню: белый пух одежд, и мать-гусыня
 Кроит из сереньких надежд крыло для сына.

Они вернулись, как ушли стада двуногих.
 Меня не скоро, но нашли. И пух – от многих.
 Меня нашли среди ковра брусники спелой:
 Такой же гусь, как и вчера, но странно белый...

Моё солнце заплутало в крышах.
 Высоко нагородили, много!
 Главный зодчий выдумал: чем выше –
 Тем скорей дотянемся до Бога!

На вершине небоскрёба – холдинг!
 Чуть пониже – фирмы победнее...
 А ко мне приходит солнце в полдень.
 Я обыкновенный. Из пигмеев.



Я обычный – из полуподвала.
Там нас, кстати, много обитает.
Нам плевать на жёлтый блеск металла –
Нам для жизни солнца не хватает!

У меня сосед с оскалом волка.
Любит запах крови и ванили.
Говорит: «Не сел бы на иголку,
Если б солнце нам не подменили!»

Говорит: «Кремлёвские халдеи –
Внаглую причём, по-уркагански –
Подменили русскую идею
Долбаной мечтой американской!»

Он завесил утлое оконце.
Говорит: «Чего я там не видел...
Там уже лет двадцать вместо солнца
Над страной сияет жёлтый идол!»

Он похож на загнанного зверя,
Когда рот оскалом перекошен...
Почему-то я ему не верю.
Может, мне не хочется в наркоши?

Ветер надел милицейский китель,
Схватил за шиворот тучу
И поволок её в вырезвитель.
А туча устроила бучу!
Напыжилась угрожающе,
Опухла, набрякла скандально...
Но ветер, таких не уважающий,
Только расхохотался кандально –
И пнул ей сапогом в бок.
Заплакала небесная бродяжка!
Я далеко был – и то промок,
Так ревела бедняжка...
Ветер за космы её хватал,
Топтал и руки крутил,
Молнией, как дубинкой, хлестал,
И громом, как матом, костил.
Потом об асфальт её как бахнул –
Остались от тучи мокрые пятна...
Я только сожалеюще ахнул:
Уж очень мне было занято.

Хорошо мне, бедному,
 Никуда не годному,
 Добродушно вредному,
 Горячо холодному,
 Чутко безразличному,
 Собранно неточному,
 Искренне двуличному,
 Девственно порочному,
 Вежливо нахальному,
 Преданно коварному,
 Умно ненормальному,
 Талантливо бездарному,
 Ветрено скаредному,
 Скованно свободному...
 Хорошо мне, бедному,
 Никуда не годному!



Трамваи уже не ходили,
 С метро у нас вовсе беда...
 Я брёл по ночной Пиккадили,
 А в общем-то брёл по Труда.

Да разве в названии дело –
 Подходит и это и то
 Для женщин, торгующих телом
 На заднем сиденье авто...

Стояли, красивые, стайкой,
 Моральных устоев враги.
 А выдать бы всем им фуфайки
 И кирзовые сапоги!

И утром – в четыре – на дойку,
 И вечером – в десять – опять...
 Тогда б они прыгали в койку
 С одной только мыслью: поспать!

Тогда б никакая крамола
 Бабец не сводила с ума.
 Ох, нету на них комсомола!
 Не плачет по ним Кольма!

И я, пропитой и небритый,
 Конечно же, им не судья...

Прелюдия

Позвать бы сюда Айболита,
В родимые наши края!

А то уже стала привычкой –
Пойми теперь, кто у руля, –
На случку похожая смычка
Двух русских: души и рубля.

Я брёл по ночной Пиккадили.
Плескалась рекламная ртуть.
И слёзы текли крокодилы,
Мочили озябшую грудь.

Я всегда искал любимую, красивую,
И однажды мне досталась эта рана...
Я-то думал, что баранов жизнь насилует, –
Оказалось, жизнь насилует баранов.

Оказалось, что из выбора не выбраться.
Суть вещей, по сути, суть и означала.
Я-то думал, что начало лишь конец конца, –
Оказалось, что конец конца начало!

Оказалось, всё такое несуразное,
Всё какое-то ненужное и праздное...
Я подаривал её цветами разными,
А она сама была такая разная!

Сколько нежности в её прекрасном имени,
Сколько чувства в мелодичном тихом голосе...
Но у женщины любви, увы, не выменять,
На тюльпаны, розы, астры, гладиолусы!

Так разбилась цельность внутреннего мира –
Где-то лопнула невидимая спайка...
Я-то думал, что в душе звучала лира,
Оказалось – дребезжала балалайка.

Я ищу теперь другую, некрасивую,
Чтоб в носу была козявка, в ухе – вата.
Если жизнь меня по новой изнасилует,
Буду знать, что красота не виновата!

А на улице непогодица!
Ветер носится, вот и пыльно...

Не сидится мне и не бродится –
Неуютно мне, нестабильно.

На скамеечке – ни одной души.
Не с кем свидеться, не с кем скинуться.
Поисчезли все наши алкаши –
Так и тянет в цирюльню двинуться!

Парикмахерка, наше золотце,
Обкорнает враз, нежно-быстренько.
Я пойду-пройдушь пришлым молодцем
К центру города. Там, где чистенько...

Ах ты жизнь моя захудалая –
По баракам всё, по окраинам!
То бухалово, то бодалово –
Так до старости. Неприкаянным.

А понять бы мне этот злой секрет –
Всё когда-нибудь понимается, –
Почему один сыт и обогрет,
А другой под забором мается?

Да пошло оно в пень колодину,
Раз уж кто-то фортуны стибрил...
Но сказали бы выбрать родину –
Я бы снова русскую выбрал!

По баракам пусть, по окраинам,
Кем-то в «быдло» с рожденья оформленным,
Но таким же вот – неприяканным,
Неуступчивым, неприкормленным!

Как одиночество достало!
Я тихо вышел из дверей...

На тротуаре, в луже талой,
Плескалась стайка снегирей,
Волнуя рябью солнца лик
И неба синего бездонье...
Дитя и сморщенный старик
Кормили голубя с ладоней –
Старик учил дитя добру!
Шептал ему седобородый:
«Смотри, внучёк, вот я помру –
Тебе останется природа!..»
И лился тайный нежный свет,



Сердечко юное пленяя,
 Бесхитростную младость лет
 И мудрость лет объединяя...
 Но грянул гром! Слоновий хор
 Не знает нотного порядка –
 Гремя басами, к нам во двор
 Помпезно въехала «девятка».
 Рулил шарманкой сорванец –
 Безмерно крут, обкурен трюхи,
 Природы-матушки венец,
 Продукт безжалостной эпохи!
 Вспорхнула стайка снегирей
 И голубь дикий взвил высоко...
 А я вошёл под сень дверей –
 Мне снова стало одиноко.
 Но на кого теперь пенять?
 Мы сами, в этой гонке-давке,
 Забыли детям объяснять,
 Что значит «слон в посудной лавке»!

Не грусти, моя зеленоглазая, –
 В дебрях дней любая блажь заблудится...
 Много сказок я тебе рассказывал,
 Только ни одна из них не сбудется.

Просто потому, что туфли драные,
 Потому, что в лифте прёт сивухой,
 Потому, что в сны твои багряные
 Филин по ночам глумливо ухает.

Потому, что всех за жизнь обидели –
 Где-то нагло, где-то ненавязчиво...
 Неприютно нам в земной обители:
 Даже сказки здесь ненастоящие.

Ни одна из них уже не сбудется,
 Словно сговорились, окаянные.
 В дебрях дней и эта блажь заблудится –
 Сны твои чудесные, багряные.

Не грусти, моя зеленоокая,
 Мне и самому заплакать хочется...
 В эту ночь, такую одинокую,
 Только злому филину хохочется!

Валентин Курбатов

...Здесь шёл снег на августовские Ноны; отсюда масляная река текла в Тибр;
Тут, как гласит молва, Сивилла показала старому Августу младенца Христа.
...Могу ли на жалком листе описать целый Рим?

Франческо Петфарка

Сёстры тяжесть и нежность

Из итальянского дневника

Не знаю, отчего это? Скорее оттого, что уже никуда не денешь своё деревенское происхождение, всё никак не можешь надивиться миру. Городской твой товарищ полмира объездил – и ничего. Ну, расскажет вечером семье и друзьям, где был, покажет фотографии и живёт себе дальше до следующей поездки. А ты и там норовишь каждый день записать, и вернёшься – покоя нет. Как будто непременно всё надо досмотреть и додумать, и ты, Бог весть зачем, пишешь дневник. И добро бы о каком-нибудь неведомом уголке мира. Нет, пишешь об Италии, о которой написаны даже не тома, а целые библиотеки. И ты ещё до поездки читал эти тома, чтобы самому не переводить бумагу. Но приедешь, полетишь по улицам, кончится день, и ты, хоть падая от усталости, а всё торопишься за неудобный гостиничный стол.

Это уж от века так – ничто чужое, как бы оно ни было умно и тонко, не кажется нам нашим. Как ничьи – и блестящие – фотографии не отражают того, что видим мы.

И потом, я до этого много писал о Византии и, наверно, поэтому прежде всего искал голоса христианства, а в чужих страницах находил больше следов высокой мысли Плиния и Аврелия, чем

молитвы апостолов Петра и Павла. И ноги сами прежде всего поворачивали в храмы – услышать Христову и апостольскую мысль, недавно слышанную в христианских руинах Малой Азии. Увидеть, как хранит старая Европа этот свет и опыт.

Но я уж знаю, что всего не расскажешь, и вот думаю, что коли уж на дворе время постмодерна и игры, то не воспользоваться ли чужим приемом, давно известным в литературе: мол, вот нашлась старая тетрадь на дачном чердаке, где жил до тебя литератор. Там многие страницы вырваны на растопку, остальные погрызли мыши (видать, литератор не всегда мыл руки, и мыши чувствовали на страницах запахи римских сыров и неизбежной «пасты»). Но вот, оказывается, и то, что осталось, хранит живой след чужого восхищения и раздумья и, может быть, интересно не только тебе.

9 декабря

Вчера вечером был прекрасный новогодне-рождественский Петербург – в искусственных ёлках и чужих электрических роскошах с впервые являющимися на ёлках крестами из огней. Рождество протискивается к нам в европейском платье. А уж Невский сиял, свер-

кал, переливался, роскошествовал, удивлял. Поневоле все беды забудешь и только по-детски разинешь рот.

А уж в 5 утра надо было вставать. Слава Богу, вылетели по расписанию. Где-то над Австрией облака разошлись – и как прекрасна земля, настеленная аккуратными половичками полей, и как трогательны малые черепичные городки, к которым посланы эти половички... А там уж до самого Рима – облака. И только перед посадкой, когда вынырнули из облаков, – море с каймой прибоя, пинии в сплошных приморских городах.

Аэропорт Леонардо да Винчи огромен – сгинешь и ищи-свищи. Найдут через несколько лет обросшего, потерявшего гражданство и национальность. Слава Богу, нас встретил представитель фирмы и помчал прекрасной трассой среди пальм, облепихи (!), камышей.

Рим

11 декабря

...И державный шаг Колизея внизу. Странно привычного Колизея. Но когда выходишь к нему через станцию метро снизу, то тут уж привычка в сторону! И так жалка перед этим величием суета непререкаемых «гладиаторов» в лже-доспехах с их лжемечами и ухватками уличных приставал. Вроде наших «лениных» и «николаев» на Красной площади. Потом подъедет «лжеимператор» и они станут набрасываться на бедных, чаще японских, туристов втроём.

Да уж, Колизей! Колосс. Великан. Молох. Каменное чудовище. Бойня. Завод по переработке человечины. И построено, говоря шёпотом, в основном евреями, которые били когда-то в скалах поразивший меня 5-этажный водоводный тоннель Тита в Пиерии Селевкии в Малой Азии. А тут вот тем же Титом приведенные из перепаханного Иерусалима ставили циклопический театр, в котором как будто только то и делали, что убивали христиан. Довольно было

того, что здесь звери разорвали Игнатия Богоносца, кого, когда он был ещё ребенком, носил на руках Иисус Христос, призывая «Аще не будете как дети» и на чьем разорванном сердце впервые вспыхнуло никого не образумившее: ИС.ХС. НИКА. Но и потом христиане гибли здесь тысячами, скармливаемые зверям, за то что переполнился Тибр, за то что жара, за то что дождь, за то что стареет империя. И не зря Григорий Двоеслов посылал отсюда Юстиниану в Константинополь в качестве самой большой святыни горсть земли с арены Колизея как мощи святых мучеников. Да если и не мучили физически, то духовно-то все равно ничем иным не занимались, растлевая роскошью зрелищ и возгревая жестокость и притязательность. И, глядя на ободранные, лишённые прежних мраморов стены, поневоле думаешь, что история не грабила некогда одевавшие Колизей чудеса украшений, не воровала для других нужд и римских дворцов золото одежд этого колосса, а только обнажала механизм, открывала ледяное нутро, железную сущность этого каменного римского зверя.

А молодцы лжегладиаторы внизу, которые выколачивают копеечку из японцев, – все ещё дети тех. Те тоже так играли мечами и мускулами для зрителя, только платили за это смертью, а эти получают плату насмешливыми взглядами, но кураж тут тот же – опустошённой или просто ещё не рождённой души. Как, должно быть, хохотали они над бедным иноком Телемахом, пришедшим сюда в начале пятого века из Византии и вставшим между гладиаторами, чтобы сказать о небе и любви. Английский историк Э. Гиббон сказал о нем, что его смерть «оказалась необходимее, чем жизнь». Как жадно и весело его тут же забили камнями. Тоже, поди, кричали: убей его, кровь его на нас! И думали, что тем отстаивают Рим. И все эти маски, эти мраморные акробаты и

актеры, танцовщицы и музыканты, насмешники и гистрионы, выставленные на галереях, тоже ведь напоминают не самую светлую человеческую историю. И оттого и смотришь на них без веселья, а будто слышишь все то же вековечное, отлившееся здесь в формулу требование хлеба и зрелищ.

...Арки Константина, Тита, Септимия Севера шествуют «путём своим железным» вокруг Капитолия. Их фризы прекрасны и холодны. Рабы, колесницы, триумфы, «дориносимые чинми» императоры, пустые глаза торжества и всесилия. Странствующие леса колонн, которые одни гордецы воруют у других, заполняя свои пантеоны и величавые капища. А потом эти же колонны будут приручены уже христианскими храмами, смирявшими их гордую кровь «молитвой и постом», оставлявшими их без прежних жертвенных воскурений и гекатомб. Мы увидим их в Санта Мария ин Космедин и Георгия на болоте и в церкви Варфоломея на Тибериуме. Их окрестят и заставят держать небо, и они успокоятся и будут прекрасны, а разнородность их капителей, порфи́ров и мраморов ночами будет только напоминать им о родине.

...А Форум Романум прошел, словно не видел, хотя был восхищен каждым метром и поражающим пространством. Глаз-то остановился, а мысль – нет. Дежурное переживание.

*Вздыхается море, и тополь кипит.
Британик отравлен, Германик убит
За рошмицей статуей, за лесом колонн,
А правят Калигула, Клавдий, Нерон.*

Зато как сразу вскинулась душа в Санта Мария Арачелли. Как ревниво глядела на писанную Лукой Богородицу, такую отличную от нашей его же руки Владимирской, словно для Рима он писал в Ней строгую римлянку, а для нас – смиренно-нежную славянку. И как странна русскому сердцу капелла Младенца, где

в алтаре царит Спаситель – толстый обременённый золотом римский младенец в золотой же короне (под этим золотом уже не прочитаешь малой статуи Богомладенца, вырезанной якобы из оливы Гефсиманского сада). Ну и естественно: как же ещё, если не в золоте, мог представить Его царственный Август, узнавший от сивиллы о скором рождении Первенца Божьего и постаравшийся отметить это грядущее рождение храмом? И как, поди, смеялся бы над собой император, если бы ему было «доложено» о рождении этого Младенца в далёкой Иудее, в Вифлеемской пещере среди волов и ослов. Да и что за предсказание о Первенце Божьем, когда для Августа Боги ещё едва помещаются на Олимпе? Разве поставить алтарь, как добрые Афины, «неведомому Богу», а там уж история найдёт ему имя.

Ну, вот история и постаралась, и Августова сивилла «угадала». А он, к его чести, не устрасился приветствовать неведомого Бога. Надпись в храме даже гласит, что это он сам увидел Богородицу с предвечным Младенцем и, ужаснувшись, отказался от чести быть причисленным к лику богов – тогда, да и ещё чуть не два столетия позже ходить в богах для римских императоров было в обыкновении. Впрочем, это ведь при нём была писана Вергилием и четвёртая его эклога, предсказывающая рождение Богомладенца, которую читал на первом Никейском соборе император Константин («Сынова ныне времен зачинается строй величавый, Дева грядёт к нам... Снова с высоких небес посылается новое племя»). Значит, так готов был мир, так близко было рождение Спасителя.

...А уж у Ватиканских музеев очередь. Декабрь, половина девятого утра – очередь!

Через час мы – там. Скульптуры со всего света – мраморная перепись населения. Матроны, философы и ораторы



Ольга Крестовская. Из серии «Моя поющая Венеция»

империи скучны и добродетельны, как чужие предки на фотографиях. И вдруг замечаешь, как много в этом мраморе некрасивых лиц, и догадываешься, что роскошная жизнь была жестка и беспокойна, а кровавые зрелища не красили лиц – ни мужских, ни женских. Лица не светали Богом. Через час от этого человечества богов, муз, императоров, гладиаторов, героев, пап, венер, аполлонов, весталок, юпитеров, а ещё тигров, собак, львов, волков, крокодилов (см. монолог Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки... морские звёзды... словом, все жизни, все жизни», – словно бедный Треплев писал это, не выходя отсюда) устаёшь, словно перед тобой и правда прошли все жизни, все жизни... И радуешься нечаянному окну на Рим, во двор Ватикана, как форточке из истории в живой день. Потоп истории, жуткая теснота честолюбий. Видно, как всем хочется остаться, остаться, не уходить. Немудрено, что Марциал мог страшить толстяков-патрициев: возьму и не воспою, и пропадите в безвестности, если не заплатите. Вот и держались, да ещё тащили с собой весь привычный мир, чтобы и там, в мраморной вечности, вокруг те же павлины, лошади, львы, чтобы так было всегда. Всегда! И опять Приамы, Антиной, эскулапы, августы, трибуны, консулы, победы, триумфы...

Но сквозь всё и через всё указатели зовут, манят, обещают – Капелла Сикстина. Жди, не торопись, копи волнение. Постой ещё перед полками героев, загляни в витрины монет, медалей, золотых крестов, евангелий, подивись роскоши гобеленов. Подними глаза на победы Константина и Домициана, где, кажется, изображены во фресках воюющие стороны в полной своей численности, и каждый воин бьется и погибает в вечном бою под вечным «Сим победиши!». «Призри с небесе, Боже, и виждь виноград сей!». Подлинно – виноград, «где курчавые всадники бьются в кудря-

вом порядке». И какой руки! Себастьяно дель Пьомбо, Джотто, Филиппо Липпи. И вот уже Станцы Рафаэля – «Афинская школа» и падающие вериги Петра. А залы-то, оказывается, тесны, и живое человечество японцев и европейцев (японцев всегда больше) мешается с населением рафаэлевых Афин, и кажется, что шум нашей толпы мешается с диспутом фресок. И неожиданно ловишь себя на том, что благословляешь эту тесноту толпы. Страшно представить, как бы ты оказался один перед этим сонмом отлетевших мраморных и живописных жизней, которые накинудись бы на одного тебя, требуя взгляда, ища твои глаза, чтобы на минуту воскреснуть. Тебя бы не хватило на всех, и ты кончил безумием. А так один ухватится за одного, другой за другого – и, глядишь, смерть и отступила.

Мы спасли их, они продлили нас. И полотно вечности всё ткётся, как у бедной Пенелопы, чтобы за ночь распуститься и к утру опять начаться с первой петли. И (по высокой драматургии устроителей) мы ещё окажемся пропущенными чрез мясорубку современного религиозного искусства в залах Борджиа от Эрнста Барлаха до Эрнста Неизвестного. И только тогда – пожалуйста, наконец она – Сикстинская капелла!

Варево народа, митинг, вокзал, беспрерывное «тш-ш-ш» охраны и радио: силенцию! Все головы вверх. И ты видишь к Страшному суду спиной и пока видишь только сивилл, пророков, чаш творения человека, дивные ультрамарины и кармины фресок Боттичелли и изумляющие золотые и серебряные драпировки в тяжелых складках мрачного бархата. Все откладываешь миг, всё оттягиваешь минуту главного события. Но пора и к трубам Страшного суда.

Разверзается вертикально поставленное небо, населенное больше, чем земля этой великой фрески. И в отличие от столь памятного тебе Страшного суда византийской церкви Хоры, где

весь небесный чин, кажется, молится за человека, бережно адвокатствует душе и жаждет принять её в свое братство, тут всё полно гнева и прощенные не счастливее осуждённых. Да и никто ещё не прощён. Всё будет вот-вот, и пламенный жест гневного Спасителя не сулит благословения. Не зря, говорят, здесь особенно грозно звучит на Страстной неделе *Miserere mei Deus* («наш» пятидесятый псалом – «Помилуй мя, Боже»).

Потом уже ничего смотреть нельзя. И глаз уже скользит безвольно и торопится к выходу, где небо уже на месте, где оно безмятежно и сине, где радуется солнышко.

Мы едем за городские стены к апостолу Павлу, в храм, который ставлен на месте его погребения после «благородной» римской казни – усечения мечом. Поезда метро исписаны, как наши подворотни, и ты поневоле отворачиваешься, чтобы не испачкать ещё полного капеллой и храмом зрения. Но и поневоле благодаришь эту живописную низость, потому что она омывает твоё зрение, опускает его, чтобы не держать на нестерпимой высоте и приготовить для нового восприятия.

Павел выходит к нам боком, пряча фасад, и, входя через пинакотеку, ты ещё не знаешь, что тебя ожидает. Слово храм нарочито начинает с вступительного пьяно, чтобы разворачиваться всё величественнее и грознее, аккорд за аккордом до грозного форте и тутти. Пока ты не увидишь, что это второй по величине после Петра храм Рима.

Сначала удивит квадрат двора, галерея, чьи стены затканы археологией и крестами, обломками полов и фриз, фрагментами колонн и саркофагов, мозаик и эпитафий – всем, что уцелело после чудовищного пожара, опустошившего храм в середине XIX века. Этот бедный «текст» уже нечитаем, как рассыпанный набор, но хорошо готовит сердце к главному «тексту». Как и пинакоте-

ка, которую ты пересекаешь по дороге в храм. Там глядит на тебя со стен второ-степенная, но все же римская кровью живопись и пыльные листы старых гравюр, напоминающие, как величав был собор до несчастья и каков он был тотчас после пожара. Эта «увертюра» старит душу до должной глубины, чтобы ты мог вместить сердцем весь свод святынь капеллы реликвий, где хранятся частицы мощей апостолов Иакова Заведеева и апостола Варфоломея, Иакова Брата Господня и апостола Анании, архидиакона Стефана и праведной Анны, матери Девы Марии. И вериги Павла и часть его посоха и Животворящего креста. И десятки других святынь. И надо постоять минуту как после причастия, чтобы успокоить сердце. И только тогда можно войти в корабль собора. В холодный, серый царственный шаг колонн к трибуне, как зовется там горнее место, с золотым небом мозаик, где воссияет над тобой Спаситель в предстоянии Андрея и Петра, Луки и Павла. А под ними апостолы уже сойдутся к Кресту, чтобы получить благословение на подвиг проповеди.

Нам, редко оказывающимся в алтарях наших храмов, не часто удается встать вот так под парусом свода, под самым обнимающим небом, и почувствовать ужас и счастье этого объятия. И ты стоишь и стоишь, пока твои копейки не иссякнут (автоматика освещения срабатывает на центы и евро) и небо не погаснет. Но и тогда не уйдешь, потому что мозаика притихнет и исполнится новой тайны и вечерней тишины, как у нас перед утреней на шестопсалмии, когда храм, кажется, освящён одними ликами икон.

И только потом спустишься в крипту, где под престолом покоится апостол Павел рядом со своим спутником в долгих скитаниях апостолом Тимофеем, которого Павел звал «истинным сыном в вере». Вот, значит, где они нашли успокоение, эти скитальцы по Господню

поручению, которые пешком прошли больше, чем иной за жизнь пролетает на самолете. И вот, значит, как судьба присматривает за нами и глядит, чтобы всякий сюжет был дописан до точки. Значит, мне надо было пройти по их следам часть дорог Малой Азии, начиная с родины апостола Павла в Тарсе и мест их проповеди в Эфесе и Листре, Конье и Антиохии, надо было написать предисловие к книге Алена Деко «Апостол Павел», чтобы теперь поклониться их последнему приюту и снова почувствовать правду и плоть христианства, его живую историю, которая пересекает твоё сердце, чтобы ты понял, что небо начинается на земле.

А поднимешь глаза, выходя из крипты, и сразу согрешишь (таково уж видно слабое человеческое устройство). По фризу над колонами встанут в сумеречном свете храма медальоны с десятками портретов пап, где будет освещён один последний – с портретом нынешнего папы, вздохнешь, что уже погас медальон с портретом папы Иоанна-Павла II, с которым ты чувствовал (по славянству ли, по духовному ли устремлению) родство. А потом оглянешься на их предшественников и застанешь себя на мысли, что портреты могли бы стать «журналом мод» римских первосвященников. Там отразятся все века, как всегда они отражаются в наших лицах. Там будет простота и сила первых веков, жесткая ясность Средневековья, коварство и расчет времен Возрождения, смирение и дерзость последнего времени. Там будет весь человек во всей его сложности, ибо он и там, в папском поднебесье, – всё человек. А за Бенедиктом XVI ждут своего часа ещё пустые медальоны – «продолжение следует». Это хорошо смиряет, и можно предположить, что нынешний папа уже видит там, в следующем медальоне, известные ему одному черты того, кто будет светить, когда он отойдет в тень следом за Иоанном-Павлом II.

14 декабря

А сегодня нас ждет Сан Джованни ин Латерано – Иоанн Предтеча на Латеранском холме. Церковь, рождённая ещё в четвертом веке и звавшаяся «матерью всех церквей Рима и мира» (а как же – непременно мира!). В лесу римских статуй есть и народ Сан Джованни – пятнадцать статуй по фасаду со Святителем и папами венчают роскошный фасад Алессандро Галилеи. Но мы, неблагодарные, уже как-то фасады в храмах и не видим, торопясь скорее под своды, где опять горят тяжелым золотом кессоны потолков и пируют сотканые из камня «половики» и «ковры» Космати. Где в борроминиевых роскошных арках стоят мощные, полные пламени и силы статуи апостолов с орудиями своей казни. Не рыбаки – Геркулесы. Они таковы здесь всюду. Полководцы прогресса. Строители мира. Христианство силы и победы перед нашим христианством терпения и любви. Как крепкое физическое дело перед духовным деланием.

Их державное шествие венчается надпрестольной сенью, где в золотой клетке стоят золотые же бюсты апостолов Петра и Павла. И клетка эта была бы странна, когда бы ты не знал, что в ней, очевидно, ещё и охраняемой скрытыми чудесами электроники, дорого не золото бюстов, а заключённые в них первые святые христианского мира – честные главы первоапостолов. Те единственные главы, которые по Христову слову подняли мир на дыбы. И от этого на минуту так страшно, что и под золотым небом мозаики в своде, где под Спасителем с девятью чинами ангельскими, под голгофским Крестом с Иоанном и Девой Марией, Петром и Павлом, ты уже не можешь забыть, а всё будто оглядываешься, как от взгляда в спину.

Здесь была выношена идея Крестовых походов и объявлено об одном из них, здесь проходил двенадцатый Все-

ленский (Латеранский) собор. Немудрено, что здесь, на престоле под главами Петра и Павла, над мощами Иоанна Предтечи в крипте может служить мессу только папа. И каждый папа строил здесь свои приделы, ставил лучшие статуи, заказывал прекрасные изображения. В этом, верно, было немного и от честолюбия и тайного соревнования в гордости и величии, но больше от правильного сознания преемства, словно папы были одной семьёй и папа-«отец» передавал «дело» папе-«сыну», как тот в свою очередь – папе-«внуку». И древо жизни вечно зеленело и тянулось к небу. И было, конечно, исповедничество и благодарение не только начинавшим здесь христианство первоапостолам, но и сонму мучеников, прошедших через этот город как ни через какой другой. К тем, кто был скормлен зверям, брошен в железных быков, обезглавлен, распят, кто пылал в живых факелах вдоль Аппиевой дороги, чтобы Нерону не было темно в вечерних прогулках.

Страшную славу надо было заслужить великой. И никакая благодарность тут не была чрезмерна. Не оттого ли Константин, чья статуя стоит здесь при входе, основавший этот храм и освятивший его за год до Никейского собора, и перенес столицу во второй Рим, что первый был для христиан слишком страшно памятен? Хотел начать с новой страницы. Но история не хотела переписываться и вернулась в Рим, чтобы там, на мощах, начать путь Преображения. Мучениками город был обесславлен, ими же и вознесен. О чем так чудно писал Иоанн Златоуст, прежде всего как раз об этих первых и главных – в золотых бюстах: «Не так блистательно небо, когда оно разливает свои лучи, как блистателен город римлян... Оттуда будет восхищен Павел, оттуда – Петр. Помыслите и содрогнитесь, какое зрелище представит Рим, когда Павел и Петр восстанут из своих гробов и будут восхи-

щены во сретение Христа, какую розу подносит Рим Христу, какие золотые цепи опоясывают его, какими обладает он источниками».

И подлинно – какими! В одном этом Сан Джованни найдете вы стол, на котором Спаситель совершал последнюю трапезу, и плат, который видел Петр по кончине Спасителя первым – «который был на главе Его не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте» (Ин. 20,7). И часть Креста и багряницу, и терн от венца. И вериги апостола Иоанна Богослова, и частицы мощей царицы Елены, Марии Египетской и Марии Магдалины. И пострадавших при Декии, при котором пострадали и семь отроков эфесских, и славянских мучеников Анастасия, Мавра, Септимия, и...

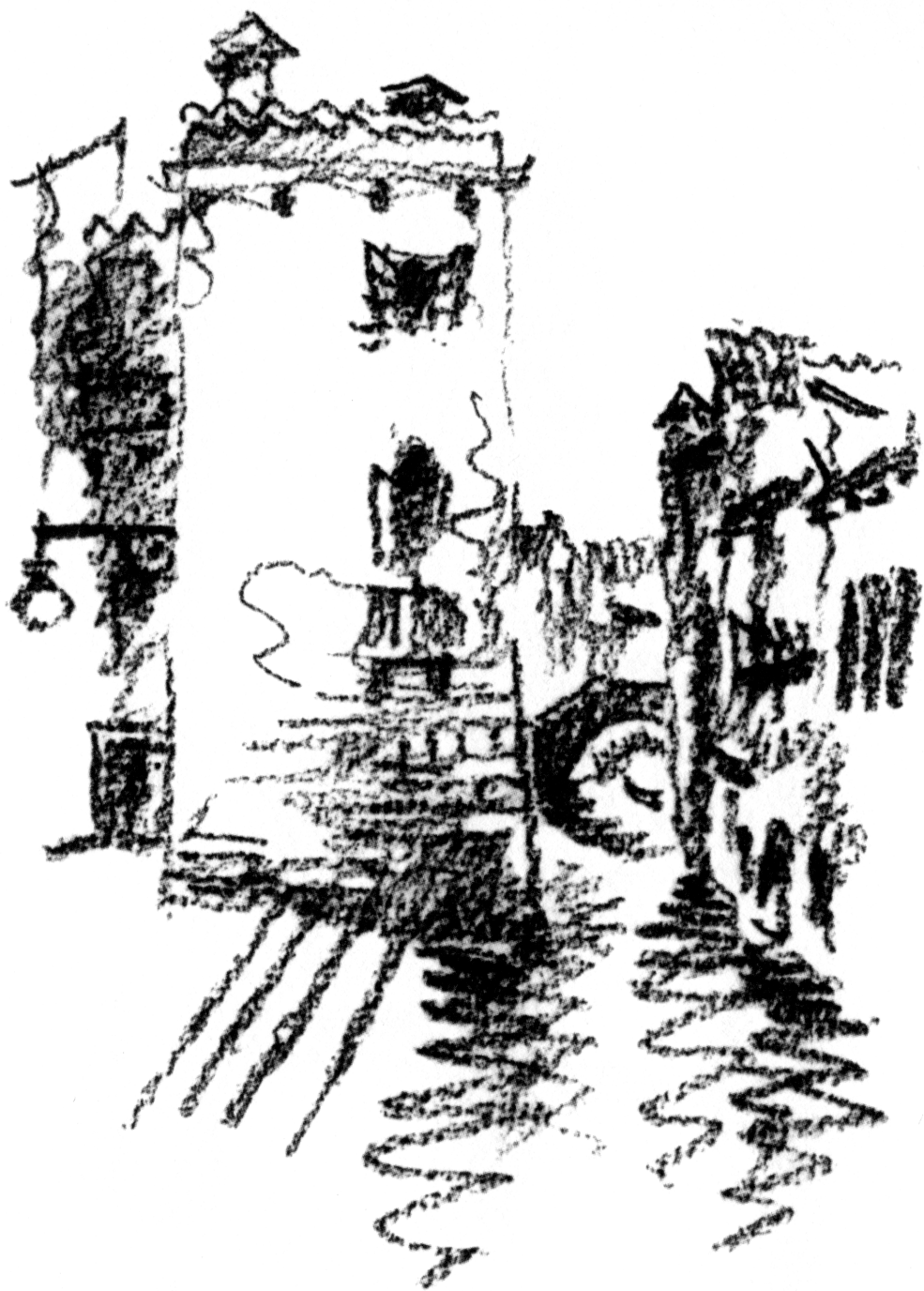
Всякая капелла, всякий придел повернется к вам со своими святынями. Казалось, храм поднимется и полетит. Только сестра тяжесть мощных его камней не дает. А выйдете в пустынный посреди декабрьского дня храмовый двор и увидите устье колодца, у которого Спаситель беседовал с самарянкой, окровавленную плиту, на которой солдаты «об одежде Его меташа жребий», колонны храма Иерусалимского. Тут целое тысячелетие жили папы и каждый вносил свою лепту. День за днем можно отдавать храму, а он будет только шириться в душе и наполняться всё новой силой, не истощаясь.

Флоренция

16 декабря

Утро серо и холодно, но разрывы в тучах уже сулят солнце. И хочется ухватить в кадре Санта Мария дель Фьоре. А собор не даётся. Углы, повороты, фрагменты. Теснота площадей никак не даёт увидеть его разом, разве сделавшись птицей.

И мы прячемся от утренней сырости и прохлады в собор, чтобы увидеть его уже во фреске Доменико ди Микелино, на которой «местный» поэт Данте в



алом плаще и венке из лавра (словно его никогда не изгоняли из этого города) без укора показывает родному городу и миру свою «Божественную комедию», чьи круги изображены там, за ним, как Вавилонская башня, увенчанная райским садом с Адамом и Евой. А там – только поворачивайся – Паоло Учелло и Андреа дель Кастаньо, Лука дела Робиа и Лоренцо ди Креди. И в куполе Брунеллески странно знакомый Страшный суд, в котором ты узнаёшь ещё не ушедшее из памяти вертикальное небо Микеланджело. Но это не он. Это оглядывающийся на Него Джорджо Вазари. А иконы Джотто отсылают нас к родным образам, и на минуту в них слышно душе краткое объятие наших, в его пору ещё не успевших далеко разойтись вер, как свидание Марии и Елизаветы («И откуда мне сие...»). Это потом, уже много позднее, они разойдутся как Мария и Марфа – та, что у ног Господних, и та, что хлопочет о земном. И в соборе ты слышишь и видишь этот путь, дорогу расхождения, дальнее эхо своего и долгий путь чужого, для тебя уже проходящего не по вере, а по великой мировой культуре.

А солнце на улице расходится всюду и уже манит к сверкающей Арно. И мы через Понте Веккио в золотых (сплошь золотых!) лавках – пусть ими пленяются те, у кого звенит в карманах больше эскудо, чем у нас, – вверх, вверх, в гору, чтобы поглядеть на город оттуда. По Сан Джорджо, мимо дома Галилея (да, вот так просто: здесь с такого-то по такой-то год жил Галилей и рядом была его обсерватория), мимо дома Чайковского, к кипарисам и оливам окраины, к церкви Сан Миниато аль Монте, которая реет над городом белым замком и знаменем опять в белых мраморах Каррара, зеленых – Прато и розовых – Марремо. Её лестница и сама она восславлены Данте в 12-й песне «Чистилища».

Там горит в небесах совершенно византийская мозаика со Спасителем меж-

ду Девой Марией и Сан Миниато. Там ещё тлеют вокруг мощей Сан Миниато в полутемной крипте меркнувшие фрески Тадио Гадди. А наверху, справа от пресвитерия в Сакристии сияют чудной свежестью, словно созданы не шесть с половиной столетий назад, а вот вчера и закончены, фрески совершенно джоттовой руки, писанные его учеником Спинелло Аретино. Наболовавший старой Италией, узнавший каждый её метр Павел Муратов будет снисходительно звать этих учеников и подражателей «джоттесками», но нам ещё далеко до такого снисхождения и вот не оторваться, не уйти из капеллы, развернувшей перед тобой неведомую жизнь святого Бернарда. И молитва твоя там собрана, а душа так покойна и тревожна одновременно, как всегда в присутствии великой святыни.

И когда выходишь из храма, Флоренция как на ладони: Санта Мария дель Фьоре, Санта Мария Новелла и понте Веккио на золотой нитке Арно, как цитата из старых флорентийских пейзажей. А чуть ниже, за аббатством бенедиктинцев на прекрасной пустынной площади, назначенной только для любования Флоренцией, высится в небесах, возносится, летит все тот же бронзовый Давид, как герб и знамя города, как его небесный покровитель в охране микеланджеловых Утра, Вечера, Ночи и Дня, мраморные оригиналы которых мы увидим завтра в капелле Медичи. И сам он под золотыми ветренными облаками в ограде гор Казентина не может наглядеться на свой город, на Санта Кроче, где покоится его создатель.

...А город, когда мы спускаемся по лестнице, по которой флорентийцы поднимаются с молитвой в дни воспоминания о Крестном страдании Иисуса, уже закипает вечерней жизнью. Дети катаются на велосипедах вокруг памятника Демидову сан-Донато, молодые люди не то в спортзале, не то в аскетической

церкви по соседству с галереей Уффици, куда я заглядываю, вовлечённый пением, все в легких белых одеждах поют что-то беспечное, лёгкое, счастливое и, кажется, обнимают друг друга взглядами – молодые, прекрасные.

К ночи я ещё успеваю забежать в Санта Мария Маджоре. Там опять с улыбкой останавливаюсь перед рождественским вертепом...

...Луна восходит над Флоренцией, над Понте Веккио с закрытыми к ночи лавочками, хотя одна-другая, видно, ещё приподнялись с закрытием. Тащится с пирушки щеголеватый молодец, разогретый вином настолько, что в карете ему душно, и он, отпустив кучера, сам ведёт лошадь под уздцы – проветривается, поглядывая со здоровым интересом на молодлиц, Бог весть зачем выкатившихся на лунную площадь в такой поздний час. Последний нищий, который, верно, уснул было за своей «работой», услышал топот копыт, и вот приободрился, и опять «на службе» – тянет усталую руку. А уже на самом повороте с моста на набережную, по дороге к пьяцца дель Дуомо, оказывается, родила Дева Мария, и Иосиф сидит над яслями и не знает, как теперь поспеть к августовой переписи. И ещё ни пастухов, ни волхвов – видно, им до Флоренции далековато. Христос рождается – слайте! Славьте везде – в Риме, во Флоренции, на каждой площади и в каждом храме, ибо Он (и это здесь так радостно видеть) рождается для каждого сердца в своем углу. В Санта Мария Новелла, в Сан Лоренцо, в Санта Кроче...

Сиена

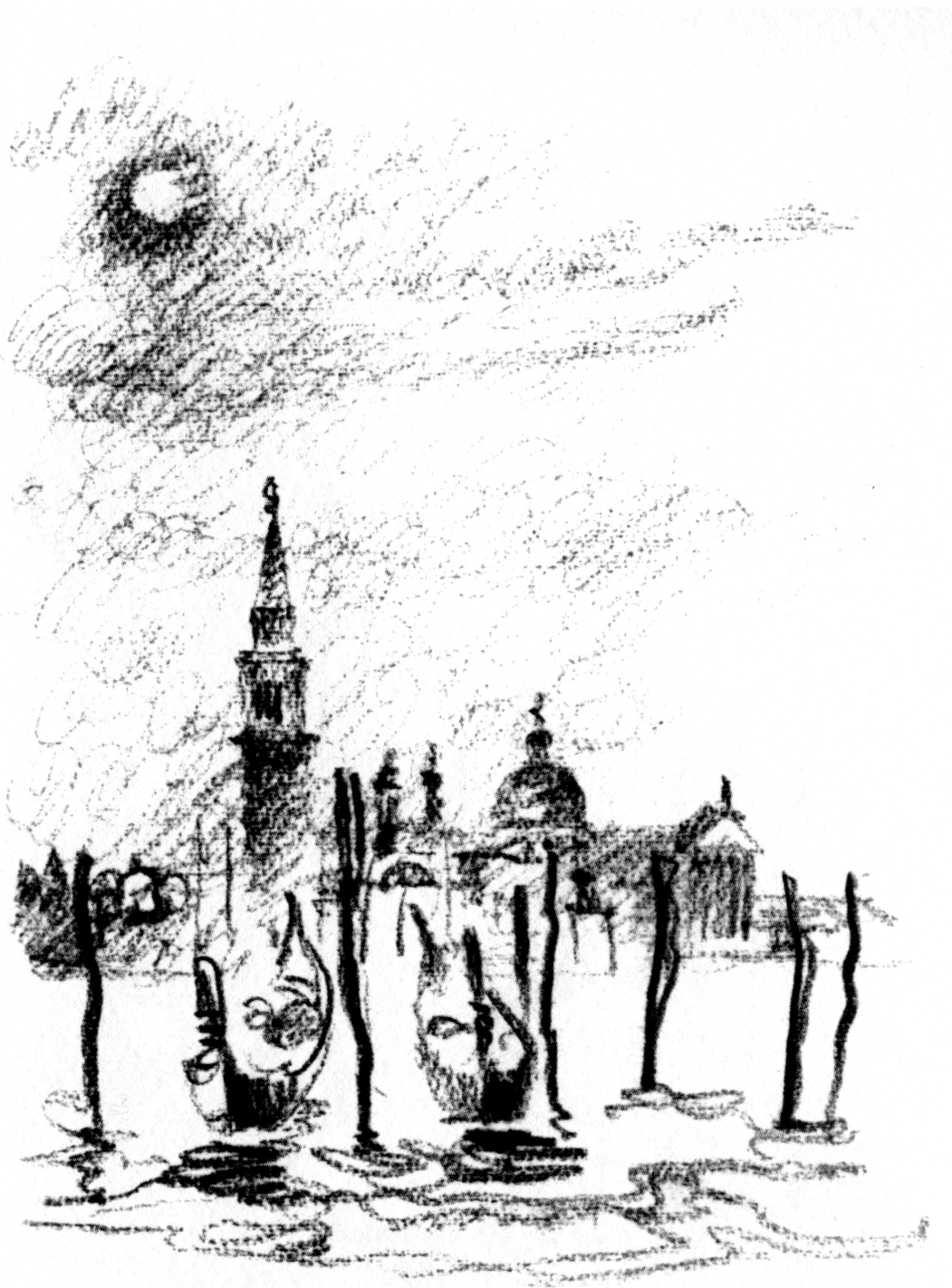
18 декабря

...Город высоко на холме, и надо, как третьего дня на Яникуле в Риме, долго идти серпантинном без тротуара под рёв машин и мотоциклов, пока не откроются в гербах и фризах прекрасные ворота Камоллиа и за ними город, обещающий, судя по надписи на воротах «от-

крыть тебе своё сердце». И теперь только определить по плану, где мы, – ага, вот как раз и виа Камоллиа – значит, вперёд по ней до Дуомо, главного Сьенского собора и до Пьяцца ди Кампо. И так бы и шёл по стрелке. Но как пойдешь, когда на каждом углу то Сан Пьетро, то Сан Бернардо, когда на каждом углу озарённые лампадой то живописные, то скульптурные Санта Марии, когда уже вглядываешься в фигурки дикобразов, единорогов, улиток, которыми всякий район города ревниво отделяется от другого, когда всякая улица манит свернуть туда и сюда, когда волчица с Ромулом и Ремом глядит чуть не с каждой площади, которая размером в носовой платок, но не забывает, что она площадь, и норовит выставить перед тобой свои бюсты и статуи, портики и фронтоны. Но вон уж мой спутник машет: сюда! сюда! – и по его взволнованному лицу видно, что действительно – туда.

И сердце, Бог весть отчего, тревожится, и ты торопишься, торопишься, предчувствуя по откуда-то снизу поднимающемуся свету, что тебя действительно ждёт что-то необыкновенное, и идешь по лестнице переулка медленнее, сдерживая дыхание, – ну, чего ты ещё не видал – площадью меньше, площадью больше. И все равно оказываешься не готов.

Площадь (та, с каждого угла зовущая тебя Пьяцца ди Кампо) распаивается перед тобой таким длинным счастливым «а-а-ах», что ты почти задыхаешься и останавливаешься, не зная, идти ли дальше. Так вот что такое вообще значит в человеческом замысле площадь – именно это «а-а-ах» или почти мучительное скрипичное тутти в адажио Альбинони. Или пленившее Пьетро Паоло Пазолини в его «Евангелии от Матфея» русское «Ах, ты степь широкоокая...», под чью страшную даль выходил на проповедь и последнее служение его Спаситель. Ах, Кампо, Кампо! Подлинно «площадь Поля». Широкая, как



ликующий простор, как призыв к чему-то гордому, как счастье! Её Торре Манджиа – стремительная башня палаццо Публико неведомым образом не удерживает разлетевшийся взгляд своей вертикалью, а как будто ещё поднимает всю площадь в небо, и она горит там, в небе Тосканы, как будто за ней никогда не сгорает закат. Тут и понимаешь, почему Павел Муратов в главе о Сиене пишет скорее песнь, чем воспоминание. И так и надо именно по-муратовски – не «Сиена» с острым и чуть мешающим «и», а Сьена – горячее кирпичное скольжение музыки и счастья. И тут забываешь римских сестёр – тяжесть и нежность и видишь только сестёр-близнецов: нежность и нежность.

Но сегодня небо серенькое, камень холоден и вечность повседневна и оттого ещё более ненаглядна. Площадь почти пуста при кипении улиц и обнимает твоё ошеломленное, уже навсегда теперь отданное ей сердце с материнской нежностью.

И не уходил бы вовек. Но ведь ещё обещано путеводителем чудо Дуомо, главного собора. И мы вверх, вверх тесными улицами, всё оглядываясь на площадь, на не отпускающую Торре Манджиа, – к соборной площади. И как-то само собой сначала в Санта Мария дела Скала под грозное, завораживающее небо «Страшного суда» Мартино ди Бартоломео, но друзья уже торопят: нечего, нечего – главного не увидите. И вот он – Дуомо!

Ах, это вековое соперничество гибеллинов Сьены с гвельфами Флоренции! Вот оно во всей красе! Ведь эта ослепительная мраморная готическая риза фасада надета на романское платье, как архиерейская парча на холщовый подрясник. Каков был первый фасад, ты догадаешься сразу, как только, изумлённый и смущённый увиденным, сбежишь по уличным ступенькам к баптистерию Сан Джованни (не может, не может быть, чтобы тогда, при покойной и

сильной вере, все было так роскошно!). Или поднимешь глаза на летящую в небо кампаниллу, с каждым пролетом увеличивающую количество «окошек», чтобы тому, кто поднимался по её ступеням пятьсот лет назад в жажде увидеть Сьену с высоты птичьего полета, было так же видно золотое небо Тосканы, как тем, кто нашёл силы подняться туда сегодня.

Царственные «кокошники» порталов, пламя мозаик «во главе» с «Коронаванием Марии» в поднебесном тимпане, тяжелая роскошь витражной «розы». Никак не объять всего сразу! Взор мечется со знакомым чувством неутолимого голода. И уже поневоле неблагодарно думаешь (куда денешь русское сердце?): надо ли так роскошествовать? И, оборачиваясь, видишь, что и с самого начала мысль твоя кружилась вокруг этого. Ты ещё ничего не сознавал, только ненасытно глядел вокруг, а русское сердце (ах, это неблагодарное русское сердце!) всё взвешивало, всё прикладывало к себе, всё мерило собою. Мы как-то таинственно (не от Достоевского ли?) получили (или – присвоили себе?) это право – судить мир нашей мерой.

Сегодня (а надо ли говорить, что дневник, написанный там и тогда, проверяется при перепечатывании – хотя бы и всего неделю позже – уже дома, когда ты уже что-то и из литературы посмотрел, о чём-то подумал и оглядываешься на вчера оставленные дни чуть охлаждённым сердцем?) я думаю и думаю, проверяю и проверяю себя – что видело сердце? Только ли то, что глаза? Или душа была умнее и что-то пыталась понять сразу, когда ум ещё только запоминал «показанное», и только до возвращения не находила слов. А в глубине-то душа «ворочалась с боку на бок» и примеряла увиденное к своему. Во всяком случае, она недолго смотрела на фасад Дуомо, смущенная расхождением только что увиденной совершенной теплой земной красоты площади Кампо с

холодным небесным рассудочным совершенством собора, расхождением простоты и поражающего чуда верующей жизни с тонкостью веками наживаемого умозрительного богословия. Вот написал эти строки, смутился, заглянул в «Сьену» П.П. Муратова, а там (какое счастье!) сразу бросились в глаза строки: «нынешний собор с его напрасно прославленным фасадом». Да, да, Павел Петрович, напрасно, напрасно! Во всяком случае, на родной православный вкус.

Душа не спрашивает, а сама «пропускает» (потом! потом!) чудеса фасада и торопится, торопится внутрь, уверенная, что настоящие сокровища там, в самом соборе. И ведь это так и есть! Не в роскоши же камня они, не в розах витражей, не в хороводе чуть читаемых, известных разве скульптору святых и сьенских героях портала, а там, там – у престола. Но и там, ещё до престола ты сначала увидишь полы. Они поражали тебя в Риме, во Флоренции. А тут они таковы, что ты, можно сказать, и не увидишь их, кроме нескольких фрагментов. Заботливые сьенцы закроют их почти все, кроме двух-трех плит, многотерпеливой фанерой, заслуживающей за свою охранительную (а в наших храмах, при едва рождающихся алтарях – и созидательную) службу благодарного памятника (может быть, даже летуче повсеместного, вызывающего в памяти знаменитую строку о неизвестном герое, пролетевшем, «как фанера над Парижем»). Это было уже и при Муратове, и он тоже видел только их часть и успел сказать нам, что каждая плита принадлежит разным мастерам, и назвал Маттео ди Джованни и Пьетро дель Минелла, но добавил, что есть и Пинтуриккио и Беккафуми. И особенно отметил Антонио Федериги.

Кажется, это действительно самый завершённый собор из виденных тобой за эти дни. Во всех предшествующих ты непременно там или тут почувствуешь

«паузу», невозделанный участок, «приглашение к продолжению», словно мастера оставляют зазор как при передаче эстафеты, чтобы всегда мог подхватить, продолжить служение другой. А тут – всё! Тут только молись и слушай глубину веков, остановленных в полосах черного и белого мрамора, словно в волнах вечности или в культурных слоях растущего времени. И при молчании услышишь всю органную мощь этого полета, этой оградившейся от улицы и мира «катакомбы», где неизбежные в готических храмах сумерки только подчеркивают густую тяжесть столетий. Её не разбивает и прекрасное алтарное окно с неизменным «Коронованием Марии», «Молением» и «Успением», и только подхватывает и восхищает как-им-то уж очень нынешним символизмом пустая сияющая ниша Спасителя («что вы ищете живого между мёртвыми, Его нет здесь. Он воскрес». – Лк. 24:5,6) над окном в предстоянии прямых по сторонам в своих нишах апостолов.

И все время сбоку будто лишнее окно будет манить светом, пока ты не уступишь, не повернешься и не увидишь капеллу Пикколомини, где кинется на тебя столько синевы, золота и света, что ты замороженно переступишь порог капеллы и возблаговаришь Бога за счастье увидеть её. Я не знаю, в какой час дня и душевного расположения входил в неё П.П. Муратов, назвавший работу Пинтуриккио в этой капелле «тусклым провинциализмом». Но мы, уже навивавшиеся за двадцатый век художественной грязи и низости, входили в этот ликующий сад белизны, золота, карминов и ультрамаринов с острым чувством радости, смущённые разве тем, что нас включали в этот праздник интронизации пап, возведения кардиналов и коронации поэтов на равных правах, а мы одеты темно и «не по сезону». В этой дивной музыкальной пьесе общего праздника все были молоды, и теперь

никто никогда не состарится, потому что Пинтуриккио подарил им вечную весну, золотое юное утро, которое никогда не склонится к полдню, а тем более – вечеру. Может быть, это и есть «чувственный культ художественного католицизма», как звал его Мережковский, но душа иногда просит этого света как обещания рая.

Но это уже начало XVI века, а соборно-конца XIII, когда ещё глядела в окна золотая Византия, когда небом христианства была горячая золотая икона и молитва ещё не одевалась в светские одежды. И нельзя было и помыслить чудес Пинтуриккио с его пышным юношеством в храмах, где все в шляпах и перьях всех моделей века с редкими простоволосыми дамами на венчаниях пап и поставлениях кардиналов. Может быть, это и смутило Муратова, его православную строгую душу. Он, напитанный закатным солнцем Съены, конечно, предпочитал великого Дуччо ди Буонисенья и, кажется, сам участвовал в торжестве перенесения его Богородицы из мастерской в Дуомо, когда за только рождённой иконой шел весь город, благодаря мастера за то, что он крепил великим образом их молитву. И город в своем вечном закатном свете был под стать образу, словно тот был писан его камнями, его солнцем, его мужеством и строгой красотой его юношей и старцев. Теперь образа в храме нет – как всюду, государство похищает лучшее для музеев.

Но зато в храме в капелле Понтифика всё глядит из киота, который держат ангелы Бернини, Мадонна дель Вото, такая близкая русскому сердцу, как наша Тихвинская и Смоленская, Богородица обета в немного простодушной золотой короне в дорогих камнях поверх живописи, как и строгий Богомладенец. И хранят её святой Лоренцо и прославившая этот город Екатерина Сиенская. Это ей, Богородице дель Вото, город посвящал себя и нёс ключи в тяжкий час осады, чтобы она оберегла его. И

она вставала на его защиту. И тут уж никакой музей не властен – Богородица не выйдет из собора, пока этот город стоит под небом Тосканы.

И мы ещё успеем до сумерек поклониться ему, порадоваться Пьяцце Кампо, её прекрасному фонтану, где бесстрашные голуби пьют из пасти волчиц, воспитавших ромулов и ремов, наглядеться на Торре Манджиа, норовящей из створа всякой улицы удержать тебя. И так и уйдём из города с повернутым назад лицом, чтобы унести его в сны.

Венеция **19 декабря**

...И вон она там, на горизонте за лагуной, чтобы дать тебе приготовить сердце. Серое пасмурное море, катера, чуть читаемая линия города, долгий австрийский мост через пролив – готовься! готовься! Поезд останавливается прямо перед каналом Гранде. И мы чуть не из вагона прыгаем в первый же катер.

Ну что – приготовился? Мечусь с борта на борт в отчаянии – как увидеть и ту, и эту стороны, да ещё бы хорошо и воду, и небо, и каждый дворец по сторонам? А домов-то и правда нет: дворцы, дворцы – старые, даже, кажется, покосившиеся. Во всяком случае, с покосившимися карнизами, пооблупившейся штукатуркой, выцветшими и как будто запылившимися фресками по фасаду, хотя какая тут пыль? Легкие арки окон, «коновязи» (замечательное слово нашёл Бродский!) гондол, сами они, стайками покачивающиеся на волнах. Все как скрипки одного мастера (нет, опять лучше Бродский, которого ты прочитаешь потом и поймешь, что значит поэт: «Скрипичные грифы гондол покачиваются, издавая вразнобой тишину»). И ни в одном окошке любопытного лица, словно город живёт, обернувшись во двор, а фасад – это так, для туриста. Катер останавливается через каждые сто метров, сменяя отражения колонн и аркад, выпуская одних пассажиров и при-

нимая новых, – автобус, а не катер: коляски, покупки, «вы сходите?». И «остановка» объявляется, кажется, только одна – для нашего брата: «Сан Марко»!

Мы выходим прямо под благословение дворца дождей, колонны льва Святого Марка, под сень торжественной башни с тем же львом наверху (как они перекликаются в европейской ночи – эти башни ратуш и парламентов как удерживающий свод законов), в неожиданный простор безупречной площади в неизменных вихрях голубей, тотчас набрасывающихся на каждого, кто протянет руку. Но уж до площади ли, когда рядом Сан Марко? Не архитектура, а скульптура глубокой и сильной лепки, будто ни одной прямой линии и плоскости – все в упругой подвижности, в натяжении и чудящемся насилии – не дать тебе успокоиться («главы ваша Господеви преклоните!» – только тут не Господеви, а воле и вычуре архитектора). Бог весть почему припомнился великий испанец Гауди. И всё движение устремлено внутрь, вглубь, в «лубок» собора – не дать тебе вырваться. Да ты и не хочешь вырваться. Ты уже сам весь там. Ты уже сам жадно подталкиваешь себя вперед.

Слава Богу, день почти без солнца. А то представить нельзя, как бы всё это пело, гремело, пылало – эти арки, купола, шпили, фрески, мозаики! Как хорошо, что мы приехали в декабре, что «Италия на ремонте», что мы видим её будний день, её рабочую обыденность, хотя она и в будни «работает Италией» – украшением мира.

Сколько раз я видел Сан Марко в кино, в альбомах. А вот ничего общего. Эта золотая старость непередаваема и как-то чудно рукотворна. Словно детский замок из песка... Но день-то мимолетен – скорее в собор!

...Темно, тускло, запылено, как на старых чердаках. Это почти везде и по всем соборам Италии. И даже в Венеции, где пыль может быть только вода-

ная. Тут-то и понимаешь, что такое пыль веков («и пыль веков от хартий отряхнув...»). Это время пропитывает стены, это носится над городами, странами, людьми земля границ и цивилизаций. Всякая революция, война, духовное потрясение возносит поколения, меняет столицы, передвигает пределы. И след этих потрясений таинственно оседает в тяжести стен и придает им очарование, тайна которого в том и есть, что мы касаемся материи истории и догадываемся, что страницы хроник под бегом букв полны плоти и тяжести. А уж венецианская зазорная история нанесла на свои площади этой пыли больше других. Да и одной ли пыли? Вон хоть кони на соборе – свои ли? Не константинопольской ли крови? Не горький ли след наших разделений, когда мы в пределах одной веры с молодой жадностью рвали молодое тело Византии в крестовых походах, когда и мощи святых не знали покоя, уносимые от мест упокоения как дорогие трофеи по чужим землям. Конечно, они уже принадлежали человечеству. Но как археологи берегут каждый камень на своем месте, потому что он только в «месте прописки» говорит с особенной полнотой, так, верно, и голос святых слышнее всего там, где вместе с ними говорят их земля, их небо, их воздух.

Мерцает, пробивает тьму времени золото невероятных мозаик, как бывало в константинопольской Софии, – вино и золото подвалов вечности. Алтарная преграда пуста. Икон нет. Только шествуют колонны, охраняя незримые образа, и венчают преграду Богоматерь с Иоанном у креста тёмного дерева (кипарис? кедр?) в торжественной охране 12 апостолов по сторонам. И пылает Мадонна Никопея, плаваясь в золоте фона и истаивая в нем, так что Богомладенец уже чуть читается и, когда бы не усилия реставраторов, исчез. Крестовидные светильники давно не вспоминают о свечах, день ото дня тяжелея от



воспоминаний о прежних сияниях. Восточные тюрбаны кафедр в золоте орнамента, лампы как золотые кувшины со змеиным горлом больше уже зовут Стамбул, чем Константинополь. Время течет и гнется, как отражение в волнах канала.

Наверное, об этом алтаре можно было написать роман. Даже если в романе не было бы ни слова о церкви, а был он просто о человеке посреди дня и страдания. И роман был бы тяжёл, как медовое золото, как закат над лагуной, как громоздкое *largo* Вагнера. И я хожу, мечусь между колоннами, впиваюсь в мозаики, пытаюсь прочесть их богословие, ведь в каждом храме и под каждой рукой они, даже и при одних и тех же сюжетах, ставятся в своем порядке, и этот порядок и обнаруживает свет веры или печаль усталости творящего их мастера. Сколько уже здесь «психологии» в «Тайной вечере», в её парадной стройности, в диалоге взглядов Петра и Спасителя по краям стола, так тонко подчеркивающего преемство первоапостола. Как изощрённо эффектен «Поцелуй Иуды» с покойно ироническим взглядом Спасителя, останавливающего Петра, урезающего рабу Малху ухо. И как печален Пилат, ещё пытающийся образумить Иерусалим: «Се Человек!». И как спокоен Христос в багрянице перед тем, как спуститься по той лестнице, которая через три столетия делается святой и переедет в Рим. Читал бы и читал сюжет за сюжетом, но уже товарищи зовут меня: хватит!

Да я и сам чувствую: хватит! Все во мне уже болит от этой непередаваемости, этой тяжкой (неотступное слово!) мерной поступи колонн, золотой вечности, слежавшегося времени стоячих утомлённых столетий. Эта плоть времени, эта медленная кровь веков уже грозит остановкой сердца. Здесь молитва смешалась с дыханием дней, с жестокостью кровавой молодости, дипломатией и коварством дождей, подвигами духа

и честолюбием пышности. Этот воздух застоялся, и его надо преодолевать, дышать через силу, вырываться из его вязкой власти.

Рим

22 декабря

Машина уже «у подъезда»: прего! И аванти! Я ещё мучаюсь, сидя рядом с представителем фирмы, от безъязыкости, а он уже торопится напоследок показать город: «Пьяцца република! Базилика...». Ну, это мы знаем, и я, опережая его: «Санта Мария дельи Анжели». Он: «браво, дотторе!». А уж впереди площадь Венеции, и я тычу пальцем: «Пьяцца Венециа!». Он: «Браво, дотторе!». А уж там прямая, как стрела, виа Серпенти, и мне хватает бесстыдства спросить: перке она серпенти? если она прямая, а серпенти – это змея, которая (и уж тут только жестами...). А он уже кричит, подозревая, что я всё понимаю: «Баста, дотторе», и весело пускается во что-то о змеях, не забывая показывать: а это церковь Петра и Павла. Господи, ничего не успеешь увидеть – ведь это отсюда их повели, Петра и Павла, – из Мамертинской темницы. И это здесь, как я помню из путеводителя, написано, что Павел якобы сказал Петру: «Да будет мир с тобою, основание Церкви и пастьрь всех овец Христовых».

И может быть, для этого мне и показывает эту церковь на дорогу добрый католик, чтобы я ещё раз уверился, что тут центр мира. Но я уже и не сержусь на это настойчивое самоутверждение, а только грущу, что всё, всё. Уже и не поспоришь. Баста, баста, дотторе! (а понравилось мне это обращение!). Простимся, добрый чичероне. Простимся лакримоза – пусть плачу только я.

Домой! Домой! Арриведерчи, Рома!

Псков – Рим – Псков.

Александр Молотков

Возможно ли христианское общество?

Казалось бы, странный вопрос. Христианство существует в истории уже две тысячи лет, и практически всё это время оно присутствует в мире именно как христианское общество, и даже (с эпохи Константина Великого) как христианская государственность. Христианским обществом в этом смысле была древняя Византия, средневековая католическая Европа, православная Русь до 1917 года. Наконец, современная протестантская Америка, 80% граждан которой считают себя христианами, – чем не христианское общество? В последнем примере уже чувствуется некоторый подвох, и несколько рассеянная мысль становится внимательней. Поэтому уточним вопрос: возможно ли подлинно христианское общество? И здесь мы понимаем всю глубину проблемы. Дело в том, что «подлинно христианского общества» в реальной истории никогда не существовало.

То, что именовалось христианским обществом в различные эпохи в рамках той или иной христианской государственности, всегда оставалось неким компромиссом между «миром» в его традиционных, наполненных грехом социальных формах, и тем идеалом человеческих отношений, к которому призывает евангельское Слово и христианская Церковь. В некотором смысле именно Церковь и является

подлинным христианским обществом, однако принципиальная отстраненность Церкви от общества (как «мира») делает её скорее идеальным сообществом, нежели воплощением подлинной социальной реальности. Более того, всякая попытка Церкви «преобразить» общество в христианском духе силой своей духовной власти (как это было в пору инквизиции или в протестантских республиках кальвинистов) всегда кончалась скорее обратным результатом. Даже православная Византия, при всей органичности церковно-государственной «симфонии», оставалась формой христианской государственности при нехристианских социальных отношениях (рабство, язычество и т.д.). Не означает ли это, что вопрос о христианском обществе остается по-прежнему открытой задачей истории?

Однако не слишком ли поздно об этом думать? Современный прагматичный мир уже давно сменил свою духовную ориентацию с христианской на либерально-потребительскую и явно увлечен иной задачей – строительством глобальной системы миропорядка, основанной на власти денег, а не на каких-то отвлеченных христианских ценностях. Христианство как идеологическое понятие уже не фигурирует в общественном сознании ни на уровне индивидуального поведения, ни

на уровне геополитических отношений. Уместно ли вообще ставить вопрос о христианском обществе в постхристианском мире?

Как ни парадоксально, но именно в данном контексте этот вопрос приобретает особый смысл. Именно в постхристианском мире проблема христианского общества становится предельно актуальной. Возможно ли продолжение христианской истории, или современный либеральный мир знаменует собой наступившую ночь христианства, когда уже «никто не может делать» (Ин. 9.4.)? Это поистине кардинальный выбор. Принятие второго (пессимистического) варианта ответа уводит «малый остаток» христианской Церкви в различные формы добровольной внутренней резервации, изолирующие «верных» от безнадежно погибающего мира. Первый же (оптимистический) вариант, наоборот, подразумевает мобилизацию христианского духа для утверждения его места в реальной истории. Именно этот вариант ответа приводит с неизбежностью к потребности в новом христианском обществе. Иных способов занять место в современном интенсивно унифицирующемся мире не существует. Ведь не рассматривать же всерьёз возможность «органичного» приспособления Церкви к постхристианскому миру под видом либеральной толерантности. Такая Церковь никому не нужна – ни обществу, ни истории, ни Богу: «ты... не горяч и не холоден, ...извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3.16).

Может быть, вопрос в такой кардинальной постановке вообще не имеет практического решения? В том смысле, что подлинный образ христианского общества мыслим лишь в рамках самой Церкви, и то скорее в идеальном измерении, нежели в эмпирической действительности? Так, даже локальная социальная практика отдельных церковных приходов, общин и монастырей никогда до конца не преодолевает принципиально деструктивное влияние греховной человеческой

природы. Может, не стоит и пытаться думать о христианском обществе в земной жизни, так как ничем, кроме очередной утопии, это не закончится? Идеал христианских отношений в таком понимании переносится в сферу надмирного и сакрального, а зримое поле человеческой социальности до конца времён остается обречённым на несовершенство.

Так что же делать в этой ситуации? Неужели христианское общество в своём подлинном качестве в этом мире невозможно?

Наш человеческий разум, видящий вокруг лишь перманентную социальную деградацию, кажется, готов согласиться с таким утверждением, однако наша вера решительно протестует. Неужели Спаситель принёс Свою крестную жертву, тысячи подвижников достигли пределов христианской святости, а сонмы мучеников пролили свою кровь только для того, чтобы мир остался таким, каков он есть? Нет и ещё раз нет! Христос пришёл спасти и преобразить мир, преодолеть и победить его греховное начало. В небесном плане Он это уже совершил – в реальном мире Он ждёт этого от человека. В этом и состоит задача христианской истории!

Преображение мира есть творческая Богочеловеческая задача. Бог не сам по себе преобразует мир, но через посредство человека, через сознательное принятие им Истины христианства в качестве определяющего жизненного императива. Такой новый человек самим фактом своего существования уже становится носителем новой социальности, первичным началом христианского общества. Именно в этом смысле христианское общество возможно! Новый человек духовно рождается во Христе через таинство Церкви, но эмпирически проявляет себя в обществе через актуализацию христианской добродетели. Последнее и означает преобразование социальных отношений, освобождение их от проявлений человеческого греха. И чем глубже проникает христианская Истина в социальную реаль-

ность общества, тем это общество становится внутренне более просветлённым, чистым и радостным. «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся», – говорил об этом пр. Серафим Саровский.

Однако это лишь одна сторона вопроса. Практическое осуществление подлинно христианской общественности в духовно непросветлённом мире подразумевает ещё один уровень организации, связанный с аккумуляцией свободной христианской добродетели в определенных социальных формах. Этот важнейший аспект, к сожалению, совершенно не учитывается современным церковным сознанием. Традиционная (наиболее распространённая) точка зрения состоит в том, что духовное преображение личности – это и есть залог христианского преображения общества. И, соответственно, все силы должны быть направлены на расширение духовно-пастырской деятельности Церкви по спасению, взращиванию и духовному исцелению отдельных «заблудших овец» стада Христова на всех уровнях социальной лестницы. Всё остальное – лишнее, точнее, приложится и совершится само собой. Другой, более широкий взгляд подсказывает, что, помимо индивидуально-личностного христианского оздоровления, в самом обществе на его макро-социальном уровне должна быть принята и утверждена особая христианская идеологическая матрица, непрерывно формирующая элементы этого общества в христианском духе. То есть христианская атмосфера должна культивироваться в обществе, а не только в Церкви. Так, как это фактически и происходило в древней православной Византии при Константине Великом, когда впервые в истории появилось христианское государство.

В своих надеждах на преображение России мы почему-то в основном ориентируемся на первый (внутрицерковный) вариант христианизации и совершенно упускаем второй. Затяжная позиционная борьба за введение «основ православной культуры» в школах – всего лишь робкая

попытка как-то подступиться к этим вопросам. Даже внутри себя мы как бы боимся, не решаемся требовать большего, заранее уступая абсолютному доминированию либерально-секулярных ценностей, – притом что до 80% процентов россиян так или иначе идентифицируют себя в качестве «православных». Именно в этом аспекте принцип «отделённости Церкви от государства», конституционно принятый на официальном уровне и «по умолчанию» подтверждённый церковным сообществом, служит сегодня незримым культурно-психологическим барьером, вообще исключая отстаивание христианской Истины в жизни общества. Необходимо перевернуть эту систему, перевести задачу о христианизации российского общества в иной масштаб, то есть бороться за полное доминирование христианских ценностей в сфере общественного сознания. Только тогда мы можем надеяться как-то изменить нынешнюю «нехристианскую» действительность: ибо «какой мерой мерите, такой и вам отмерено будет» (Мф.7.2).

В практическом социально-политическом плане это подразумевает не что иное, как утверждение новой христианской идеологии, способной сублимировать весь спектр христианских ожиданий в единой общественно значимой концептуальной форме. Не официальное назначение Православия «государственной религией» в виде декоративного национального атрибута, а фактическое утверждение христианских ценностей в качестве доминирующих общественно-идеологических приоритетов – вот что такое христианизация общества на макро-социальном уровне.

Подобный переход к новой макро-социальной христианской ориентации объективно назрел, о чем свидетельствует, в частности, тот исключительный резонанс, который сопровождал появление на экранах фильма арх. Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Византийский урок». Более того, именно появление это-

го фильма можно считать той поворотной точкой, когда российское общество впервые всерьёз задумалось о своей христианской (православной) идентичности. Задумалось о том, что присутствие Церкви является не просто неким духовным приложением (спасительным островом) в мирской стихии, а накладывает на общество определённую и очень значительную ответственность – соответствовать тем идеалам христианской социальности, которые провозглашены и присутствуют в Церкви.

Нынешнее российское общество только начинает осознавать масштабность идеологических горизонтов и во многом ещё не готово к практическому решению новых задач, оставаясь в рамках традиционных подходов. Так, ближайшее решение всего комплекса проблем, связанных с христианской идентификацией России, для традиционного православного сознания ассоциируется с восстановлением православной монархии как самого распространённого и проверенного временем способа существования христианского общества в истории. Подразумевается, что стремление к этому идеалу в практике государственной самоорганизации почти автоматически обеспечит осуществление всех христианских чаяний: ибо православный монарх как «помазанник Божий» олицетворяет собой централизацию всей социально-политической, культурной и экономической жизни общества в соответствии с высшими христианскими целями. Данная точка зрения зачастую даже не подлежит обсуждению: православный – значит монархист!

При всей формальной убедительности эта позиция страдает одним, казалось бы, незначительным, но принципиальным недостатком. Она не учитывает необратимости и непрерывности исторического процесса. Никому не дано войти в одну реку дважды. При таком подходе как бы не замечается дистанция, образовавшаяся между данным идеалом христианской государственности и реальным развитием

русской истории в XX веке. Считается, что эта история (советский период) несущественна для новой христианской идентификации России и её можно просто «опустить» как ошибочный, ложный и чуждый русскому духу эксперимент неких промасонских антихристианских сил.

Очевидно, это грубая ошибка дискурса. Опираясь на идеальное (часто идеализированное) прошлое, монархическое сознание пытается моделировать ещё более идеальное будущее. При этом настоящее, единственная историческая реальность, полностью игнорируется как случайное недоразумение. В итоге исчезает эмпирическая опора, и христианская мысль безнадежно зависает в области историософских мечтаний. Если мы хотим действительного христианского возрождения России, то должны ориентировать себя прямо противоположным образом: опираясь на фактическую данность настоящего, переосмысливать значение прошлого, и уже на совместной основе того и другого строить практическую стратегию будущего. Отвлечённые же от конкретной исторической ситуации проекции будущего остаются лишь формой мечтания и самообмана, отражающей общую социально-политическую инфантильность современного православного сознания. Задача моделирования будущего имеет значительно более сложную и неоднозначную исходную конфигурацию, включающую в себя всю полноту и противоречивость национального прошлого, в первую очередь ближайшего, – историческую данность XX века в её ярко выраженной социалистической интерпретации. Вот что необходимо понять в первую очередь. Только когда мы осознаем единый контекст русской истории, для нас может открыться будущее.

Здесь заключается главный методологический провал современной церковно-православной политической позиции. Если мы выкидываем недавний социалистический этап русской истории как неудавшийся, то просто не можем попасть в

реальную историю, чтобы как-то привязать к ней наши ожидания и установки. Мы оказываемся «вне истории» и уже не способны адекватно оценить ее направленность. Современное российское общество продолжает свободное падение в бездну либеральной апостасии, а растерянное христианское сознание остаётся беспомощным наблюдателем откровенной социально-нравственной деградации. У него нет никаких реальных точек опоры и, тем более, рычагов управления для изменения этой губительной динамики. Реальную стратегию будущего России («до 2020 года») продолжает определять сомнительная компания либеральных прагматиков (по совместительству – агентов глобализма), не имеющих к национальному прошлому (ни монархическому, ни советскому) никакого идеологического интереса. И чем дальше мы отходим от подлинных (еще видимых) берегов своей недавней истории, тем бесформенней и абсурдней становится российская действительность. Еще немного, и мы уже никогда не сможем «вернуться домой». Залхватские лозунги типа «Вперед, Россия!», с упоением провозглашаемые кремлёвскими политтехнологами, выглядят в этом контексте как циничная провокация.

Итак, какую же Россию мы потеряли в начале 1990-х? Каков тот камень, «который отвергли строители» и на котором Россия вновь может восстановить своё твёрдое историческое основание? Если сказать одним словом – это социализм! Это и есть та подлинная сущность русской истории XX века, которая никак не может быть выплеснута вместе с мутными водами очередной исторической трансформации. Эта тот подлинный плод русской истории, который уже не отчуждаем от неё, но, наоборот, является залогом её будущего. Принципиально то, что социализм перешел в XXI век не в эмпирическом, а в идеальном качестве, оказавшись потенциально открытым новому национально-историческому синтезу.

Здесь мы не уклоняемся от основной темы данной статьи, но, наоборот, подходим к её основной идее. Суть её в следующем. Если Россия как традиционно христианское государство реализовала в своей истории фундаментальный опыт реального социализма, то это отнюдь не является историческим недоразумением или отрицанием всей её предыдущей истории, наоборот – становится качественно новой ступенью раскрытия в истории её христианской сущности. Православие и социализм отныне имманентны русской истории, и задача национального самосознания – актуализировать это внутреннее единство. Это именно тот «оптимистический» вариант историософского дискурса, который не отрицает собственную историю в убогом догматизме тех или иных подходов, но, наоборот, ОПРАВДЫВАЕТ её, открывая тем самым горизонты будущего. Следует сказать, что социализм как социально-исторический феномен не ограничен лишь рамками идеологии «марксизма-ленинизма» или экономической практикой XX века, а имеет глубокую духовно-историческую ретроспективу, изначально освящённую евангельским словом: сама Церковь Христова родилась именно как коммуна (иерусалимская община), где «все верующие были вместе, и имели всё общее; и продавали имения и всякую собственность и раздавали всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2.4.). Так что не будем свысока судить русскую историю XX века, вынося ей бесконечные и бесплодные обвинительные приговоры, а постараемся понять её внутренний смысл в позитивном контексте будущего. Здесь воистину есть о чём поразмыслить. В синтезе социализма и православия замыкаются не только противоречия русской истории XX века, но и самой христианской истории, вновь получающей шанс обратиться к задаче о подлинно христианском обществе. Духовно-нравственная природа социализма несёт в себе изначальный христианский потенциал и ожидает его дальнейшего

раскрытия. Очевидно, лишь в этом направлении осталась христианская перспектива. Либерально-буржуазное царство мамоны абсолютно исключает такие надежды.

Поэтому исключительно близорукой и исторически деструктивной представляется позиция безоглядного отрицания советской эпохи со стороны современного православного сознания. Не уничтожаем ли мы на корню своё будущее, втаптывая в грязь национальное прошлое? Фактически именно в русле этой отрицательной парадигмы мы уже двадцать лет движемся в никуда! Пора, наконец, остановиться и понять гибельность подобной стратегии. Она на руку лишь тем, кто как раз и мечтает увести Россию от её подлинной национально-исторической идентичности как можно дальше. Именно отрицание советского социализма нынешней откровенно прозападной элитой и парадоксально единой с ней в этом православно-церковной общественностью делает нынешнее «возрождение России» исторически бессмысленным и заведомо обречённым. Капиталистический «выбор», навязанный обществу агентами глобализации в качестве безальтернативной стратегии будущего – вопиющая ложь нашего времени! На фундаменте этой лжи никакое христианское возрождение невозможно.

И наоборот, новая социалистическая стратегия России (христианское социальное государство) способна открыть поистине неисчерпаемые резервы преображения общества. Социализм не противоречит, а во многом соответствует в своей внутренней сущности подлинным христианским началам. Наши религиозные философы (Н. Бердяев, С. Булгаков, Г. Федотов и др.) неоднократно это подчеркивали и считали, что «христианский социализм» вполне возможен, более того – нам его не миновать (о. С. Булгаков). Нынешний глубочайший кризис русской истории по существу и означает необходимость подобного христианско-социалистического выбора. Такова неумолимая диалектика рус-

ской идеи, парадоксально раскрывающей себя через ступени кризиса. Проблема лишь в том, что интенсивная пропагандистская машина либеральных СМИ, предельно демонизировавшая советское прошлое, и общая склонность обыденного сознания к шаблонному восприятию истории мешают увидеть данную перспективу переустройства общества.

Если обыденному сознанию, равнодушному к поиску истинной социальности, простительна подобная беспечность, то ответственное христианское сознание не имеет на это права. В условиях искусственной деструкции именно православное сообщество должно научиться мыслить самостоятельно и адекватно, умело отделяя зёрна от плевел в оценке великого наследия советской цивилизации. Достижения той эпохи в области образования, науки, культуры, социального строительства неоспоримы, и нам ли, находящимся в состоянии прогрессирующего разложения всех сторон государственного бытия, смотреть свысока на былое национально-историческое величие? Если мы выбросим на свалку истории жертвенный подвиг нескольких поколений русских людей, то нам просто не на чем будет строить российскую государственность XXI века. Мы не будем иметь для этого никаких оснований: ни моральных, ни социально-экономических, ни культурно-исторических. Пора утверждать, а не отрицать собственную историю! Реабилитация культурной, социально-экономической и духовно-нравственной правды социализма с позиций христианского сознания должна положить начало этому целительному процессу. Именно в этом действительное (а не формальное) примирение русской истории XX века, диалектическое исчерпание её центрального идеологического конфликта. Только за этим рубежом для нас может начаться подлинно обновленная христианская история России.

Великие Луки.

Максим Бабко

ВИТЁК

Студент третьего курса тщедушный Лёша Пуговкин боялся идти в милицию. Домой идти он тоже боялся и оттого глубоко себя презирал. Но идти было надо. В пакете лежала бутылка водки "Флагман". Шатаясь, Лёша поднялся по лестнице, дрожащими руками достал ключ и только с четвёртой попытки попал в замочную скважину.

"Убью гада, – думал он, – не выдержу и убью!"

На кухне за столом сидел в чёрной рубашке его сосед по квартире Витя, он же Витёк, он же Виктор Петрович – высокий мужик лет тридцати. Крепко сбитый, коротко стриженный, он лихо тасовал колоду пластиковых карт. Хозяйка в квартире не жила, сдала ее двоим, один из которых сейчас испытывал панический ужас.

– Кхе-кхе... Виктор Пе-Петрович, – проблеял Лёша, – я пришёл...

– А? Ну заходи, что стоишь!

Лёша осторожно подошёл к столу и достал бутылку.

– Ты чего принёс?! – Возникла напряжённая пауза, во время которой Виктор Петрович накапливал гнев. – Ты чего принёс, я спрашиваю?!

– В-водку.

– Это что, водка? Это поило!

– Но... но ведь я, – бормотал Лёша, – проиграл только двести рублей, я и купил на двести...

– Садись. – Витёк внезапно успокоился. – Будешь проигрывать дальше.

– Виктор Петрович, может, потом? У меня завтра экзамен...

– Какой ты, однако, умный! Значит, ты будешь готовиться к экзамену, а я жрать отраву? Так, что ли?

– Ну... ну...

– Садись играть! – гаркнул Витёк. – А не "ну-ну!"

Лёша послушно опустил на табуретку.

Играли в очко. При первой встрече Витёк как бы невзначай спросил:

– Умеешь?

– Нет.

– Садись, научу.

Тогда Витёк ещё не приказывал, и Лёша, не желавший обижать нового знакомого, сел за карты.

– По сколько ставим? – сразу спросил сосед.

– Но ведь я только учусь, – заискивающе улыбнулся Лёша, – давайте пока просто так, без ставок.

– Запомни, пацан: в очко просто так не играют. Но, учитывая, что ты только учишься, давай по 50 копеек.

В первые два часа учёбы Лёша проиграл сто двадцать рублей...

А сейчас Витёк уже ставил пятьсот.

– Обыграю тебя сразу, чтоб коту за хвост не тянуть.

– Но у меня нет таких денег, – пролепетал Лёша. Это была правда – мамина пенсия оказалась небеспредельной.

– И что ты предлагаешь?

– Я... я заработаю после экзамена... и мы сыграем...

– А много зарабатываешь?

– Наверное.

Витёк собрал карты.

– Ладно, проваливай.

Лёша направился к выходу.

– Хотя нет, стой. Садись, выпьешь.

Лёша выпил, с трудом сдерживая позыв на рвоту. Он не привык к спиртному.

– А теперь проваливай, иди учи уроки.

Сидя за письменным столом, Лёша, тщетно пытался вникнуть в политический курс СССР после 58 года. Хотя он с детства любил историю – она давала возможность уйти от несовершенного мира, в последние дни несовершенный мир был слишком агрессивен. На кухне слышались шаги. "Не сидится придурку. И куда только смотрит наша милиция?" Шаги тем временем приблизились, и через секунду в комнату ввалился пьяный Витёк. Сейчас он уже пребывал в благодушном настроении.

– Учишься? Молодец! Чё ты там учишь, дай посмотреть! Внешняя политика, не фи́га себе!

– Виктор Петрович, – молил Лёша, – Виктор Петрович...

– Да не, мне просто интересно. А знаешь, кто ты такой?.. Ты овца! А я тигра. У-у-у!

– Витёк растопырил пальцы.

"Козёл ты, а не тигра", – думал Лёша, чуть не плача от обиды.

– Нет, в натуре, я вспомнил, кого ты мне напоминаешь! Киселя. Точно, Кисель!

– Что?

– Кореш у меня был в детском садике – Кисель Ваня. Я ему говорю: "Давай в казков-разбойников", а он: "Му, меня мама ругать будет, му, мне домой пора". Урод! Я его схватил: "Играй, а не то трусы сниму!" Так он, дурак, заорал, брыкаться начал. И вот всегда так с ним приходилось мучиться! Так, а я не понял, – спросил Витёк без всякого перехода, – чего ты там учишь?

– Виктор Петрович, может, не надо?

– Давай отвечай! – прогремел Витёк. – Я тоже хочу знать!

Минут десять Лёша, как мог, излагал внешнюю политику СССР.

– Ладно, забей, – отмахнулся наконец Витёк и подошёл к книжной полке. – Это ты всё читал, да?

– Угу.

– А это кто? – Витёк взял с полки фотографию красивой девушки и бесцеремонно стал её разглядывать.

Лёшу охватил жар, ему не хватало воздуха.

– Это Таня, – выдавил он.

Но Виктора Петровича, похоже, Таня не заинтересовала, и он вернул её на место.

– Никогда не мог понять, – сказал, зевая, – зачем людям нужны бабы. Зачем она тебе, а?

– Это моя девушка.

– Я вижу, что не жираф. Но запомни, вот от таких девушек всё зло в мире. Я баб к себе близко никогда не подпускал. Я с ними даже не разговаривал. Чё говорить-то?

– Вы просто никогда не любили, – робко возразил Лёша.

– А! – отмахнулся Витёк. – Вся любовь – это сюськи-пуськи. Вот у пацанов дружба – это да, это навек, а бабы – потаскухи...

– Неправда. Они ждут, – возразил Лёша. И хотя женщины его больше обманывали, нежели ждали, он решил защищать их до конца. Он тянулся к ним как к недостижимому идеалу.

– Кого они ждут? – засмеялся Витёк. – Тебя, что ли? Их кто педрит, того они и ждут!

– Вы просто грубый... – начал Лёша и, испугавшись своей храбрости, растерянно замолчал.

– Ну, ну, договаривай!

– ...и злой!

– А это заява серьёзная, это обосновать надо. Так почему это я не добрый?

– Добрый человек не отбирал бы деньги.

– Так ты сам их проигрываешь! Я к тебе – чё? С ножом пристаю? Не хочешь – не играй, другого найду.

– Мне просто не хочется ссориться с соседом, то есть с вами, я думаю о людях, а вы нет.

– Да ты ссышь просто, вот и всё твоё думанье! А если бы ты думал, то подумал бы, приятно ли мне жить с ссыкуном?

– А что я могу сделать? Вы же сильнее.

Вместо ответа Витёк со всей силой заехал кулаком по Лёшиной спине.

– Для начала плечи расправь! Сидишь сутулый!

Лёша вытянулся в струнку. Об экзамене он уже не думал.

– Вот так. И подбородок подыми! – продолжал греметь Витёк. – Куда ты там смотришь? Смотри на меня! Открой рот!

– Что?

– Покажи зубы!

Лёша повиновался.

– Почему не чистил?!

– Я чи-чистил.

– Не вижу! У тебя что, зубной пасты нет?

– Дак... эээ... то..

Витёк достал из кармана деньги.

– Вот тридцать рублей, купишь завтра зубную пасту. Я вижу, пора заняться твоим воспитанием. Когда у тебя экзамен?

– У-утром.

– После экзамена пойдём в парикмахерскую, стрижку нормальную сделаем. А сейчас учись!

Витёк, хлопнув дверью, вышел.

На следующий день, сдав с горем пополам зачёт, Лёша отправился с Витьком стричься. Пришлось расстаться с пышной волнистой шевелюрой. Посмотрев в зеркало, Лёша увидел бритого лопухого ээка.

– Вот, – торжественно сказал Витёк, – хоть на человека стал похож. А теперь идём в парк – надо освежиться.

На улице было жарко, рубашки липли к телу, и Витёк, расщедрившись, купил Лёше мороженное. Сам он потягивал пиво "Хайнекен". Периодически Лёша начинал сутулиться, но удар по спине быстро его выпрямлял.

– И голову, – наставлял Витёк. – Не забывай подымать голову, смотри вперёд, а не под ноги. Вот, хорошо! А сейчас отойди в сторону, вернись и попроси у меня закурить.

Витёк, присев на скамейку, достал сигаретную пачку.

– Иди, иди, что стал? И убери эту дебильную улыбку, она меня раздражает!

Лёша отошёл в сторону. Он честно пытался вспомнить все боевики, чтоб почерпнуть в них пример для подражания, но в голове всплывал только образ американского Рэмбо. Его-то, грозно направившись к Витьку, Лёша и попытался изобразить.

– Стоп! – заорал Витёк. – Я не понял, это что за зоопарк?

– Ну, это так, чтоб страшнее было, а что, не страшно?

– Давай заново и без самодеятельности.

Попытки следовали одна за другой.

– Плечи! Следи за плечами!

– Ноги ровно! Ты что, обезьяна?

– Подбородок! Выше подбородок!..

– Ну как? – робко спросил Лёша после тридцатой попытки.

– Ладно, для начала сойдёт. Теперь проси сигарету. Ну!

– Закурить есть? – пробасил Лёша как можно грубее.

– Это что за гундёр?

– Ну, у меня никогда не получится...

– Получится, – твёрдо сказал Витёк. – Ты просто переигрываешь, и сразу видно, что ты сявка. А ты не угрожай, ты будь уверен, что своё получишь, зачем тогда угрожать? Ставь человека перед фактом: ты пришёл за сигаретой, и ты её возьмёшь. Всё! Человеку деваться некуда – он подавлен! Давай заново.

На следующий день занятия продолжились.

– Никогда не уступай дорогу, – наставлял Витёк. – На тебя амбал прёт, а ты не сворачивай – голову выше, грудь вперед! И все. Он сам увернётся. Запомни: люди боятся не силы, люди боятся уверенности. Это такой закон, и ты живи по нему, понимаешь? Силе человек ещё может сопротивляться, а против закона не попрёт!

Через несколько дней Лёша заметил, что девушки начинают ему улыбаться, а парни уважительно обходят стороной. Особое удовольствие теперь доставляло стрелять сигареты. Стоило подойти к любой компании, и все сразу услужливо протягивали свои пачки. И хотя Лёша не курил, этот процесс ему безумно нравился. А Таня, девушка с фотографии, отношения с которой в последнее время не ладилась, резко изменила своё к нему отношение – стала чаще звонить, предлагала встретиться. Но Лёшу уже не тянуло к Тане, его тянуло к Витьку. Ведь у него никогда не было друзей. В классе над Лёшей все издевались, иногда жестоко били, и он, плача, жаловался маме. Но после приходов мамы в школу Лёшу били ещё сильнее. Тогда он перестал жаловаться и только заискивающе улыбался. А вот сейчас Витёк перевернул его жизнь.

В карты больше не играли. Время проводили на свежем воздухе. Правда, Витёк, преподав с десятков уроков, стал охладевать к занятиям и всё реже появлялся дома. Чем он занимался, Лёша не знал, скучал в его отсутствие.

Однажды Витька не было двое суток, а на третьи пришли сотрудники уголовного розыска с понятыми.

– Забелин Виктор Петрович тут проживает?

– Да.

– Войти можно?

После стандартных вопросов усатый капитан сообщил, что Забелин Виктор Петрович сегодня ночью задержан с поличным и комната его подлежит обыску.

– Вот ордер.

– Как – задержан? – растерялся Лёша. – Не может быть!

– А почему это вас так взволновало?

– Просто... просто он был хорошим соседом, – ответил Лёша уверенно. А потом ещё уверенней добавил:

– И другом.

– Хорошие у тебя, парень, друзья. – Тон капитана переменился. – Может, заодно расскажешь, что ты делал сегодня ночью?

Но Лёша уже пришёл в себя:

– Это что, допрос?

– Нет, пока просто интересуюсь.

– А я пока просто не желаю отвечать!

– Ну, ну.

"Эх, Витя, Витя, – думал Лёша после ухода милиционеров, – не помог тебе твой закон".

Он прошёл на кухню, открыл буфет и стал разбирать продукты. Чай, макароны, сахар. В тюрьме, наверное, это нужно. Но как-то неудобно было идти к Витьку без сладкого. Надо купить что-то к чаю.

И, взяв последние деньги, отправился в булочную.

ДЕРЕВНЯ

Я давно мечтал попасть на конференцию писателей. Серьёзную, плодотворную. Ясно представлял вспышки фотокамер, журналистов, и все они меня о чём-то спрашивают, спрашивают, а я что-то отвечаю, отвечаю... Но вместо этого я узнаю, что на форум писателей в Москву пригласили нашего редактора Рому, а меня снова оставили сидеть дома. Хотя сколько я слал заявок, сколько писал писем, убедительно в них доказывая, что лучший писатель современности – это я. А Рома ничего не писал, только повести свои строчил, и его, понимаешь, взяли! И у него ещё хватило наглости мне позвонить и похвастаться:

– Представляешь, Максим, там будут редакторы всех литературных журналов, они будут искать таланты, это выход на совершенно новый уровень!

Подумаешь, выход! Кому нужны твои литературные журналы, их всё равно никто не читает! (Но опубликоваться в них почему-то – хочется.) Короче, мне с Ромой даже дружить расхотелось. Хорош друг! Бросил меня в этом Питерском болоте и умотал в Москву. Я ему ещё покажу!

Правда, я не знал, что показывать. Спасение пришло неожиданно – мне позвонила родная тётя Лена. Обычно она звонит, если ей не на кого орать, а тут такая довольная...

– Максим, я только что из деревни (у неё там дача), так хорошо отдохнула, но главное – я подарила всем твою книгу, и всем очень понравилось!

Вот это была новость! Про деревню я писал давно, по чужим материалам, так как сам в деревне ни разу не был, потом давал тётке на просмотр.

– Максим, – продолжала верещать она, – пора тебе своих героев увидеть воочию. Что в городе киснуть, всё равно ничего не делаешь, а там отдохнёшь, народ просветишь. Зоотехник Коля парень начитанный – тебе, наверное, с ним будет интересно. Ты только с егерем Барановым не общайся – страшный алкоголик и вообще бандит!

Слова тётки словно бальзам ложились на мои литературные раны. Пускай Рома едет в Москву к своим зачуханным интеллигентам, меня зато народ читать будет! Да! Я сам организую форум. Найду настоящих талантов, а не горе-профессионалов, высасывающих из пальца бездарные сюжеты. Всё! Еду в деревню. Это будет сенсация. Я уже вижу передовицу в "Литературной газете":

"Ещё вчера название Большие Хрипуны мало о чём говорило нашему читателю. Но всё изменилось с приездом в захолустную деревню Бабко Максима. В короткие сроки он собрал местных энтузиастов, организовал с ними литературную работу, и вот уже сам Никита Михалков едет в Хрипуны на поиски сценаристов для своего нового фильма..."

Дойдя до этого места, Рома, наверное, умрёт от зависти. Станет за мной бегать:

– Максим, возьми меня в Большие Хрипуны.

А я ему:

– Поздно, Рома, поздно, сиди в своей отсталой Москве!

Всё сложилось удачно – я купил билет, тётка мне дала ключ от своего дома, и через два дня, холодным октябрьским утром, я впервые ступил на деревенскую землю.

Вступление мне ужасно понравилось. Хотя нельзя сказать, что Хрипуны отличались какой-то необычайной красотой, или что встретили меня там хлебом-солью. Нет, никто меня не встретил, но сама обстановка – сосновый лес в тумане, дома, покрытые не шифером, а какими-то деревяшками, дорожки вместо улиц, речка быстрая и широкая – всё это рождало новые ощущения. Да и дача у тётки совсем не дача, а старая изба с лавками, с огромной печкой. В углу валялась допотопная то ли прятка, то ли вязалка – ну, штука такая с резными узорчиками.

Завтракал я лапшой "Доширак", в приподнятом настроении. После чего отправился на поиск молодых талантов. Первый талант, лет пятидесяти, мне попался сразу – он лежал в траве вдрызг пьяный, размахивал руками и материл воображаемого противника. Наверное, это был Баранов. Я не решился с ним заговорить, обошёл стороной и взял в оборот двух парней, сидящих на скамейке у симпатичного домика с наличниками. Первый парень, рыжий, в бандане, уже клевал носом, второй, в кепке и потёртой кожаной куртке, ехидно улыбался, и по его взгляду казалось, что он всё обо всех знает. Я подошёл ближе.

– Мужики! Курить есть?

– А ты кто?

– Максим Бабко! – ответил я уверенно, так как со слов тётки заключил, что моё имя уже всем известно.

Но улыбка парня в кепке не стала шире, а, наоборот, скукожилась.

– А что тебе, Максим Бабко, тут надо?

– Я Колю ищу.

– Колян! – Он толкнул рыжего в бок. – Тебя!

– М... мы – ответил Колян.

– Извини, братан, он недоступен.

– Совсем, что ли? Ведь я Максим Бабко, и у него моя книга!

– А-а! – На измятом лице парня в кепке снова появилась всезнающая улыбка. – Мак! Бабко! Писатель! Блин, конечно, это ты! – И он протянул костлявую руку: – Серёга!

У меня отлегло от сердца. Я присел рядом, и эти ребята мне почему-то показались дико талантливыми. Ну не мог я съехать со своего романтического настроения и, повинувшись ему, спросил:

– А вы, Сергей, что-нибудь пишете?

– Ну ты, Макс, даёшь! Ты в деревне когда-нибудь жил? Тут, блин, огород, тут дрова, тут тебе не город! Когда писать-то?!

Я смутился и поспешил загладить свою вину тактичным вопросом:

– А что, жить в деревне очень тяжело?

– Конечно, тяжело! Правда, Колян?

На этот раз Колян даже не мукнул.

– Была бы тут ещё земля нормальная, – продолжал Серёга. – Внизу у речки – там нормальная, а ты подымись к нам – сплошная сушь, и картошка вся в фитофторе!

Наверное, эта фитофтора – страшная штука, раз так отравляет жизнь, подумал я и сразу за это ухватился:

– Так вы напишите о деревне, о тяжелой жизни, от своего лица, от лица народа!

Моё предложение энтузиазма не вызвало – улыбка снова погасла.

– Блин! Это, может, вам нравится над нами издеваться, а меня, знаешь, от этого как-то... Вот отгадай с трёх раз, чего нам больше всего хочется?

– Ну-у.. Не знаю. Ну, наверное, чтоб зарплату в колхозе повысили...

– Дурак! Нам свалить отсюда хочется. И не читать всякую хрень. Я понимаю ещё, книги, которые читает Колян, а ты про что пишешь? про фитофтору?

– Почему про фитофтору? Я даже не знаю, что это такое.

– Тем более, что ты тогда вообще можешь знать!

При этих словах моя любовь к деревенским талантам стала слабеть, но я ещё пытался сопротивляться.

– Так вам же моя книга понравилась!

Однако моя тупость Серёгу только раздражила.

– Ты сам-то вообще хоть что-то читал? Ну, кроме Пушкина или Лермонтова, что-то современное?

– Например?

– Ну вот последняя книга, бляха муха, такое мясо, – Колян мне давал... Как же она называется...

– Значит, моя книжка не понравилась? – резко перебил я.

– Откуда я знаю!

При этих словах любовь угасла окончательно. Я даже сам удивился, как в одну секунду схлынула волна восторгов и такая ненависть появилась!.. Я-то писал книгу о бедных крестьянах, в поте лица добывающих хлеб свой. Я даже в школе, когда мы, мелкие, издевались над Некрасовым, никогда не принимал в этом участия, не рисовал крестьянским детям рогов с сигаретами, мне жалко их было. И пусть я не знал деревни, но писал искренне. А сейчас я бы этого Некрасова убил. Нашёл кого воспевать, тупица! Сам, небось, алкаш был. Роме этому хорошо – он в Москве с умными людьми общается, а я тут – с хрипуновцами.

– Нет, – продолжал Серёга, – я, вообще, люблю мистику, это круто, знаешь, когда мертвецы на кладбище встают, ну или там... В общем, ты понял. Правда, Чапай?

Сергей уже обращался к мужику, которого качало, словно корабль посреди бурного океана, и скамейка была тихой гаванью, на которую он держал курс. Однако, не дойдя пары метров, рухнул на землю.

– Когда-а б имел злать-ы-ые горы!.. – загнусавил Чапай.

– У вас что, сегодня праздник? – дерзко спросил я.

Приезд

– У нас горе, о праздниках мы только мечтаем.

"Да, тётя у меня, похоже, идиотка", – думал я, возвращаясь домой. Смотрел под ноги, на Хрипуны смотреть не хотелось.

– Что, выгнали? – Над ухом послышался резкий и насмешливый голос.

Я поднял голову и увидел мужика со слипшимися волосами, обросшего щетиной. Его острый нос покрывала ярко-красная венозная сеточка. И что удивительно – мужик был абсолютно трезвый, первый трезвый за весь день.

– Кого выгнали?

– Тебя!

– Я сам ушёл. А вы кто?

– Я егерь.

– Баранов?

– Баранов. Откуда знаешь?

– А почему не пьяный?

Егерь засмеялся.

– Меня зовут Миша. Пойдем посидим.

– Куда?

– Но ты же писатель, а я тоже стихи раньше писал.

– Ладно, – буркнул я, – читайте ваши стихи.

– Что-то, я смотрю, не тянет тебя общаться. – Он развернулся и пошёл дальше.

Мне стало неловко. Наверное, восторженность не до конца ещё выветрилась из моей головы, хотелось её на кого-то излить, потому что я бросился вдогонку за Мишей.

– Извините. Я тоже люблю стихи. Я тоже их писал в детстве. Хотите, могу даже прочитать.

Егерь остановился.

– Но мои стихи городские, – почему-то оправдывался я, – там про любовь, я прочту... Сейчас...

Баранов приготовился слушать. Я волновался.

И окна дворов смотрят дырками

У дверки твоей на стене,

Кирпичиком красным начифкано:

"Алиса", "Кино", "ДДТ".

– А что? – заявил Баранов. – Неплохо. Я знаю "ДДТ", там Шевчук поёт.

Внезапно я испытал прилив необузданной нежности к этому егерю, мне так хотелось хоть на что-то опереться в этих бездарных Хрипунах, что рука моя на автомате потянулась к кошельку:

– Где тут у вас ближайший магазин?

Через полчаса я сидел в егерской хижине, сбитой из шпал. Стол с дешёвой клеёнкой, крохотное окошко, на полу гайки, тряпки и ещё чёрт знает что. Закусывали хлебом. Пили из стаканов.

– Я, вообще, не местный, – начал Миша после первых ста грамм, – из Яковлева. Я с отцом сюда первый раз приехал, когда мне десять лет было. И весна ещё была... Вышли мы на берег, луг с той стороны весь затопило, а с нашей вода до Бойцовского дома дошла, и мне вдруг захотелось сесть в лодку и поплыть куда-то далеко-далеко... Знаешь, бывают в жизни моменты, когда понимаешь, что всё, что было до этого, не то... Это как перелом, и я хоть мал был, а понял – жить нужно тут... Давай по второй.

Мы выпили.

– Так, а что ж это, ну... – Я хотел спросить, как случилось, что мечты про дальнейшее плавание получили такое убогое продолжение, но вместо этого только почесал затылок.

Однако Миша оказался догадлив.

– Что? Не нравится, как я живу? Мне тоже не нравится, а что делать? Давай по третьей.

Миша крикнул, почти не закусил. Без умолку он не болтал, говорил отрывистыми порциями.

– Ну что? Теперь стихи?

– А про любовь есть?

– Не знаю... Я, наверное, неправильно понимаю любовь, хотя одному очень хреново.

– Почему одному? Вокруг люди...

– Где ты их видел? Где? Это что, люди? – Водка егеря распалила, он стал злее и резче, но меня его ненависть к Хрипунам только радовала, а Миша, чтоб радость была ещё полнее, стукнул кулаком по столу:

– Это уроды! Я скоро возьму ружьё, выйду и всех тут перестреляю! Так что приезжай, Максим, ко мне, поживёшь тут зиму, такую книгу напишешь – во!

– Спасибо, – деликатно ответил я.

– Приезжай! А сейчас – стихи.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Потому, что я с севера, что ли,

Я готов рассказать тебе поле,

Про волнистую рожь при луне...

– Так это же Есенин! – перебил я.

– Ну да! – подтвердил егерь. – Есенин. – И с воинственной претензией, словно я его в чём-то обвиняю, добавил: – Ну не могу я писать! Выгорело что-то внутри! Пусто!

– Хорошо, – покорно согласился я. – Не можете так не можете.

– Нет, в молодости я писал!

– Так вспомните.

– Во! – Миша скрутил кукиш и поднёс к моему носу.

Правда, потом он смягчился, но я к тому времени окончательно потерял способность что-либо воспринимать и слышал только обрывки фраз. Страстные и вдохновенные, они приковывали меня к себе, не давая упасть на пол. Одно четверостишие я даже умудрился запомнить:

Что в небо глядишь так долго?

И в синих глазах тоска?

Знать, осень крадёт волком

И снова зовёт тебя.

Уйду я лесной тропой...

– А дальше что-то ля-ля – ля-ля... дальше не пошло. – Миша развёл руками. Но мне уже было достаточно, я уже давно был потрясён.

Принесла

– Это вы написали?

– Я. – Он принял вальяжный вид.

– Нет, серьёзно?

– Тебе понравилось?

– Ещё бы! Давайте читать! Давайте устроим конференцию!

– Давай. – Миша потянулся за второй бутылкой. – Будем считать конференцию открытой!

Дальнейшее я помню смутно. Помню рассказ про пожар, помню, что сосны горели как спички. А ещё Миша сказал, что я ему как сын, и пел песню про журавлей.

Утром я очнулся в каком-то заброшенном сарае и долгое время не мог понять, а был ли вообще Баранов, была ли его хижина. Сначала даже не мог сообразить, где тётин дом. Но всё было на месте. Только Баранов, протрезвев, о стихах не вспоминал и с каждым днём становился всё злее.

Через неделю я вернулся домой. И уже не завидовал Роме, хотя не считал, что моя конференция удалась. Наша литературная жизнь мне вдруг показалась невыносимо скучной, и вместо того чтоб думать о литобъединениях, я думал о каких-то журавлях, о волках и пожаре. Лезла всякая ерунда в голову, и писать почему-то не хотелось. Я понял, что всё, что мы ни напишем, – это всегда будет какая-то большая неправда. Что я никогда не смогу выразить тоску егеря правильно. Никто из писателей этого не сможет. И поэтому, когда Рома вернулся из Москвы и восторженно рассказывал о форуме, я слушал его, как взрослый человек, познавший жизнь, слушает несмышленного младенца.

Петергоф.



Игорь Корниенко

КАК ГОРБАТОГО МОГИЛА ИСПРАВИЛА

Дико, конечно, но так всё оно и было. Дикость – девиз сегодняшней жизни. Без неё ничего не происходит. Всё новое сегодня родит ненормальность, безумие, дикость.

Душным июльским днём, возвращаясь с работы на рейсовом автобусе, я и думать не мог, что такое случится. Хотя надо было предполагать. Во-первых, автобус опоздал на двадцать минут. За эти минуты меня успели трижды послать на три буквы (известный, думаю, всем адрес), а всё потому, что, в отличие от других ожидающих, я упорно пытался добиться у кассиров автостанции объяснения причины задержки автобуса (ходят ведь они точно по расписанию). Во-вторых, в автобусе на моём (согласно билету) месте кто-то разлил клейкую жидкость, пришлось ютиться на краешке сиденья. А завершением всего этого стало пробитое колесо.

Наивный, тогда я думал, на этом всё и закончится. Не тут-то было. Всё интересное, как говорится, только начиналось. Всех нас, пассажиров автобуса, высадили на дороге. Я пообещал сразу по прибытии пожаловаться в автоколонну на такой примитивный сервис, пара человек меня поддержали. Приятно, когда встречаешь рядом с собой братьев по разуму. Вокруг – отвратительный пейзаж: заброшенные, поросшие травой поля, редкие чахлые деревья, разрушенный дом. «Тарковский представляет». Нет, скорей это занятное место для съёмок фильма ужасов типа «Джиперс Криперс» или «Поворот не туда».

Полчаса ожидания, и мне, как на грех, захотелось по-маленькому. Компания молодых парней и девушек уже успела устроить «паломничество» за деревца. Выкроив момент, чтобы поменьше пялилось на меня любопытных глаз, отправляюсь к разрушенному (ни крыши, ни окон) дому. Трава дышит неприятной влагой, запах – ближе к вони – щекочет нос, от чего начинают слезиться глаза. Ненавижу лето с его этой мокротой. Лето для меня всегда ассоциировалось со старостью – такой жёлтый потный старикашка из потрескавшегося асфальта и пыли, отхаркивающий мерзкую мокроту с запахом пряностей, и этот гул кузнечиков, словно старческое слабоумное бормотание, бестолковое, шизоидное... Кузнечики и прочая насекомая мелочь норвят запрыгнуть на тебя, на щеку, на нос, в рот, оцарапать лицо, забраться под рубашку, в штаны... «Лето – это маленькая жизнь». Ну уж фигурки, лето скорее маленькая смерть. Осень – другой разговор. Ни комаров, ни пыли, ни мошек... А грязь – к грязи мы давно прилипли. То есть привыкли. Нечего строить из себя чистюль.

У дома-развалюхи росли кусты ежевики. Что-что, а колючие ягоды мне по душе. Ежевика особенно. Тёмно-красные, почти чёрные ягоды в окружении острых шипов. Я всегда, когда их вижу, думаю о Христе. Размышляю о нём, о его природе бытия. Правда, терновый венок и прочие атрибуты мессии не по мне. Я рожден для другого. Не спаситель я. Пусть другие спасают мир. По мне так мир без героев был бы куда спокойнее. Герою ведь всегда необходимо доказывать, что он герой, отсюда все вытекающие последствия... Про войны я молчу.

Ежевика и Христос – в них так много общего, почему никто этого раньше не замечал?.. Если бы я умел писать маслом, я бы перенёс эти образы на полотно. Поэтому обхожу кусты стороной. Не могу же я мочиться на святыню?! Прячусь за стеной из кирпича и быстро делаю своё дело. Мочеиспускание, как и всё остальное из раздела физиологии, для меня жуть как интимно. Почти свято. Не как ежевичный куст, но... где-то рядом, совсем близко. Любые посягательства кого-либо на эту интимную область считаю нарушением моей территории, моих прав. Не люблю поэтому на людях ходить в туалет, пускай и общественный, готов терпеть сутки, только бы не пустить никого в свой сокровенный мир.

Это моя ежевика, одним словом.

Сделал дело и иди. Нет же, я осмотрелся по сторонам. За домом увидел несколько оград. Кладбище? Место вечной тишины и покоя. Я бы хотел работать на кладбище, можно сторожем. Никто тебя не донимает вопросами, никто не требует от тебя ответов... Вокруг молчаливые, смиренные жители, редкие гости полны скорби и воспоминаний. Вот это мой мир. Прожил бы в нём всю жизнь и в нём же остался. Кто бы что ни думал и что бы ни говорил. Плевать. У всех нас свои представления о смысле жизни. Я мыслю свою жизнь так.

Выбираюсь из дома – и к оградкам. Старые ограды увиты ежевикой и какой-то ползучей травой. Оград не много, если правильно сосчитал – восемь. Обхожу каждую, читаю надписи на крестах и памятниках. Некоторые могильные холмики – без оград. Не наступить бы. Мертвые этого не прощают.

Незнакомые имена, фамилии, лица, даты... Здесь тише стрекочут кузнечики, и солнце, кажется, не так палит. За это и люблю кладбища. Другой мир. Здесь всё по-иному. Не по-людски. Не живое. Моё...

Вот более свежая могила. Без оградки. Несколько искусственных бесцветных цветочков воткнуты в сухую землю. Железный, покрашенный чёрной краской крест. На овале сначала читаю свои фамилию, имя и отчество, потом читаю дату своего рождения и... дату смерти – 1 января этого года. Фотография в овале моя. Это я два года назад (если честно, это моя единственная фотография) сфотографировался, когда мне исполнилось 25 лет, на паспорт. На паспорте фотографию так и не поменял, всё некогда до паспортного стола добраться. Работа в другом городе, утром туда, вечером домой... Никаких отклонений от нормы. Всё по графику, по расписанию. Так два года и пролетело, а вроде ещё вчера сидел перед объективом толстого фотографа. Всё боялся штрафа за просрочку...

Опять перечитываю фамилию, имя, отчество, вспоминаю точную дату своего рождения (может, хоть одна цифра не совпадёт). Всё правильно. И фото – фото-то моё. Получается что? Что я умер в начале этого года? Хрень какая-то. Как такое может быть? Ошибка? Скорее всего. Дикость. Я же говорю, без дикости мы жить не можем. Скучно нам. А тут, нате пожалуйста, пошел отлить и нашёл свою собственную могилу. Оказывается, ты, дружище, мёртв уже больше чем полгода. Хе-хе... Кто же, интересно, только что сходил по-маленькому? А с автобуса кто сошел? Кто с работы домой едет?..

Нет, это ошибка! Дикая, сумасшедшая ошибка. Люди всю жизнь совершают ошибки. Ошибку за ошибкой. В этом и есть жизнь. Вот и меня кто-то по ошибке похоронил. Заранее. Весело. Похороненный заранее. Ну надо же, и именно мне в этом повезло. Жил вроде тихо, никого не трогал, и вот полгода как похоронен. Мёртв. В общем, в этом есть свои плюсы. Теперь можно не умирать. Как можно умереть, если уже похоронен?! Забавно.

Сел на собственную могилу. Аккуратно так сел, тихонечко, нежно. Своя всё ж... Всего два цветочка воткнули. Вот уроды. Неужели на венки никто не мог собрать деньги? На работе хоть бы?! Столько лет с этими придурками отработал. Себя всего положил, всё делал, лишь бы наш статистический отдел из-за смены руководства не сократили. Работу на дом брал, ужинал с калькулятором, от цифр с ума начал сходить... А тут два паршивых цветочка. Сукины дети. Этот Николай Николаевич, зам наш, ещё вчера чуть ли не целоваться лез, когда я ему баланс за полгода сделал, «золотым» меня называл. Тьфу в твою мерзкую усатую рожу, Николай Николаевич. Тьфу на тебя ещё раз. Тьфу! А секретарша Фая? Куда она-то смотрела? Всё мне свои счета для сверки носила, конфетами угощала. Мерзкие, наглые, чванливые морды. Я ещё потанцую на ваших могилах. Я вас всех переживу. Похоронили, думаете. Ха! Не тут-то было. Если я и умер, то только по собственной воле. Сам. Моё место всегда было здесь, в тишине и покое. Никто не нужен. Я никому не нужен... Сосед дед Иван тоже хорош: деньги занял, тысячу, и венки не смог заказать. Позорище. Старый драный козёл. Жалко мне его, старика, было – помог, одолжил деньги на подарок внучке, а он... Наверняка и на похороны не пришёл, лень было со своей культёй в такую даль тащиться. Нелюди... Одно радует, что место хорошее выбрали, никак Ольга Игоревна из жэка постаралась. Знала, как я не люблю весь этот шум и гам, вот и посодействовала. Даже соседей-мертвяков мало. Хорошо. Она часто со мной, когда я за квартиру платить приходил, разговаривала, мать мою покойницу уважала, говорит, училась у неё до восьмого класса. Мать мою все в квартале знали, это меня никто не знал и знать не хотел, а мамку... Учителем в школе работала. Всё время там и пропадала. Как, интересно, я раньше не помер от одиночества. Один дома, один во дворе... Изгой самый натуральный. Друзей не было, потому что за друга надо ответственность нести, а мне бы за себя научиться отвечать... Мать водила своих учеников домой, чай пили, в игры играли, занимались дополнительно. Они все были старше меня, и мне с ними скучно было до слез. Уйду, закроюсь в туалете и сижу там, пока кому не приспичит. Мать плюнула на обустройство моей жизни. Сказала, что устала, что мне самому надо захотеть жить как все. Я не захотел. Мама умыла руки. Я назло ей, учительнице истории, занялся математикой. Алгебра, геометрия... Поступил в институт, а мать покинула меня. Оставила одного, предоставила самому себе. Умерла, чтобы меня научить жить.

Вот, наверное, тогда я уже и начал медленно умирать. Если и жил когда вообще. Умирание изо дня в день. На работу – умирая, с работы – умирая. Говоришь, пишешь, едешь, читаешь, злишься, и всё это делаешь, умирая. Медленно приближаясь к логическому концу. Конец, согласно надписи на кресте, случился первого января. Как это, интересно, произошло?! Я лёг на кровать в своей комнате и перестал дышать? Или я что-то сделал с собой? Я ведь всегда стремился к покою. На суицид я бы не решился – кишка тонка. Если только кто-то меня не довел до белого каления. Люди любят такие состояния. Я с детства доводил своим молчанием, своей пассивностью многих до бешенства. Маму, учителей, одноклассников... Меня за это колотили. Квазимордой называли. А всё потому, что мне не хотелось ни с кем ни о чём говорить. Я не сдавался, меня всё это ещё больше заводило. Я продолжал совершенст-

воваться. Цифры не могли спрятать от реальности, приходилось приспособливаться, тихо ненавидеть.

Я не верю, что существует прощение. Прощают только слабые. Мне приходилось говорить, что я прощаю, приходилось убеждать самого себя, что простил, но всё это только для того, чтобы продолжать своё медленное умирание. Двигаясь к цели, приходится жертвовать. Многим жертвовать. Квазиморде и любовь нужна была постольку-поскольку. Половой акт, так же как мочеиспускание, я считал очень-очень интимным занятием, разделять его с кем попало не мог. И не собирался. Было дело, лет в двадцать, о нём и вспоминать не хочется. Не здесь, не на своей могиле в окружении Христовой ежевики. Любовь, опущенная до скотского уровня (а сейчас она, куда ни плюнь, везде такая), меня пугает. Уж лучше никак, чем по-животному. В чистую любовь не верю. Нет примеров. Нет примеров – значит и любви такой нет. Это сказки, в которые, к слову, я с детства не верил, слушать их не любил, читать тем более. Все эти Андерсены – от них одни беды. Детям нужно прививать реальность, их необходимо готовить к борьбе за жизнь, к войне, к смерти... Мне не повезло с детством. У меня не будет своих детей. Зачем рожать ещё одну мёртвую душу? Да и кого сможет родить мертвец (уже полгода как мертвец)? Оставьте это сказочникам, у них мёртвые живут. В сказках. В реальности мертвецам места нет. Как там в Евангелии: что вы живого среди мёртвых ищите?..

Как мёртвый может найти себя? Могилу ещё куда ни шло, могилы есть у всех. У живых их порой больше, чем у мертвых. Столько внутри могил нарыли, столько похоронили, подумать страшно... Человек – ходячее кладбище. Двухое. Своими мыслями-лопатами столько в себе ненужного посеял. Угробил. Закопал. Зарыл...

Солнце здесь светит иначе. Для мёртвых солнце светит не так, как для живых. Темнее. Ограду мне не поставили, только крест – может, позднее?.. Может, ещё поставят? И цветы принесут, и венки?.. Полгода – это не срок, а уж для мёртвых тем более...

Поднял голову, хрустнуло в шее. Так мало мы смотрим в небо. А с собственной могилы смотреть на небо как-то странно. И небо открыто для тебя, а достань! Взлети!..

Я так окно в квартире ни разу в жизни не открывал, даже после смерти мамы. Никогда не открывал. Не впускал свежий ветер, не впускал солнце, не впускал дождь... Как в гробу. Бывает пыль в гробу? У меня этой пыли завались – везде, кругом пыль, и на сердце... Всё руки никак не доходят, говорю себе в оправданье. Теперь уже не дойдут.

В небе ни облачка. Птицы чёрными точками рисуют кручёные параболы. Людям летать не положено, они сверху всё изгадят. Потому мы и не летаем – слишком дерьма в нас много. Трупов. Костей... Вот не было бы... Не было бы ни зла, ни зависти, ни ненависти, ни лицемерия, ни похоти... Так такого не будет никогда. Это утопия. Мы такие, какие есть, со всеми нашими неполадками. Хе-хе, неполадками. Вот неполадка – собственная могила, на которой сидишь и размышляешь о собственной жизни. Жизни, которая и не жизнь вовсе. И уже не хочется смотреть в овал, на котором тебе двадцать пять лет, не хочется пересчитывать свои имя и фамилию, подсчитывать точно, сколько времени прошло с твоей смерти... Хочется похоронить себя на собственном кладбище и не думать: а вдруг завтра будет новый день, всё будет по-другому, лучше?..

Прыгнул на ладонь кузнечик – крохотный, цвета молодой травы, покрутился на руке, пощекотал.

Сожми ладонь – и не станет кузнечика.

Мысли большие враги человека, чем язык. Мысли и роют в нас могилы. Могилу за могилой... И вот ты уже кладбище.

Отпустил зеленого. Кузнечик вернулся. Ну чего тебе, безмозглому, надо?

Поднялся с могилы. Кузнечик переместился на рукав, прыгнул на плечо. Дурашка.

У заброшенного дома набрал горсть ежевики и целиком проглотил. Вкус терпкий, трезвящий обжёт нёбо.

И кровью его мы исцелились.

Ох уж эти мысли...

Попробовать начать писать картины? Мертвому всё ведь можно. Поменять работу? Забыть старые обиды? Родиться заново?..

Странно, даже дико, но меня все ждали. Ждали! Они стояли у автобуса (и компания молодых здесь) и встретили меня весёлым улюлюканьем.

– Уже полчаса вас ждём, – сказал, улыбаясь, шофер. – Вы там заснули или так сильно прихватило?

Я засмеялся вместе со всеми. «Прихватило», – захотелось ответить, но по привычке промолчал. Куда деваются слова, когда они так нужны?!

Стало стыдно за себя прошлого. Опустил глаза и заметил, что и на землю всё это время толком не смотрел. Всё куда-то в сторону. Вкривь... А на земле каждая песчинка может рассказать о жизни. И о том, что она жива.

Все сели на свои места, моё место было чистым.

– Ой, на вас кузнечик! – Девушка рядом взяла осторожно насекомое. – Мы в ответственности за тех, кого приручили, – сказала она, возвращая кузнечика мне на плечо.

– Постараюсь, – ответил я и увидел себя дома, настезь распахивающим окна.

МАРСИАНСКОЕ УТРО

Страшно просыпаться в новом мире. Вчера ещё до восьми часов вечера всё было по-старому. И уже перед сном раздался телефонный звонок, и голос совсем незнакомый сказал:

– Завтра всё будет по-другому. Всё изменится. Все изменимся.

Я спросил:

– Будет конец света?..

Голос продолжил говорить, словно не слыша меня:

– Это будет новый мир. Новая жизнь. Где не будет места многому и многим. Новое не приемлет старое. Отсечь, чтобы лучше жить. В новом – всё новое. Перечеркнуть старое. Стереть. Ни следа. Ни воспоминаний. Новое. Новое.

Потом были гудки, похожие на вой пожарной сирены. На сигналы SOS. «Спасите наши души».

Разве после такого заснешь?..

Набрал номер сестры. Номер был занят.

Наверняка и ей сейчас этот самый голос рассказывает о завтрашнем новом дне. Она стоит в ночной сорочке босиком и, прижав трубку к уху, слушает, проникается каждым словом этого незнакомого голоса. Она соглашается с ним. Она всегда мечтала о лучшей жизни. О новой жизни. Новом...

– Уехать бы за рубеж. В Европу куда-нибудь. Там ведь и дышать легче, и свобода чувствуется, не то что здесь... Россия – одна большая ссылка. Одна большая сибирская каторга. Рождаешься только на мучение, уже и рожать никому не хочется.

Сестра рано поседела. «От такой жизни как не поседеть». У неё рано стали выпадать зубы – впрочем, у меня раньше. «И не в кальции дело, – говорила сестра, – от жизни всё». С мужем развелась ещё в двадцать лет. Прожили они два года. Он как начал со свадьбы пить, так и не переставал употреблять. Подозреваю, что он и не знает, что у него двойняшки родились.

– Россия мне дала только боль.

Сестра никогда не плакала, несмотря ни на что. Она сильная женщина. Для сильных, видать, и нужна эта новая жизнь. Новая. А люди – люди всё могут забыть, если постараются. Многим и стараться не нужно. Проснулся в новом мире, и уже не помнишь мир старый. Мир отошедший. Ничего не помнишь из того мира – ни хорошее, ни плохое...

Я так не могу, наверное. Снова, подождав пять минут, набираю номер сестры.

– Алло, слушаю, – говорит она сонно.

– Ты сейчас с кем разговаривала? – спрашиваю тихо, будто боюсь, что ОН услышит.

– Не знаю. Кто-то незнакомый звонил, сказал, что дождалась.

– Дождалась?

– Дожила. В мои тридцать пять важно дожить.

– О чём ты таком говоришь?

– Тебе разве не звонили?

– Звонил. Вот именно что. Спать теперь хоть не ложись.

– Скажешь тоже. Я, наоборот, голову на подушку не успела положить – уснула. Это ведь классно – засыпать, зная, что проснёшься в новом мире.

– Да, наверное. А если этот новый мир будет ещё хуже старого?

– Глупости говоришь, братишка, новое не может быть хуже старого. Новое – это совершенное. Лучшее.

– И тебе не страшно?

– Не так, как было до звонка. В старом мире страшно было жить. А теперь отделяет всего одна ночь. Скоро уже. Новое. Просто фантастика какая-то. А я не верила.

– Ты и не читала фантастику. Не любила. А, между прочим, у фантастов новый мир не всегда хороший. Большинство писателей-фантастов сходятся на том, что новое будет не человеческим. Не для людей. Мир машин или инопланетян...

– Вот поэтому фантастику я и не люблю. Терпеть не могу. Придумывают чушь всякую, только людей расстраивают. Никакой надежды.

– Ну почему, у Брэдбери человечество перебирается жить на Марс после катастрофы на Земле.

– Ага, на Сатурн. Какой русскому человеку Марс, ты скажи? Марс – это для американцев. Для русского человека мало одного Марса. И двух Марсов мало.

– Ты же мечтала о Европе?

– Так если теперь всё будет у нас по-новому, зачем мне Европа? И Марс не нужен. Знаешь, от фантастики одни беды. Ужасы читать надо. Особенно наши, русские. Включи канал новостей и ужасайся. Кингу такое и в самом страшном сне не привидится. Российский ужас – это наша привычная жизнь. День за днем. Наше состояние.

– Все беды от новостей. Они зомбируют.

– Ладно, ты что звонил-то?

– Так, поговорить. Неприятное ощущение какое-то после этого звонка.

– Согласна, новое всегда настораживает, но ведь всё, что ни делается...

– ...к лучшему, будем надеяться, – заканчиваю я и слышу, как колотится сердце в висках. Рука от напряжения вспотела, и трубка вот-вот выскользнет.

– Прими снотворное и ложись, – предлагает сестра, зевая, – я тебе утром позволю.

И не хочется говорить «до утра», «до завтра», а в трубке гудки. SOS. И кажется, что это сигналы с другой планеты. С Марса?.. Но кто расшифрует их? Кто поймёт? Кто придёт на помощь? И кому нужна эта самая помощь? Нам? Им? Мне?..

А я хотел бы улететь на Марс. Стать марсианином, только бы не переживать перемены. Все мы втайне боимся перемен, не все только в этом признаемся. Но боимся – все. Говорить о переменах, о новом мире хорошо, переживать же всё это болезненно. Страшно. Пускай я буду трижды трусом, но я признаюсь. Разрушать легче, чем строить, а всё новое несет в себе разрушения. Войны.

Я положил трубку, снова поднял, послушал далёкие гудки-сигналы и торопливо набрал номер друга. Единственного друга. Я попрошу его приехать, переночевать у меня, вместе мы справимся, выстоим, переживём...

Гудки вызова, долгие гудки в пустоту. Во Вселенную? SOS.

Друга нет дома – понимаю, но всё равно держу трубку возле уха. Вслушиваюсь в сигналы.

Марс на связи.

Рычажки отбоя встретили свою подружку-трубку радостным кланьем.

Вот и снова один на один с самим собой. И страшно повернуться, страшно обернуться соляным столбом, страшно посмотреть в окно и увидеть. Страшно.

Старое одиночество, новое одиночество – какая разница? Человек всегда будет одинок в мире непостоянства. В мире, где живешь только ради лучшей жизни. В ожидании этой лучшей новой жизни. В поиске...

Телефонная трубка – единственная связь с прежним миром.

Не спать. Сон приблизит утро. Новое утро новой жизни.

Набираю наугад цифры. ... 3, 7, 8... Знакомые сигналы ласкают ухо. Голос звезд. Эхо Вселенной. Марс слушает?..

– Да, – раздается неожиданно.

Голос молодой, девичий.

– Извините, – отвечаю взволнованно, – я случайно набрал ваш номер, дело в том, что мне сейчас, минут десять назад, позвонили, и незнакомый голос сказал...

– Про новый мир, – говорит девичий голос, – и вам стало не по себе?..

Я замолкаю. Стены, кажется, стали ближе. Комната стала тюрьмой. Решётки на окнах впились в стёкла, железная дверь слилась с дверью деревянной... Один в клетке вчерашнего мира. Не вырваться. Не сбежать...

– Алло, – всё тот же почти детский голосок, – вы ещё здесь или там?..

Вопрос был странным. «Там» – это где? В завтрашнем утре или в прошедшем дне?

Говорю тихо:

– Я здесь.

– Вы не первый, кто позвонил мне. Я тоже уже кому только ни звонила. Счастливы, похоже, только старики да безбашенная молодежь. Мне, честно, жутковато. Вдруг мы проснёмся, а того, что делало нас людьми, нет? Что, если новый мир – это мир насекомых или животных, а не людей?

– Марсиан, – шепчу.

– Во-во, – отвечает она, – ещё лучше. В Библии знаете как говорится: «Не все мы умрем, но все изменимся». Вот и думай, гадай теперь, что будет завтра утром...

Молчу. Слышу её дыхание.

– Меня, если честно, устраивала эта жизнь. Пускай не сахар, но ведь жили. Да, войны, да, платное образование и медобслуживание, так кто в этом виноват? Сами и виноваты. Правительство сами выбирали, жизнь свою сами строили. Хотите сказать, нет?.. А новое может быть гибельным. Кто сказал, что новый президент будет лучше старого? И что цены расти не будут? И дышать простому человеку станет легче? Кто даст гарантию, что мы вообще проснёмся завтра? И проснёмся самими собой, а не кем-то другим. Иными... Кто ответит?

– Вам сколько лет, извините?..

– Двадцать три будет, если будет, конечно... Но это не значит, что я не могу трезво судить и смотреть в будущее. За молодостью будущее, разве нет? А молодость боится перемен. Привыкли жить по-старому, как родители. На готовеньком. Ничего менять не хочется. Лень. Мы – поколение лентяев. Хотите сказать, нет? Не соглашусь. Вы сами ведь боитесь. Это всё из-за лени. Страх и лень под руку ходят. Разрушать можем, строить – нет.

Я промычал что-то. Она говорила. Мне было приятно её слушать. Этот твердый голос разума среди грядущей неразберихи и хаоса. В моей голове был хаос. Мы не готовы к новой жизни. Не только я один, нас много. Мы поколение слабаков... Лентяев.

Она говорила:

– ...И может, правда планеты поменяются местами. Изменимся. Проснёмся марсианами, и дело с концом. В России только марсиане и могут выжить. Голос этот явно не человеческий был, с нотками металла, не живой, как из могилы...

Я слушал, накручивая на палец телефонный провод, нервничал...

– ...Всего боимся, ни слова сказать не можем, ни сделать что-то. Стадо. Бараны. Свины и бараны. Разве нет? Я частенько ощущаю себя именно так. И хочется жить иначе, а толку! Год-два, и всё идёт по-прежнему. Мы не можем жить иначе. Не можем по-другому. Только так. Мучаясь и страдая. Это судьба России. Её крест. Все мы жертвы этой страны. Все, и никуда нам не деться. Не избавиться. Это наш общий крест. Поэтому перемены – смешны... Ха-ха-ха... Почему вы не смеётесь? Смех – единственное, что нам осталось. Что наше. Собственное. Ха-ха...

Её смех испугал. Он был страшен. Отчаяние – его не спрятать. Я бросил трубку. Всё меняется. Перемены. Медленное разложение. Занавески на окне полны пыли, серы и страшны. Обои в желто-коричневую клетку давят. Больно смотреть, режет глаза. Болит затылок, и понимаешь, что цитрамон не поможет. Нет таблеток от будущего. От изменений. От нового мира...

Кому бы ещё позвонить? Мысли не дают успокоиться, взять себя в руки. Слабак. Слабаки. Позвонил некто, сказал об изменениях, о новой жизни, и мы сдались. Или ещё не сдались? Не все сдались? Но как бороться с неизвестностью? Кому позвонить? Был бы жив отец. Лучше мама, она бы успокоила. Она бы знала выход. Мама всегда всё знают. Мы – поколение прошлого. Нас пугает другая жизнь. Новая. Без прошлого.

Потолок стал ниже. Придавит сейчас, как букашку. Я пригибаюсь, чтобы не удариться о люстру. Неужели потолок жаждет встречи с полом? На полу ковер, рисунок на ковре ужасен. Змеи. Сотни разноцветных змей. Ненавижу змей. Кому позвонить? Чей услышать голос? Чтобы голос успокоил? Излечил?

Марс на связи...

Поднимаю трубку, подношу к уху. Сначала думаю, что оглох. Подношу к другому уху. Тишина. Ни гудка, ни треска... Ни звука. Как в космосе. Закладывает уши – это тишина вырывается из телефонной трубки наружу. И вот уже вокруг полнейшая тишина, и холодильник привычно не тарахтит, молчит, и на улице будто вымерли... Тишина. Именно так приходят перемены. Так рождается новый мир...

Я не помню, как добрался до постели, а утром, когда открыл глаза, боялся посмотреть в окно.

Страшно просыпаться в новом мире.

Утро. Новое утро.

Со мной явно было что-то не так. Я чувствовал перемену в себе. Не в голове, в теле. С ним что-то произошло за ночь. В новом мире – новое тело.

Что с моим телом? Оказалось, что у меня нет рта, нет языка, голосовых связок. Может, я просто-напросто онемел? Хорошо, что остались глаза. Что не ослеп. Заставляю себя посмотреть в окно. За серыми занавесками яркое солнечное утро. Новое утро.

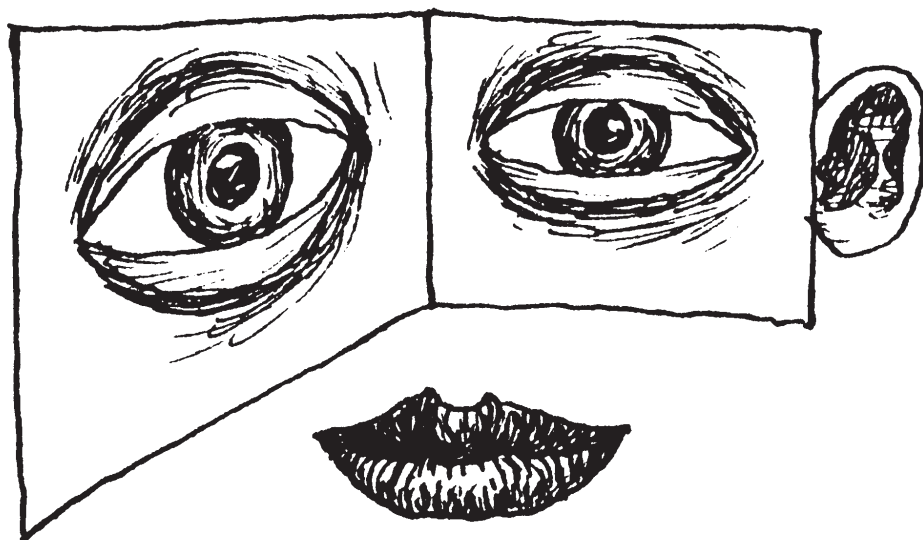
Смогу ли я встать? Встаю. Делаю робкий шаг к окну. Руки берутся за пыльную ветхую ткань занавесок и отводят их в стороны. За окном в лучах нового солнца (или солнце осталось старым, прежним?) горит безумным одноцветьем красная планета.

SOS.

Сажусь у телефона, по-прежнему одинокий, забитый, потерянный, никому не нужный, как и вчера, и жду, когда хоть кто-нибудь позвонит и скажет, что всё в порядке. Что жить можно. Расскажет, что стало с Россией. С Землей в целом. И кто я? Что я?..

Но телефон молчит, и с каждым новым часом нового утра я всё больше и больше ощущаю себя гуманоидом.

Ангарск.



Татьяна Шеметова

Подробности жизни

«В годы жуткого слома»

«В годы жуткого слома» (во дни сомнений и тягостных раздумий о судьбах моей родины) – для меня это середина 1990-х годов – я начинала работать в школе учительницей русского языка и литературы. Зарплату не платили – раз в полгода давали продукты в большой картонной коробке. Приходишь домой и, как Дед Мороз, достаешь из неё сыр, колбасу, консервы. Привычная картинка «перестроечных» будней выглядит как антиутопия или описание военного времени, поэтому экспрессивный и несколько пафосный образ, который я смягчила кавычками, наверное, вполне уместен.

Тогда мама ещё была здорова, меня считала ребенком и заработков от меня не ждала. Вообще мало чего от меня ждала, разочаровавшись в так много обещавшей, но незадавшейся судьбе старшего брата. «Не до жиру, быть бы живу». Я радовалась правильно выбранной профессии и возникшим благодаря той же перестройке перспективам: в нашем провинциальном университете открылась аспирантура, и я стала первой аспиранткой. Это было нормальное начало взрослой жизни, и я не знала, что может быть лучше. Мама одна растила нас с братом, поэтому материальных преимуществ советского времени мне не довелось испытать.

Вспоминаю: накупит всяких одежек мне и брату, ярких фруктов на базаре, остатки бумажных денег разбросает по комнате – пусть валяются! Вот так примерно меня воспитывали. Любовью безмерной, но и безмерным же криком (слабость, усталость). Причём крик, состоявший иногда из площадной брани, окупался такой силой любви и самоотдачи, аналогов которой мне не довелось в жизни встретить. Боюсь, что унаследовала от неё это неумение адекватно выражать свои подлинные эмоции: кого люблю, того неосознанно уязвляю.

Помню жуткие очереди в плохо освещённых магазинах. Очередь как нормальное времяпрепровождение. Ты где был? Да в очереди за... О, ещё эти автобусы и трамваи, где из тебя делают яйцо всмятку. «Передавайте деньги в зад кондуктору!» Никто не смеётся. «Вы на следующей вылезаете?» Если смогу, то вылезу... Но всё равно – детство, юность, радость! «Вылезли» на своей остановке – успели на новогоднюю ёлку. Помню, как мы страшно переживали с подружкой, что проедем остановку – не хватит сил протолкнуться. Но трамвай благополучно выстрелил нами на сорокаградусный мороз, плавно отрезал едущей дверью от остальной человеческой массы. Ура! Теперь уж точно успеем в сказку!

Но вернусь в «годы слома». Очереди вместе с продуктами постепенно исчезли, давка в транспорте по причине живучести людского рода осталась, но потихоньку стали появляться вестники времени индивидуального предпринимательства. Мама как раз пошла на пенсию, и у неё, как у почтальона Печкина, началась новая жизнь. Вместо работы в швейном ателье, где она, швея без особого таланта (всегда с отвращением вспоминала место, где отбарабанила тридцать лет), получала гроши, стала бабушкой с семечками и всякой дребеденью. Азарт появился! А что, утром – стулья, вечером – деньги. Неплохо для человека, всю жизнь мучительно прорывавшегося от зарплаты к зарплате.

Не знаю, не знаю, какие сокровища вы там оставили, в советском времени. Не школу же с её истеричными учителями и тусклым освещением узких противных коридоров. Это плохое освещение – главная ассоциация с тем временем. Вот тебе и электрификация всей страны. Праздники (майские, новогодние) – внезапная прибавка света. В майские и ноябрьские – музыка за окном, разукрашенные машины – советский эквивалент карнавала. Радио: «Утро красит нежным светом» – увертюра жизни. В новогодние – зеркальные шары под потолком Клуба строителей, я на сцене в костюме Чебурашки (мама сшила) читаю «Белую берёзу»: «...Обсыпает ветки новым серебром!». Блаженство, восторг, признание.

Видишь, до ужаса нечего сказать. Никакой общественной жизни. Не писать же о том, что я была командиром звёздочки, председателем совета отряда и секретарем комитета комсомола. Родилась и родила. Получила и отдала. А рядом жизнь какая-то плыла. За окном автобуса она, что ли, когда утром еду на работу? Там ощущение движения и света. Темнота и огни, делающие ее осмысленной, таинственной...

Темнота и огни

Темнота и огни – прообраз чего-то давнего, первобытного. Вот в такой весёлой морозной темноте везут санки с закутанной мной мама и отец. Одно из первых воспоминаний. Кажется, всё-таки на городскую ёлку, кататься с залитых водой «катушек» разных форм и размеров. Потому что настроение у меня бодрое, несмотря на мороз и отсутствие автобусов. Вообще, конечно, отец – это отдельный праздник, не хуже Нового года. Праздник, который не всегда с тобой. Чего стоит орущий во всю глотку приемник, с которым он по-трубадурски стоит под маминым окном (после месячного отсутствия просто так в дом не пускают), и здоровенный букет где-то нарванных цветов, заткнутый за ручку входной двери. Подозреваю, что наследник этого букета – вырытый с корнями, едва умещающийся в руках объём сиренево-голубых ромашек, выгодно оттеняющий глаза дарителя, – сыграл немаловажную роль в моей жизни. Ну, ещё его способность после окончательной ссоры, провожая меня домой, не вставать перед безбрежной лужей, а, не меняя сдержанного выражения лица, подхватывать и переносить на руках... На этом сходство с отцом заканчивается и начинаются различия.

Он – немножко буржуа, а папа – люмпен (даже не пролетарий, который все-таки звучит гордо). Алкаш, из тех, что в застойные годы без всяких идейных соображений валялись под кустиками. Ради красного словца не пожалею и отца. Опишу, например, его тяжёлое детдомовское детство. Его мать и отец, мои бабушка и дед, погибли в войну. Зато ещё жива прабабушка, которую мама всегда уважительно называла Дарьей Ивановной. Моя прабабушка для мамы – идеал. Красоты, прежде всего. «Я бога молила, чтобы у тебя были прабабушкины носик и ножки, чтобы не мучилась, как я». С носиком, по маминым словам, всё в порядке, ножки она оценивает более критично: «Мои». Отец – «городской», в отличие от «деревенской» мамы: это

источник гордости и предубеждения для неё. Вопрос о том, «кто за кем бегал по улице Ленина», обсуждался все мое детство да так и остался открытым.

Мой дедушка по отцу пропал без вести в битве под Москвой, был, кажется, лейтенантом артиллерии. Сгинул без следа в жутком пекле сорок второго года, извещение его матери пришло только в сорок шестом. Разворачиваю этот полуистершийся листочек, фиолетовую копию, страшную и необходимую для дальнейшей жизни семьи. Почти ничего уже не разобрать: «Родину... погиб...». До этого учительствовал, заведовал школой. Бабушка была на десять лет младше и, видимо, обладала нимфеточным обаянием юности. Иначе как её скуластое, привлекательное только молодостью лицо могло вызвать чувства у нордического блондинистого деда? К началу войны у них было двое детей. «Шестнадцатилетняя бабушка! Этот жестокий мятеж в сердце моём // не от вас ли?». Скулы-то точно ваши.

Мрачное впечатление производили треугольники его писем с войны, прочитанные в юности. Какой-то доброжелатель ему докладывал о немонашеском поведении бабушки. Чёрная ревность, отчаянье, удушье от отсутствия духа перед лицом смерти. «Оказался я несчастлив: оторвало бы руку или ногу, приехал бы к вам, мои милые, – написано неожиданно красивым твердым мужским почерком. – Радио уже не слушаю: одно вранье. Всех мужиков поубивают, останутся одни женщины и сироты». И просьбы, мольбы прислать весточку о детях и о ней, любимой, которую называет то «проституткой» и «бывшей», то – Анюточкой, Нюрочкой. Хотя у самого во время длительного лечения на Урале завелась уже новая семья, даже «хорошая теща», как он успокоительно пишет матери Дарье Ивановне. Хотел было похвастаться зазнобой, прислать её фотографию – но передумал, несколько раз перечеркнул написанное. Нельзя такие письма читать девушкам. Брат хотел их сжечь, но мама не позволила.

С бабушкой Анютой связана жуткая история, которую мама вполголоса рассказывала на крыльце соседке с первого этажа.

Я в это время играла в песке и гладила ободранную кошку Марызу, несмотря на мамин строжайший запрет («Заразная!»). Кошку было жалко, хотя она каждый день аккуратно оставляла жидкую горку в пролёте между первым и вторым этажами нашего подъезда, а однажды, беременная, запущенная мной в дом, вся в каких-то лишаях, разродилась семью котятками на нашей постели, вблизи укрытых тюлем трехэтажных подушек, прямо на недавно купленном мамой красном в белых цветах пушистом покрывале. Пиршество жизни.

Вообще, и у мамы, и у соседок всегда была патологическая страсть к каким-то гнусным историям. Порождение этой страсти – все эти «Часы суда», «Окна», «Дома», размножившиеся сейчас на телевидении. И на улицу выходить не надо. Что это? Желание чужими ногами подойти к краешку бездны и заглянуть в неё, благополучно осознав, что мы-то пока ещё здесь, среди нормальных людей? В общем, бабушку зарубили топором: может, из-за денег – она работала продавщицей и зачем-то иногда приносила выручку домой, а может, по «подружину совету», от которого заклинает цыганка молодую княгиню в цветаевском «Гаданье». Действительно, была какая-то подружка, они вместе снимали квартиру. У подружки – мил-дружок, с которым они и закопали бабушку тут же в подполье, деньги весело потратили и пошли, конечно, через какое-то время за эти проделки по этапу.

Думаю, от этих историй и особенно писем начался у моего брата в голове тот «бзик», который разломил юношеское его сознание на две неравные половины. С одной стороны, уже упомянутое «Утро красит нежным светом» и «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер», списанные им с довоенного дедушкиного блокнота.

А с другой – эти невысказанные письма, не имеющие аналогов в его коротеньком жизненном опыте. Отсюда его вечное желание вытеснить все нехорошее, неправильное за пределы существования. Например, меня: была я действительно избалованная, капризная до ужаса. Брат часто повторял запомнившиеся маме слова: «Ну нельзя её так сильно любить». (Это ещё что! Вот мне подружка рассказывала, как она в детстве очень хотела свою младшую сестру выкинуть с балкона.) Ходил жаловаться в школу, что я плохо себя веду дома, но мама списала это на начинающуюся нервную болезнь. На неё он тоже заявление написал в милицию, что она постоянно оскорбляет его матом. Павлик Морозов? Почему так нападали в перестроечное время на этого замученного ребёнка!

Мама мечтала видеть брата военным. Всю жизнь ей нравились «хохлы и военные». Хохлы, по моему тогдашнему представлению, – они такие высокие, строгие, красивые и пляшут по телевизору. Помнишь, в советское время часто показывали пляски народов СССР? Вот и поступил братик со своей нервной системой, расшатанной тяжелым детством, но с красивым бровастым лицом в Уссурийское военное училище. Фотографию прислал. Когда я позже читала Цветаеву, именно это изображение вставало перед глазами: «Ваши брови сошлись над факелами Ваших глаз». Братское письмо Байрону.

Эта фотография выставлена в мамином серванте рядом с портретом толстой двухлетней девочки. К фотографии брата меня потом ревновали, принимая его за жениха. Глядя на неё, я верила, что тоже стану красивой. Мы же близкие родственники! Однажды знакомый университетский преподаватель для каких-то своих фокусов попросил назвать трёх мужчин, которые повлияли на моё развитие. Брат первый в этой тройке.

Отдельный шок – это брат первый раз напился. Я всё никак не могла поверить, мне казалось, он просто изображает отца, которого однажды в раздражении от его пьяной навязчивой наглости скинул с лестницы. Но пьяницы счастливы – отец остался здоров и весел. Просто пожелал сыну того же: чтобы его, пьяного, сын сбросил с лестницы. Слава богу, ни детей, ни семьи брат так и не завел – некому его скидывать. Что же осталось «от этих губ и глаз»? От этих девочек, что писали ему длинные письма в военное училище... Особенно одна долго не отставала: её писем и открыток сохранилось больше всего, таких умных и многозначительных. Я ими играла в детстве, вырезала картинки из конвертов. Она и выйдя замуж, став успешным адвокатом, уехав в Комсомольск-на Амуре, не прекращала ему писать. Пока не приехала однажды (через двадцать лет) посмотреть на своё сокровище, а он на прощанье спросил: «Тебя до трамвая проводить?». И рассказывал мне это как-то тупо, невнимательно. Не понравилась она ему, в общем, полная какая-то. На себя бы посмотрел.

Тогда он был уже вялый, жирный от постоянного сидения дома, на пенсии по болезни нервов. Язвительный приятель сравнивал его с Обломовым, но это лестное сравнение. Где осмысленная речь, любовь к музыке, да и просто любовь? Теперь ещё хуже стал: чёрный, сутулый, как Кощей, всё лицо в больших мятых складках. Говорят, в зрелом возрасте Бог дает нам то лицо, которое мы заслуживаем. Получил отдельную квартиру по военной инвалидности и там навеки заснул. Поход в магазин, еда, телевизор. Запой его страшно отразился на маминой психике. Однажды я, приехав с Камчатки, где была в студенческом стройотряде, серьёзно испугалась, что мама помешалась, такая неадекватная у неё была речь, то весёлая, то жалкая, без привычных властных ноток.

Камчатка – отдельная занимательная история. Поселок Озерновский, рыбзавод,

икорный цех. 12-часовая смена. Помню, стою после ночной смены в оранжевом резиновом фартуке до пола и поливаю из шланга блестящий фартук своей подруги. Она плачет от усталости и унижения и одновременно орёт на меня: «Танька, куда ты меня притащила? Что я здесь среди ночи делаю?». Потом привыкла и на следующий год даже хотела поехать снова. На заработки я сшила себе сиреневое зимнее пальто в талию с рыжей лисой (чувствуешь цвет?) и шапку модели «русская красавица», а она купила джинсы «Lee».

Видишь, какие мы с подругой разные. Она с мальчишками дружила, с американцем Джеффри Хофманом переписывалась. Я училась, училась и училась, как завещала белая голова Ленина на красном фоне, встречавшая меня по утрам в школе. Потом, по дороге в университет, опять знакомая голова, только бронзовая и титанических размеров.

Стоит и поныне голова лысого богатыря без шлема – вчера её опять видела. В вечерней тьме бегут по лбу разноцветные фонарики, слева – ёлка, справа – ледяные звери, катушки – радость детей и взрослых. Особенно взрослые страшно катаются: чёрная пьяная толпа с мужским гогомом и женским визгом мчится на прямых ногах сверху на прохожих. «Закружились бесы разны». «Бацкнуться», свалить кого-нибудь – особый прикол. Чур, чур меня!

Блин

Блин, начала-то я с отца! Вот как далеко заводит речь. Кстати, этот хлебопекарный эффемизм никогда не был для меня заменой мата, к которому у девочки из двухэтажного деревянного барака, где, что ни день, происходили истории, было стойкое отвращение. Слушаешь, слушаешь эти истории, смеёшься над дикостью языка и событий, потом начинаешь захлебываться неестественным хохотом и, наконец, затыкаешь уши. Когда я первый раз читала «Время – ночь» Петрушевской, то не чувствовала никаких иронии, гротеска или стилизованного сказа. Все это была жизнь. Обижалась только немного на автора, как Макар Девушкин на Гоголя, за «пашквиль» на себя.

Подцепила я этот «блин» в пионерском лагере, куда мама отправляла меня каждый год, но не на три смены, как некоторых, а только на вторую – июль. Как правило, это было одно место – лагерь «Огонёк» на Верхней Березовке. Почему Верхней, не знаю до сих пор: о Нижней ни слуху, ни духу. Больше всего запомнилось сидение на зеленом массивном заборе, где малышня проводила выходные дни после завтрака и до ужина, напряжённо вглядываясь в устье дороги, откуда мог появиться долгожданный автобус с родителями. Увидев своих, полагалось с радостным возгласом прыгнуть с приличной высоты, несмотря на запретительные крики стражников-дежурных, и мчаться навстречу сумчатой нарядной маме. Прижаться к её животу. Царственное возвращение (стражники молчат), затем отпроситься у воспитательницы или вожатой, и на весь день – в близлежащий лес: обед и ужин на траве, вода из ручья, блаженная полудрема, но рука сторожит маму. Вечером – возвращение в лагерь, в свою палату, где твой авторитет хоть и временно, но растёт благодаря разным вкусностям из дома. Вдохновенно врешь, что волосы, закрученные на тебе мамой какими-то смешными тряпочками, завились от воздуха свободы и лесной прохлады. Энергетика в этот момент такова, что никто не решается возразить, даже самые занозистые «девки».

Не знаю большей тоски, чем возвращение в лагерь из дома, куда тебя иногда забирают в выходные «на помывку». Вечерет. Ты с сумкой продуктов в руках идёшь сквозь строй белых гипсовых пионеров. В лагере пусто, вечерняя линейка прошла. Добираешься до своего «отряда». На земле, рядом с деревянным помещением, где



он разместился, некое художественное произведение в обрамлении крашеных шишек, камушков и разноцветных осколков стекла – название отряда и его девиз. Почему-то это невинное сооружение вызывает особую ненависть, хочется пнуть его, чтоб лёгкие шишки подлетели кверху, но боюсь холодного, как у панночки из «Вия», взгляда нашей вожатой, которая имеет обыкновение появляться неожиданно и как-нибудь унизительно наказывать провинившихся.

Я медлю, но войти всё равно придется, и начнется психологическая пытка: пионерский вариант дедовщины. Две-три девицы обязательно портят жизнь всем. Приказывают, например, худенькой невзрачной девчужке сесть голой попой в тазик с мочой. Хочется вылить тазик прямо на кровать наглой оторве с торчащими в разные стороны, как у сказочного Страшилы, соломенными волосами, но приходится сдерживаться, «давить интеллектом». Что-то вроде презрительного уважения удалось заслужить ещё в начале смены, и теперь это работает на меня: вместо издевательств, которыми развлекались до моего прихода, можно посоревноваться в рассказывании «страшилок»...

Процесс общения со сверстниками протекает в моем детстве с переменным успехом: то я пользуюсь невероятной популярностью, то мучительно думаю, о чём говорить со случайно встреченной по дороге домой одноклассницей. Мне не приходит в голову, что за это обоюдное молчание мы несём одинаковую ответственность. Комплекс неполноценности от неумения вести светскую беседу, поддерживать обычную болтовню стремительно растёт. Видимо, влияют книжные запои, когда я почти полностью выпадаю из реальности. Нет, правда, лицо у меня такое, что мимо проходящий мужик с гоготом показывает пальцем: «Во, блин!»...

Мужик

Отец в семейных ссорах берет не горлом, как мама, а великолепным презрением, как Михаил Булгаков. Будучи по всем пунктам неправым, он умудряется сохранить человеческий облик и чувство юмора, что, в конечном счёте, вызывает симпатию у нас с братом, и мама проигрывает в битве за правду, коей, кажется, посвятила жизнь. Эту борьбу, за отсутствием отца, который, всё увеличивая сроки своих отлучек, наконец исчез навсегда, она ведёт со своими выросшими детьми, с нами. Опять меня относит от отца в мамину сторону...

Надеюсь, он не бомжует где-нибудь на московских улицах. «Москва! Как много в этом звуке...» Щедрого, обнимающего, вкусного, как эскимо, просторного, как хрестоматийный вид с Воробьёвых гор. А-а-а-а! Как сразу и навсегда влюбился отец в этот город! Как часто в минуты перемирия отец и мать – не поворачивается язык объединить их словом «родители», соединительный союз спасает их мучительный союз – вспоминали о совместной, «в легендах ставшей как туман» поездке в Москву. Ты знаешь, что я вспомнила? Меня там, кажется, зачали. Мама ездила туда к отцу. Он, как перелетная птица, не мог долго сидеть на месте, потянуло на запад, застрял там из-за вечного отсутствия денег, ну она и поехала к нему, устав куковать одна при живом муже. Представь этот романтико-героический порыв: первый раз в жизни через всю страну, а это несколько тысяч километров, да ещё в столицу нашей родины. Маленького Сашку оставила на прабабушку Дарью Ивановну. Привезла обратно отца и уже почти начавшуюся меня.

Сотни раз перед маминими глазами проплывали горящие во тьме огни, которые она увидела, когда самолет стал снижаться над Москвой. Её единственное в жизни большое путешествие... В Москве они остановились у тети Риты, отцовой сестры. Скажу и о ней пару слов.

Когда после войны отец попал в детдом, то оказался там не один, а со своей маленькой сестрой, необыкновенно хорошенькой девочкой, которую, в отличие от него, почти сразу забрали новые родители. Правда, когда девочка начала подрастать, попросила и интерес к ней приёмного отца, так что пришлось расстаться с приёмными родителями с большим скандалом. Красота, в отличие от простоты, лучше воровства и других пороков, подстерегающих неоперившуюся душу. Пока мир не нуждался в спасении, красота за неимением лучшего спасла мою тетушку. В общем, нашелся солдатик, проходивший в нашем городе срочную службу, который увёз томную красавицу в Москву. Она была именно такой, томной и дивной, как я убедилась, внимательно разглядывая фотографию девицы с высокой причёской на фоне какой-то стилизованной скалы. Она и её муж, добрые и тогда молодые, водили молодых и незадачливых родственников, моих будущих родителей, по городу, щедро делились им. Когда я, лет через двадцать, впервые приехала в Москву, от их доброты и молодости не осталось следа. Дяди уже не было в живых, а тетя не захотела открыть дверь неведомо откуда заявившейся родственнице.

Отец останавливался перед историческими зданиями, памятниками: «Во, гляди, это ж МГУ. Не знаешь, с чем его едят? Темнота ты коминская!».

Кома – село, откуда с трудом вырвалась в город пятнадцатилетняя мама. Она наполовину сирота: моя бабушка умерла при родах, через месяц после этого скончалась мамина сестра – двойняшка Нина. Дедушка Григорий после того женился неоднократно, благо выбор у него в послевоенной деревне был большой. Наконец нашёл подходящую – певунью и аккуратистку Варвару и на этом успокоился, начал строить новую семью. Коле и Валюшке, детям от первого брака, пришлось туго. Они научились ходить по одной половичке, не садиться без разрешения на стул и кровать, а большую часть времени проводить на улице. Туда, на улицу, вынесла однажды мама блестящую красивую игрушку – Варварины ножницы и получила за это такую трепку от отца, что не забывала всю жизнь. Вспомнили тогда они с братом добрым словом первую мачеху, неряху и нескладёху, с которой вместе дожидались отца с войны. Учёба в школе не давалась ни тому, ни другой, зато объединяла заветная мечта – вырасти и уехать из Комы. Не обязательно даже выезжать за пределы республики, ибо её размер – как это говорят? две Франции? – позволял исчезнуть и забыть о родственниках навсегда. Что и удалось сделать: дядя уехал в дальний район Тарбагатай, а мама – «в город», так его все называют, поскольку других городов на наших бескрайних просторах не найдёшь.

Получить открепительную справку было трудно: крестьяне в сталинском Союзе республик свободных должны были быть привязаны к земле, где родились. Но нашелся «родной человек», порадел, и вот мама приехала в столицу Бурятии, одной из автономий восточной Сибири, стала работать нянькой и жить на чужой квартире. Одно рабство сменила на другое. Мечтала устроиться на мясокомбинат, быть всегда сытой, получить место в общежитии. Целый городской район носит это гордое название: Мясокомбинат. Не взяли из-за хрупкости и маленького роста. Не такие им были нужны, чтоб быков колбасить! Мощная железобетонная фигура наклонившего рога быка и по сию пору украшает входные ворота городского мясокомбината. Обитые кровельным железом тяжёлые ворота, которые так и не распахнулись для мамы.

Город наш основали казаки, и назывался он первоначально Верхнеудинск – по названию реки, на которой расположен; в советские времена стал столицей Бурятии и получил соответствующее название – Улан-Удэ, «Красная Уда». Хочется наделить это название позитивной этимологией: красивое рыбное место, «хорошая уда»...

Все-таки есть что-то безвкусно-символическое в том, что мама вырвалась из безнадёжной Комы в «Красную Уду», чтобы получить свой ежедневный «Ad» – слово, выдавленное латинскими буквами на висячем замке кладовки, куда она и посейчас через силу ходит за дровами.

Отец настаивал, чтобы мама восхищалась и радовалась Москве вместе с ним. Она старалась, но идиллию нарушала тревога, потому что злчные места, где можно «опрокинуть» и «принять на грудь», интересовали его никак не менее культурной программы. Помню, как он, смеясь, рассказывал, что у мамы не хватало духу оставить недоеденное на тарелке – память о военном голодном детстве – и она наедалась в забегаловках до дурноты: «Пусть мне плохо будет!». Отец, которого мама с вечной издёвкой называла по имени-отчеству, засиживался в этих советских бистро до позднего вечера, пока не убеждался, что уже достиг дна. Тогда праздник жизни завершался, и оказывалось, что «чайная» находится совсем недалеко от дома родственников, куда стремилась попасть испуганная и потерянная мама.

Потом отец неоднократно пытался вернуть это феерическое чувство свободы и молодости, которое они испытали тогда с мамой в Москве. Вот он стоит на фоне Мавзолея в светлой шляпе, клетчатой рубашке с завернутыми рукавами, широких штанах и потертых ботинках. Похож слегка на шукшинского Егора Прокудина. За спиной – начало вечной мавзолейной очереди, куда-то спешащие женщины в светлых платьях и мужчины, одетые как отец. «Ты не смотри, что у него штаны такие, – ревниво говорит мама. – В него девки знаешь как влюблялись?» У мамы всегда сердце ёкало, когда она смотрела первые кадры «Калины красной», где Егор идет в кирзачах и в расстегнутом ватнике через мостик. Характер этого точно схваченного Шукшиным типа тоже напоминал ей, по-видимому, отцовский. Эта безалаберная талантливость – он мог быть всем: слесарем, крановщиком, водителем, ремонтировать холодильники, о чём свидетельствовали многочисленные удостоверения, которыми он спьяну хвастался, – но гордо оставался ничем. Я иногда с острой жалостью к себе думала, как счастливо и богато мы могли бы жить, если бы он реализовал хоть одну из подаренных ему щедрой природой возможностей. Щемящее чувство обделённости его вниманием я испытываю, торопливо запихивая в карман его пиджака самодельную поздравительную открытку, над которой они с мамой на следующее утро безобидно, но оскорбительно смеются, думая, что я сплю. Больше всего мне жалко слова «папа», которое так хочется, но почему-то невозможно произнести вслух. Лучше уж, как мама, издевательски-уважительно, по имени-отчеству.

Вот в солнечный летний день он подъезжает к нашему двухэтажному барaku, где расправил крыло серебристый жестяной голубок, сделанный и прикрепленный им над входом в подъезд. Новенький сверкающий самосвал, который ему доверили на работе, кажется мне сказочным оранжевым чудовищем. Мамины руки с усилием поднимают меня и передают куда-то наверх, где в кабине сидит отец. Этот переход из женских рук в мужские – нарушение закона тяжести. В отцовских руках сразу теряю вес. «Сёстры – тяжесть и нежность». Саму поездку не помню. Да и была ли она? Может, посидела, посмотрела в лобовое широкое стекло на мгновенно изменившийся двор и домой пошла? Нет, кажется, все-таки было это быстрое исчезновение серого блестящего на солнце асфальта под колесами, наблюдаемое с самосвальной высоты. Не к дяде ли Коле в негостеприимный Тарбагатай поехали мы хвастаться своей новой работой? В рабочее время, естественно. Помню скалистые исписанные каракулями горы вдоль дороги. Слава богу, не в этот, а в какой-то другой раз он свалился на своем самосвале с моста в реку. Выйдя из воды мокрым, но живым, он на пару лет лишился той опасной умопомрачительной свободы, которую любил, ви-

димо, больше всего. А по выходе из тюрьмы появились, наверное, кирзачи и ватник, залихватски расстёгнутый даже на сильном морозе. Апофеоз контраста: расхристанная телогрейка отца и застегнутый на золотые пуговицы, закрывающий горло курсантский китель сына.

Своими внезапными приездами, требованиями «продолжения банкета» отец, видимо, вконец измотал московских родственников, у которых к тому времени завелось несколько улыбочивых дочек с большими бантами. Выдворить незваного гостя они могли, только оплатив ему билет на другой конец страны. Поэтому вслед за отцом прибывали письма тётки Риты с просьбами возвратить нереальные для нас по тем временам деньги. Устав писать маме, тётя Рита адресовала одно письмо брату: «Ты вырос, оканчиваешь училище...», на которое ему просто нечего и нечем было ответить: он к тому времени был комиссован по болезни. В общем, если хочешь потерять друга или родственника, займи у него денег и не отдавай. Но мама всё равно не верит, что «эта Ритка» так изменилась.

Излюбленным способом общения с миром у мамы стала агрессия: она ругалась на лестнице с соседями, в магазинной очереди, в кино, на работе, на пляже... А все потому, что он – единственный в мире, кто за всем этим мог разглядеть слабость, любовь, усталость, – оказался как все. Просто мужик.

Телогрейка

Веселое, в сущности, слово. Как батарейка: «Но у любви у нашей // Се-ла бата-рей-ка!» – поет Ляпис Трубецкой о превратностях высокого человеческого чувства. Или балалайка. У Пугачевой есть песенка о том же: «И о любви своей пробала-лаю!». По-прежнему велик и могуч, что бы там ни говорили недоброжелатели.

«Телогрейка» – гораздо многозначнее и теплее, чем какой-нибудь «ватник» или «пуховик». Последний хотя бы на «снеговика» похож. Несмотря на обилие снега, почему-то очень редко мы этих снеговиков лепили и в снежки почти не играли. Все-таки это забава западной России, Московии, где снег совмещен с удивлением и теплом. У нас в Восточной Сибири такую картину сложно представить, потому что снег плотно лежит несколько месяцев, захватывая часть весны и осени, наскучивая своим постоянством. Все-таки ужасные, нечеловеческие морозы у нас бывают. Ну, ничего, сейчас «оттепель» – 24 градуса, все немножко ожили и начали смелее дышать. Как представишь, что где-то нулевая или плюсовая температура... Так хочется в вашу слякотную Москву!

Недавно по каналу «Культура» видела передачу о Василии Розанове: у него был какой-то метафизический ужас перед природным холодом, проникающим в душу. Он с присущей только ему откровенностью писал, что свобода духа возможна тогда, когда человек сыт, перед ним потрескивает камин. В таком смысле.

У нас дома всегда было тепло. Мама вставала в пять утра, чтобы как следует натопить к нашему пробуждению; придя с работы, тоже первым делом затапливала печку. Мне это дело очень долго не доверяла, боялась, что я или «выстужу», «пущу дрова на ветер», забыв вовремя закрыть заслонку трубы, или «угорю», сделав это слишком рано. «Трещит затопленная печь», пахнет блинами или жареной картошкой, я читаю книжку, притворяясь, что делаю уроки. Вдруг обнаруживается, что нет воды, и мы с мамой идем к водоколонке мимо уборной – «белого здания для заседаний», огибая один за другим трехподъездные бараки, копии нашего дома, у которых изо всех труб густо валит тяжелый дым.

Колонка окружена высокой наледью от пролитой воды. Пока мама наполняет громко звенящей водой жестяные ведра, я успеваю примерзнуть валенками к нале-

ди. Вчера по радио слышала рекламу о чудных валенках с валяными же каблуками, создаваемых какими-то умельцами. Солнце по-бурятски «наран». Так же называется сеть магазинов, где продают у нас валенки: красные, зелёные, лиловые, с разными картинками. Мы в детстве не видели такого великолепия: только черные, реже – крашенные белые.

Вспомнился по ассоциации с валенками пастернаковский «Кремль в буран конца 1918 года»:

*Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных...*

Такой вот вечно бредущей через силу, «чтоб вихрь души не угасил», представляется мне мама. Непримиримой, борющейся и в борьбе обретающей силы. Ни в какую не хочет жить со мной или с братом, выходить из роли «матки» (как пожилые актрисы цепляются за роли любовниц, хотя силы уже на исходе). Приходится мне бегать меж двух домов, ходить за водой на ту же, что и в детстве, колонку. Здравствуй, приехали в двадцать первый век! Когда же это кончится? С тоской смотрю на проходящего мимо пацана в пальтишке с воротником из искусственного меха, в котором узнается все та же перешитая эковская телогрейка!

Отцовской телогрейкой была завешена входная дверь, чтоб от неё не дуло. Иногда мама сама надевала её, чтобы сходить за дровами, или укладывала для тепла «в ногах» моей постели. Незаслуженно заброшенной, забытой оказывалась телогрейка, когда появлялся в доме отец. Смех, радость, ругань! Я о любви тебе пробалаю... Лайся – не лайся, жизнь идёт своим чередом.

Темно, тепло, горит только настольная лампа. Я упрямо пытаюсь победить «задачу повышенной сложности» по алгебре. Не сходится! Родительская кровать нетерпеливо поскрипывает. «Татьяна, ты когда наконец ляжешь?» – отец. «Пускай сколько надо делает!» – мать. Второй час ночи. В азарте решено несколько лишних задач. Полная и окончательная победа! Засыпаю мгновенно.

Больше десяти лет от отца ни слуху ни духу, а телогрейка жива, выполняет свои заместительные функции. Когда мой первый возлюбленный, университетский преподаватель, придя в гости, надел её и без разговоров пошел рубить дрова, сразу сократилась «дистанция огромного размера» между преподавателем и студенткой, «не осталось между нами // ни сомнений, ни одежд» (что-то меня на попусу тянет). Несоответствие между этой телогрейкой и его строгим лицом, голосом, излагавшим с кафедры научные теории, было столь же сильным, как и слазн...

Иномарка

Еще одно слово, обогатившее наш лексикон. Инопланетянка какая-то. На ней, родимой, прискакал ко мне второй возлюбленный. Вернее, не проехал мимо, когда я шла мимо в белых босоножках на высоких каблуках: «Девушка, вы не устали? Может, подвезти?» На такие дешевые трюки я, конечно, внимания не обращаю: «Спасибо, в другой раз». Когда минут через пять после этого незначительного диалога меня догнал незнакомый светловолосый мужчина, я в мыслях молвила: «Вот он!», хотя не сразу узнала в нем хозяина иномарки, просто подумала, что сегодня, видимо, мой день.



В общем, иномарка была брошена в соседнем дворе, а будущий возлюбленный шел рядом, с увлечением говоря о моих глазах, переливающихся волосах и необычном тембре голоса. Но если бы он даже этого не говорил, то я все равно шла бы рядом до бесконечности: новый знакомый был похож одновременно на молодого Смоктуновского и Иосифа Бродского, фотографию которого я увидела в газете гораздо позже, когда у нас всё было кончено, и поразила сходству. Шла-то я шла, но одновременно с некоторым безадресным злорадством думала: «Вот сейчас ты уткнёшься взглядом в безобразное здание моего дома, вдохнёшь запах близлежащей помойки и – адьё!» На удивленье реакция была спокойная, он даже как будто повеселел и стал проще. У меня дома с интересом посмотрел вырезанные из журнала «Юность» картинки в рамках; поразила меня в самое сердце, сразу отличив Мане от Моне, и спросил: «Можно я завтра приеду?». Вспомнил, видимо, о брошенной где попало машинке.

Назавтра он приехал на какой-то невероятной золотисто-жёлтой штуковине с отъезжающим верхом. Ну, ты все-таки представь этого космического жука в обрамлении покосившихся кладовок, ступеней с вечно проломленной доской – всей этой барачной чисто советской прелести. Времянки, простоявшие не менее пятидесяти лет, стоят и поныне. Чтобы не выглядеть нищенкой, скажу, что из окна нашей квартиры была видна невероятная панорама заката в горах, вся комната каждый вечер озарялась по-разному, да ещё, возвращаясь из школы, я с приятной грустью любовалась бедной осиною на пригорке, которую было видно издалека в промежутке между уборной и углом нашего дома.

Я узнала, что он окончил художественное училище, но понял, что это не его призвание, пошел в судостроительный и вот сейчас занят каким-то невероятным проектом, каким-то катером, который он ласково называл «летающей тарелкой». Там, на судостроительном заводе, они заодно ремонтируют и собирают из ничего всякие машинки, на одной из которых он ко мне и приехал. Если удастся ее выгодно «загнать», то можно будет доделать «тарелку», а потом... У него фантастические планы, которые реализовывать надо, конечно, не здесь, а где-нибудь в дальнем зарубежье.

Смесь и оправдываясь, он привез меня на «Пик любви», скалистую возвышенность, где посреди гор недалеко от бегущей глубоко внизу реки возвышается скульптурная парочка оленей. Там, несмотря на затоптанность этого места брачующимися парами, открывается неплохой вид.

Потом несколько дней его что-то не было, и я уехала с подругами на Байкал, благо это недалеко – три часа на электричке.

Приехав через неделю, я узнала от мамы, что несколько раз стучался в дверь какой-то «дядя»; она ему открывать, конечно, не стала. Это вообще её жизненный принцип: меньше народу, больше кислороду. Поэтому я ещё со школы гостей в дом почти никогда не звала, боясь, что мама выплеснет на них своё недовольство жизнью. Но голос его через дверь ей понравился. Я позвонила по телефону, оставленному им в моей записной книжке. ФИО, домашний адрес, рабочий и домашний телефоны... Ну не хочет человек теряться!

Точнее, не хотел, пока были все эти необъятные букеты и непролазные лужи, и очи синие бездонные цвели на дальнем берегу. Мы ездили купаться на какие-то дальние озёра, забредали в невероятно красивые места. Всё благодаря ей, безотказной иномарке, которая с огромной скоростью переносила нас с одного конца республики на другой. Как Адам и Ева, давали имена проноссящимся мимо возвышенностям: «Смотри, это Лев, а вон там, видишь, за лесом – Черепакха!» Однажды, спеша

к нему, я запнулась о проломанную в крыльце доску, навернулась и здорово ободрала себе колено. Такой нежности, такой оглушительной заботы, какие выказал он, поставив с ног на голову близлежащую аптеку, я просто не встречала раньше и тогда впервые подумала, что хочу от него ребенка.

Расстались мы спокойно, хотя мне долго не удавалось выпустить его руку. Мне казалось, что если бы мама сейчас оказалась у брата, мы бы зашли ко мне, и это страшное недоразумение бы разрешилось. К нему бы вернулось чувство юмора, и он бы понял, как это глупо: променять нашего будущего Ваньку на какую-то там «летающую тарелку» – иномарку, в общем.

Горка

Горка! Вот что я и умирая вспомню, как Бунин – ветви в вечернем небе. Пригорок с чудом уцелевшими соснами через дорогу от нашего дома. Со стороны дороги он выглядит невысоким, но если подняться, то с другой стороны открывается невероятный божий мир, не имеющий отношения к этим крохотным машинкам, домикам и игрушечной телебашне – единственному аналогу столичных высоток. Так изменяется зрение. Резкий и очень глубокий обрыв вниз к Протоке, где мы купались летом. За Протокой – остров, с одной стороны застроенный дачами, которые с высоты кажутся городом липлипутов, весь в кустах и ручьях. За островом – старый деревянный город с возвышающимся над ним зданием церкви. Протока полукругом обнимает остров, а вдали видна синяя полоса большой сибирской реки Селенги, в которую впадает наша речка. За рекой леса и горы, кругом охватывающие город, лежащий как бы на дне большой синей чашки с узорами сосен по внутренней и внешней сторонам.

Правый край гигантского обрыва зачем-то застроен кривыми избушками, сползающими в Протоку. Когда мимо них проходишь – я обычно пробегаю с оздоровительной целью – раздаётся лай разъяренных собак. Особенно одна – её хорошо видно на возвышении – рьяно отработывает свой хлеб с мясом. Хорошо, что не человеческим.

Горка сочувствовала мне во времена моей первой взаимной любви и кричала изо всех сил ласковым утренним воздухом, просыпающейся на солнце зеленью и синью: «Я люблю тебя!!!». Было такое полное ощущение взаимности, что не мешало даже, что мой любимый преподаватель уехал с семьёй на другой конец нашей необъятной страны. И звонил оттуда по два-три раза в неделю. Было ощущение, что так будет всегда. Помню один его приезд, когда мы уехали вместе на Байкал и там познали такие «радости рая», такую озёрную синь, рассекаемую носом белого корабля, что когда я позже увидела знаменитую сцену из «Титаника» – с раскинутыми в полёте руками – дельфины мне показались лишними, потому что их у нас не было. Фильм шёл тогда по всей стране, поэтому через некоторое время он позвонил мне и без всяких предисловий спросил: «Тань, ты видела?»

Со временем его периодические – несколько раз в год – появления стали приносить всё усиливающееся чувство неудовлетворённости. Слишком много ожиданий было связано с его приездом, неоформленных, а потому ещё более несбыточных. Поэтические уравнения, спасавшие меня некоторое время от тоски, стали казаться пошлыми и притянутыми за уши.

Тут-то и появляется второй персонаж, похожий на Смоктуновского. Сначала он воспринимался как спасение от ставшей уже болезненной зависимости. Вышибая клин клином, усилием воли заставляла себя не брать трубку телефона. Хотя было ясно, что он – только он! – может так методично и настойчиво добиваться цели. Зато со вторым мужчиной все было правильно, как по нотам. Прошедшее казалось черновиком, набело переписанным сжалившейся судьбой.

Казалось, но не оказалось. Вот мои торжественные рассуждения начала третьего тысячелетия, когда я осталась совсем одна. У того самого корыта.

2000 г. 24 марта. Иван проснулся... Приношу, стираю, выношу, снова приношу. И это не утомительно, просто такой жизненный состав – как кровь течёт в жилах. Купаясь по локоть в сынулинных испражнениях (и это не гипербола), не испытываю ничего кроме спокойной необходимости этого, и только аристократическое обоняние слегка страдает. Интеллигентный слух с трудом переносит мамулькины словесные оплеухи: «Ну что, блядь, опять усе-лась писать?» Ну да, полы не метены, корова не доена. Демократическое зрение с жалостью отмечает у нее сломавшийся вчера передний зуб. Деятельная любовь, наверно, бросилась бы на поиски денег для ремонта материнского зуба, но я её и так люблю... Опять разбитое кофрыто родительского дома с кривым глазом окна, расколотого давным-давно, ещё в детстве, и залепленного замазкой по всей длине. Окно занавешено очень красивым узорчатым тюлем, купленным мной на первую зарплату. Этот контраст как будто подчёркивает что-то. Несоответствие притязаний и возможностей? Какие все мы, люди, бедные. И Бунин, и Набоков умиляются своим бедным детским радостям, а общее «райское» воспоминание – цветные стёкла на веранде. Уловатая чувствительность.

– Тя, тя-тя-тя! Ма, мамба! – шлепанье ладошек о пол. – Тр-та-та-та!

Это Иван приполз из комнаты ко мне на кухню и радостно смотрит снизу вверх:

– Ивань, Танька, написи! (Танька, напиши: «Иван»).

У меня пока два имени: «Танька» и «мамба», бабушка, совмещенная с мамой.

Как там он, интересно, поживает в своей вымечтанной Варшаве, кого катает на «летающей тарелке»?

Силой унесённый в комнату Иван в минуту вновь эвакуируется ко мне, чтобы разлить разведённую известь в бидоне и рассыпать соду из коробки. Моё беспутное творенье.

15 апреля. Как перенести это тупое чувство всеобщей нелюбви? Одного, второго, даже мамы! Как преодолеть? Преодолеть – значит признать. Не признаю, не верю! «Бог – возможность абсолютно всего в мире, – сказал какой-то Архипов в передаче Юрия Грымова. – Нынешнее искусство – это реклама». Собирает какую-то странную коллекцию старых ненужных вещей. «Моя коллекция – дизайн, хотя не все это видят, особенно те, кто не жил в нашей стране. Ното soveticus». Меня бы ему для коллекции.

Иван встал в кровати и, держась за края, двигается по периметру; пытается отцепить ручки и шагнуть вперёд без опоры. Можно понять маму, которая, устав от Иванушки, наехала на меня по-крупному и умчалась к брату, хлопнув дверью.

18 июня, воскресенье. Вчера Иван разбил губку, она распухла, как у Муми Троля. Он только что проснулся, и я плачу, глядя на его губку.

– Сто это упало?

– Слёзка мамина.

– Убели эту слёзку!

Убираю губами слезу с коленочки...

Тоска – это безделье, и теперь я точно знаю, что нет ничего лучше смеха, ручек, ножек – всего того, что зовется Ванюшей.

Совсем не жалко горку, почти сровнявшуюся с землей, застроенную какими-то продажными особнячками под названием «Экогород», похожими на приморский санаторий, – теперь на нее без особого разрешения не взойдешь. Плохо только, что сползающие в реку черные избушки и наши уродливые, едва прикрытые забором бараки на месте. Сосны все, конечно, спилили, несмотря на «эко».

Защита

Интересно, что моя беременность совпала с поступлением в аспирантуру. Я посчитала аспирантскую стипендию, зарплату в гимназии и подумала, что вполне потяну ребенка. Мамина закалка! Что она привезла вместе с возвращенным из Москвы мужем? Только меня.

Дни были посвящены родившемуся чуду, которое начало расти, как князь Гвидон в бочке. Успевай только менять одежды и обуви. Ночи – написанию диссертации, дисера, как неблагозвучно именуют её аспиранты и соискатели.

Дисер сначала был написан на человеческом языке, потом, по просьбе руководителя, переведён на научный. То есть имел всего две редакции и был безоговорочно одобрен на кафедре. Предстояло теперь «защищаться» в Красноярске. Туда мы отправились на поезде вместе с коллегой – родственницей драматурга Вампилова, необыкновенно весёлой и остроумной дамой, из тех, с кем не соскучишься. Поразил своей роскошью красноярский рынок – все продукты казались преувеличенными, гигантскими и красивыми, как муляжи. Музей Серова, где мы воровски сфотографировались, несмотря на запрет. Ну, ещё ресторан «Яр»: «Эй, ямщик, гони-ка к Яру!» Там мы, правда, не были. Я вообще отличалась какой-то нездоровой бережливостью. Весёлой спутнице большого труда стоило подвигнуть меня купить что-нибудь для собственного удовольствия. «Зачем ночной крем, если есть дневной?» – серьёзно спрашивала я. Долгими до- и послезащитными ночами мы делились своими любовными историями. «Плюнуть и смотреть вперёд!» – был спасительный вердикт подруги на мою полупечальную повесть. Зато её истории, то уморительно смешные, то по-настоящему трагические, не имели такого однозначного решения. Все-таки талант рассказчика намного опережал у неё способности ученого. Для неё это был выбор по умолчанию, поэтому диссертация ей далась значительно сложнее, чем мне. «Пять минут позора, а потом – вечное блаженство», – философски оценивала она свою защиту.

Я, в отличие от неё, как раз «процессник», а не «результатник». Поэтому мне понравилось всё. Серое печальное здание общаги, где нам выделили комнату на двоих на девятом этаже, причём следов лифта мы не нашли и пёрлись наверх, волоча за собой чемоданы. Сама защита, где мой оппонент напоминал старого доброго знакомого – писателя Тургенева... Уезжать так сразу из этого непривычного, живущего по своим законам мира не хотелось, но веселую коллегу ждала дома семья. Все сопутствующие документы благодаря ей были оформлены очень быстро. Я в то время боялась компьютера как огня, а она владела им прекрасно. И мы, сделав важное для карьеры дело, поехали обратно. В купе вместе с нами в глубь Сибири ехали какие-то очень хрестоматийные немцы, усиленно угощавшие нас самым лучшим в мире пивом и сосисками. Мы отказывались, но не потому, что не хотели, а из-за стеснительности. Даже бодрая коллега свернулась почему-то в трубочку и разговаривала очень официально. Наследники советского режима, мы в собственном российском купе чувствовали себя гостями, а эти немецкие студенты, мальчик и девочка, были совершенно раскованными...

18 марта 2001 г. В конце года выходит у меня монография. Завтра куплю диван и стиральную машинку. Что ещё? Меня, кажется, не уволят с руководящей должности, и я продолжу трудиться в роли «главного специалиста» управления университета.

Иван зовёт:

– Я хочу почитать! Сяс плинесу каландашик. Таня, где моя лучка-то – писать?

Баня

Хочется, пока не забыла, сказать о крошечном обрывке нотной тетради, на котором остался только скрипичный ключ. Этот ключ, затоптанный, валялся на полу, пока мы с мамой усиленно таскали дрова, чтоб накормить ненасытную печку, искупать Ивана в ванночке у раскрытой для тепла духовки. Сама нотная тетрадь, видимо, пошла на растопку. Мама с некоторых пор бестрепетно стала относиться к разным моим «бумажкам» и даже книгам. Так я не успела спасти свои детские дневники. Долго не решалась в них заглянуть, смутно припоминая что-то болезненное, какую-то дружбу-вражду трёх школьниц, не могущих определить, кто кого любит больше. Классический любовный треугольник, только девичий... Мама сожгла эту толстую коричневую тетрадку, и я теперь не узнаю, что там было.

Я очень хорошо помню чувство внезапной и оглушительной свободы, когда в моём детстве кончилась «музыкалка». Хотя в «музыкалке» было что-то аристократическое, может, это меня и привлекло. А «домряжки» (как мы с подругой называли домру, народный инструмент, с которым по воле судьбы было связано пять лет на уроках музыки в общеобразовательной школе) я стеснялась, как до сих пор стесняюсь названия своего родного города: мне слышится в нем что-то туземное, читай – глубинное, народное. Ненавижу, когда меня считают «девушкой из глубинки», потому что всегда была жительницей «вселенки» и «нетленки». Из последней фразы встанет образ какого-то маленького, взъерошенного, обиженного и кусачего существа. Приятно познакомиться!

Я – красавица и чудовище, толстая и тонкая, мужественная и женственная, щедрая и жадина, благородная и подлая, утончённая и дубинноголовая, бедная и богатая, любимая и одинокая, влюблённая и... самовлюблённая. Как певица, которая на обложке музыкального диска целует своё отражение.

Но, с другой стороны, лучшее, что со мной когда-либо происходило, – это мои влюблённости в людей. Носили они всегда характер мимолётной ответственности. Проблеск надежды – и опять погружение во тьму. Сладостная обида, не разрушительная, а созидательная. Как выяснилось из одного теста, я не так боюсь рутины и одиночества, как ограничения свободы. Поэтому не могу осуждать этот мир и себя в нём. С интересом жду каждого нового дня. Что он там готовит? Обижаю, бросаю близких людей в погоне за новыми впечатлениями, но и утешаю и утишаю окружающих.

В заключение – картинка из детства. Раннее воскресное утро, ещё не рассвело. Мы с мамой идём в баню. Должны успеть, пока не набежал народ, иначе придется сидеть во многочасовой очереди. У меня своя причина – хочется успеть на «Будильник», любимую воскресную телепередачу. И вот мы идём сквозь утреннюю прохладу в предвкушении душа, парилки и жары. Мама крепко держит меня за руку, поэтому я могу без страха смотреть вверх, на постепенно исчезающие звезды. Так я и смотрю всю дорогу, не отвлекаясь на подробности земной жизни.

Улан-Удэ.

Мила Божович



Невозможное

Гримаски и стишки

* * *

Знать бы, думает ли муравей,
когда над ним занесли сапог,
об ускользящей жизни своей,
о том, что успел и чего не смог,
о том, что видится лишь ему,
вдруг оставшемуся одному...



* * *

Все-таки птицы поют –
в городе, в холоде,
и у щеки, не касаясь,
вьется снежок.

Кто-то за нами следит
зорко и молодо
и от морозного пламени
души зажег.



* * *

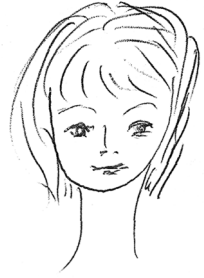
Если вынесет жизнь на помойку,
пойди подбери себя.
Слезами умойся,
себе откройся,
и обнаружишь, скорбя,
пару-тройку надежд обветшалых.
Снеси на помойку!
Лучше вовсе тебе не иметь одежд,
чем ветошью прикрываться надежд.



Уроча / 62

* * *

Простое счастье есть –
проснуться утром,
нырнуть под купол неба
и втянуть
сырой и острый воздух.
Побежать
троллейбусу вдогонку
и успеть,
ликуя: вот и первая удача.



И пусть, как прочие, и этот день
скрипуче-вечную запустит карусель.

* * *

Весенний вечер.
Теплый ветер.
И так близки
и голоса далекие,
и диск луны.



Миг жизни вечной.

Окно открыто в сад.
(То было много лет назад.)
Настольной лампы свет.
Раскрыта книга,
но глаза глядят поверх
страниц во тьму,
и замирает сердце –



огромен вечер.
Жизнь будет вечно...

* * *

Когда боль захлестывает с головой,
и пытаешься вынырнуть,
а тебя накрывает другой волной –
о, хотя б не на выдохе!

Когда сил не почувствуешь сделать вдох –
укрепиться в отчаянии
помогай мне, бог. Не оставь меня, бог
опечаленный.



Я не знаю, за что ухватиться мне...

* * *

Свои отложив злоключенья, возьму
Тяжелый том Мандельштама.
В его помутившийся воздух войду –
И вздрогнет сердце обманно,
И не затянется рана.

* * *

Беспечным гулякой слыл мой прапра...дед,
снискавший цветочное имя.
Оно и к моей прилепилось судьбе,
воссоединившись с другими.

Хочу я пчелою над скромным цветком
Кружиться не праздну, в заботе,
как в улей вернуться с душистым медком
и чтобы пополнились соты.

* * *

Сегодня день пришел
темнее тучи.
снег копотью присыпан,
ветки ходят
и с ними брошенное до весны гнездо.
А двор застыл в дремотном ожиданье...
О, сколько жизни
проходит в ожидании,
уходит
и никогда не воротится вновь.



В Америке был половым,
но пожелал домой вернуться.
Теперь его мы часто зрим
по «ящику». Как говорлив!
А включишь радио – вновь с ним
черт не попустит разминуться.

Сверкает в речи матерок,
да так уместно,
почти прелестно.
И сразу свой
и всем родной
американский половой.



Уроча / 62

Печальный древний род!
Тебе лишь поношенье
твое творенье.
И пусть всем свой –
тебе чужой
американский половой.

* * *

Так разрешится тупик – станет новою вехой.
Знакомый в чашобе страх – на дорогу не выйти.
Немного саднит душа.
Придется собраться с силами и потерпеть.
Что это было?
Поддавшийся искушению не может остановиться
и легко с собой соглашается не замечать –
пока не стукнет его пребольно.
Ай!
И больше нельзя притворяться,
и с пересохшей гортанью незачем жить.
Влага – пока наберется, сочась за каплею капля...
Нужно придавленный хламом очистить родник.

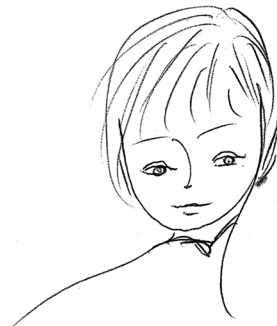
* * *

соки жизни
в человеке
как в березе
или дубе
когда не о чем
и нечем
шевелинутся еще
губы
может быть
мольба
получится
может
стоит
жить и мучиться



* * *

так просто хотело жить
так просто хотело петь
где-то бродит
брови хмурит
уйти не может
невозможное



* * *

виртуальности слом
в щель забиться
тикать сверчком
и нашарить дом
южной ночи тишь
прут прыгучий
ступени вниз
где белеет мазанка



* * *

Как радостно мечтать о том,
чего не будет никогда,
что недоступно и не воплотится,
и всеми силами души стремиться
к чему-то невозможному. О да!



И многое сбывается попутно,
поддерживая жизнь ежеминутно...

Но возникает снова – манит, вьется, –
что лишь томит, а в руки не дается,
что не дается в руки никогда.

* * *

Не пиши стихов –
просто так живи:
счастья краткий миг
в этот миг лови.
ЩАСТЬЕ только ЩАС!
Что идет в запас –
с первых дней горчит...



Брянск.



Елена Романенко

СЫН

Жила-была на свете тупая собака. Не виновата она в этом была. И папа и мама тупые были. Гены...

Папа на стоянке машины сторожил – обычно спал, а просыпался только при хрюканьях, когда те ругались. Когда сперли четвертую машину, его отдали собачникам. Те из него красивую шапку сшили.

А мама (её Тайгой звали) во дворе частного дома жила. С папой они случайно познакомились. Тоже тупая была. Воры ночью заходят – она хвостом им машет. А вот если днём, да родственники, то более свирепой собаки никто и не видел. Самой суровой славилась. Но если подойдет кто с куском хлеба – опять же хвостом машет. Есть всегда хотела.

И дочь их такая же дура выросла. Большая и глупая. За курами любила гоняться. Псину и на цепь сажали, и орала на неё – без толку. Всё равно подстережёт и задавит. Продали бестолковщину за рубль.

Баба Ньюра, хозяйка новая, тоже с ней намучилась, кур-то все держали. Как-то накинула ей на шею петлю, встала с той стороны заборчика, веревку натянула, но собака тяжёлая, плохо висла, визжать начала. Нехорошо, когда все слышат. Солдатов пригласила. Полшкура обещала. Почти овчарка, только уши висят, но для шкуры какая разница? На шапку или унты. Самое то.

Согласились они, баба Ньюра им бражки выставила. Собака большая, шкура широкая, пропили бы за милую душу... Да не смогли. Она так в глаза смотрела, что один солдатик, Лешка, даже заплакал. Он самый пьяненький был, понятно. Но и другие двое тоже говорят:

– Теть Ньюр, давайте мы лучше вам дрова переколем. Или сена привезём. Даже если вы не косили.

Так и пришлось мучиться с этой дурой. Дамкой назвали. А потом баба Ньюра и привыкла даже.

А куры, те, что выжили, к будке подходить перестали – поумнели. Дамка тоже привыкла. На двор кто заходит – надо лаять. Погавкает ночью с полчаса яростно – баба Ньюра костей наутро выносит: думает, воры лезли, Дамка отватила. Да и всегда булку хлеба в день. Хорошо. Так хорошо, что Дамка даже детей надумала завести. У собак-то это проще: если сама жива, значит, будут жить и щенята...

Оказалась не права Дамка – баба Ньюра всех шестерых утопила. Ох, и выла Дамка потом! А что делать?

А у Муськи местной тоже в это время дети родились. Баба Ньюра троих-то высмотрела, вытащила из-под сарайки и в то же ведро, а Мурзик с детства умный был – не вылез и голоса не подал.

Так и вырос. Единственный сыночек на двоих с кошкой. Муська ревновала, правда, – её ведь сын, кошачий. Но Дамка его не отдала. Как только выполз, глаза открыл – в будку спрятала. Там и держала, а кормили обе: кошка в собачью будку залезала. Вот и вырос им на радость.

Да и баба Ньюра потом ругаться перестала. Когда Дамка крысу задавила и Муське отдала. А Муська, не будь дурой, сыночку выложила. Ну, а уж Мурзик не сплеховал – сел с этой крысой (маленький ещё, сам чуть больше крысы) на крыльцо и урчит. Ба-

ба Ньюра утром выходит, а тут крысолов такой! Она только руками всплеснула – вот умница котёнок! И в дом его взяла. А Муську к Дамке в будку отправила – пусть во дворе живёт, раз мышей не ловит.

По правде-то, Муська мышей ловила, ими и питалась, но иногда у Дамки хлеб ела. Дамка позволяла. Они вообще дружно жили. Когда крысу поймают – всегда Мурзику отдадут, а уж Мурзик на глаза хозяйке тащит. Баба Ньюра хвалила, а Дамка с Муськой радовались – сын всё-таки...

КЛОП-САМОУБИЙЦА

Клоп знал, что всё в его жизни кончено. Его самая любимая женщина изменила ему. Изменила с мерзким зеленым вонючим клопом. Клоп и сам был таким, но этого не признавал.

Теперь ему оставалось только повеситься. Но так как клопы не вешаются (а также не закалывают себя ножами и не стреляются из пистолета), клоп решил полететь в город: люди сволочи, источники опасности, всё равно кто-нибудь да прилётит.

В песочнице его никто не прибил. Наоборот, глупые детишки заорали:

– Ой, какой клопик! – И потом полчаса наблюдали, как он вязнет в песке, выбираясь на свет божий.

«Надо быть ближе к людям», – подумал клоп и полетел на балкон. Вскоре туда вышла кошка и попыталась его съесть. Не успел клоп обрадоваться, как кошка с отвращением его выплюнула и ещё полчаса отплевывалась.

«Даже этой я не по вкусу», – расстроился клоп.

Потом на балкон вышла женщина и опять же (хотя он об этом мечтал всеми силами) не раздавила его, а только отшвырнула тапочкой:

– Вот дурашка.

Несколько секунд он по привычке изображал из себядохлого, потом подумал: «Какого чёрта, я ведь тавокнуться хочу!» – перевернулся на ножки и опять потащился к женщине.

Она опять отшвырнула его тапочкой:

– Вот тупой.

Клоп обиделся. Он не тупой, просто не хочет жить. Пережив обиду, он перевернулся на ножки и опять пополз к женщине.

В этот раз она сказала что-то непонятное:

– Ёпрст!!! – И опять же отшвырнула.

Клоп решил не сдаваться.

Женщина взяла пустой спичечный коробок и закрыла в нем клопа.

«Ну, наконец помру», – подумал клоп.

Ничего подобного! Женщина открыла коробок за балконом, и клоп начал падать. Пролетев четыре этажа, он оказался на земле. Не убился, конечно, – клопы от падения не страдают. Встал на ножки и подумал: «А зачем мне вообще кончать жизнь самоубийством? Я спокойно могу улететь в другой лес и найти себе там новую клопиху».

Не успел клоп выпрямиться от этой мысли, как вдруг на него наступила большая человеческая нога.

Клоп умер, не успев понять этого.

Челябинск.

Светлана Тремасова

ДЕВУШКА И ЛЮДОЕД

Полюбила одна девушка мясника-людоеда. Жил он один за городом посреди дремучего леса, а работал на центральном рынке мясником. Людей он ел редко, но все-таки ел – на то он и людоед. Конечно, на рынке и в городе он никого не трогал, но уж если какой одинокий путник постучится в дверь его дома или какой пьяный дурак заблудится в его лесу – не избежать ему участи стать первым блюдом на обеденном столе. Хотя, бывало, и таких людоед отпускал, так что люди даже сомневались в том, людоед ли виноват, если кто сгинул.

А вот жену свою он точно съел. Была, говорят, у людоеда жена, тут же на рынке зеленью торговала, да только однажды она пропала. На рынке с той поры не появлялась, в городе её тоже никто не видел, и те, кто потом выбрались из людоедова дома живыми, говорили, что в доме её тоже нет – один людоед живет, как цветок в горшке.

– Видно, не выдержал людоед, съел свою жену, – говорили одни.

– Что ж, знала же она, за кого замуж пошла, – кивали другие.

Но вернёмся к нашей девушке. Девушку эту по выходным дням матушка её брала с собой на рынок. Ходили они на рынок с двумя большими корзинами. Когда одна корзина наполнялась продуктами, матушка оставляла дочку в каком-нибудь уголке корзину полную сторожить, а сама с пустой корзиной отправлялась вновь по торговым рядам. Скучно было девушке стоять в уголке в ожидании матери, оттого и развлекала она себя тем, что глаза по сторонам, разглядывала прилавки, покупателей, продавцов. Вот так однажды и увидела она мясника-людоеда. Он разделывал большую тушу какого-то зверя большим топором, да так ловко, топор порхал в его руке как бабочка, и руки у него крепкие, такие, которые будто всё к себе притягивают и любое дело делают аккуратно и ласково, словно любят. Людоед и впрямь любил свою работу, а потому и лицо, и походка, и руки были у него довольные и счастливые. Он всегда был рад покупателям, всегда готов был помочь выбрать кусочек посочнее и посоветовать, как его получше приготовить. Любили за это люди людоеда, хотя и побаивались. Вот и девушка: как загляделась на него – глаз отвести не могла, потом всю неделю только о нем и думала. А в выходной пошла с матушкой на рынок и опять встала в тот же уголок, откуда мясника было видно, и, пока матушку ждала, не сводила с него глаз. Так ходила она на него смотреть целый год, а потом вдруг сказала:

– Не могу я больше жить без мясника! Пойду к нему – пусть потом съест меня, а хоть несколько дней побуду с ним рядом!

И пошла. Вышла за город, идет по тропинке вдоль леса, и чем дальше заходит, тем страшнее ей становится. Лес всё темнее, девушке всё страшнее. Вдруг выходит из лесу старушка древняя:

– Куда идешь, девица?

– К людоеду, бабушка.

– Так ведь съест он тебя, девица, – пожалела её старушка.

– Да ведь жизни мне нет без него, бабушка, – отвечала девушка.

– Жаль мне тебя, девица, – задумалась старушка, – дай-ка превращу я тебя в паучка, будешь до конца века с ним жить, а съест-то он тебя не съест!

И не успела девушка опомниться, как уже стала паучком и оказалась в тёмном углу в доме, где жил людоед. Сплел паучок паутину и стал ждать людоеда.

Возвращается людоед вечером домой по лесной тропинке и вдруг видит – идёт ему навстречу старушка. Схватил он старушку и говорит:

– Съем я тебя, бабушка. Не могу я больше терпеть, я ведь людоед, а людоеды должны людей есть.

– Жаль мне тебя, людоед, – сказала ему старуха, – дай-ка превращу я тебя в муху.

И стал людоед мухой.

Прилетела муха в дом людоеда, летала, летала по дому да и попала к паучку в паутину. Тут паучок её и съел.

КУВШИН

Далеко-далеко, на самом краю земли, жила-была старуха. И была она несчастная, всегда злая и недовольная. Всех родных своих она пережила, всех соседей выжила и теперь жила одна в бедном домишке и оттого становилась все злее и злее. Ей не нравилось, как огонь горит в печи, как скрипит половица. Она ворчала на старый чугун за то, что он стар, бранила дрова за то, что они отсырели, ругала одеяло за то, что оно обветшало. И не было ни одной вещи вокруг, которую не осыпала старуха своими проклятиями. От её ругани сморщивалась картошка в погребе, мыши в подполье околевали, в доме всё начинало дрожать и трястись. Но вещи были очень стойкими: они держались до последнего. Конечно, многие из них даже мечтали поскорее испортиться, сломаться, порваться, треснуть, чтобы старуха наконец выкинула их и они смогли бы хоть недолго пожить в тишине. Но, увы, старуха без конца чинила и латала вещи да рассовывала по углам – вдруг пригодятся!

Одной из самых старых вещей в доме был небольшой кувшин из красной глины. Когда-то давным-давно старуха наливала в него воду, чтобы поливать цветы, которые росли в горшках на подоконнике. Но цветы уже давно погибли, а вода в кувшине так и осталась. Простояла она целый век и день за днём впитывала в себя старухину злобу. Сверху вода казалась по-прежнему чистой и прозрачной, а на дне... Кто знает, что стало на дне со старухиной злобой и сколько её там накопилось, ведь ругалась старуха каждый день долгие, долгие годы.

Но вот однажды забрёл к старухе одинокий охотник – он охотился в чужом лесу и заблудился.

– Здравствуй, бабушка!

– А тебя разве кто звал сюда здравия желать? – заворчала на него старуха. – Мне твоё здравие не нужно, я и так тебя переживу.

– Сколько же вам лет, бабушка? – спросил охотник.

Бабушка



В оформлении использованы детские рисунки

– Кто не считает, тот дольше живёт, – проворчала старуха.
 – Я давно хожу по лесу – не могу найти дороги...
 – Я дорог не знаю – никуда не хожу.
 – Может, пустите переночевать, ночь приближается.
 – Некуда мне тебя класть!
 – Так дайте хоть воды напиться.
 – И дорогу ему, и ночёвку, и воды... – продолжала ворчать старуха, да и налила ему воды из старого кувшина.

Выпил охотник той воды и тут же упал замертво. Положила его старуха на лавку, поворчала и легла спать.

Наутро охотник весь почернел и покрылся будто прочной древесной корой. Ходила вокруг него старуха ходила, ворчала-ворчала, пару разхватила по нему коромыслом – раздался глухой стук. Хотела было его выкинуть, но передумала, решила подождать, что дальше будет.

На третий день раздался треск – лопнула скорлупа. Вышел из неё охотник целый и невредимый, как прежде, и говорит старухе:

– А нет ли, бабушка, у тебя чего поесть, очень уж я что-то проголодался.
 – Тьфу ты, – разозлилась старуха, – вот свалился на мою голову, то ему попить, то ему поспать, а теперь ещё и поесть...

А охотник-то её не слышит:

– Что ж ты, бабушка, молчишь? Видать, старушка немая, да может ещё и глухая! Дай-ка, бабушка, я тебе помогу: живёшь тут, бедная, одна, некому тебе помочь-то...

Тут старуха совсем разозлилась:

– Ах ты, жалостливый какой ты выискался! Это я-то немая? Я – глухая? Я вот сейчас как возьму коромысло, да как садану тебе по уху! Это ты у меня оглохнешь, это

ты у меня онемеешь! – И схватила она коромысло.

А охотник её не слышит. Взял из рук её коромысло, говорит:

– Это верно, бабушка, за водой надо сходить перво-наперво.

А старуха – за ним, и опять кричать:

– Ай, соколик, да ты и так оглох! Аль не слышишь ты бабку старую? Али вздумал ты провести меня? Али хочешь изжить со свету белого?!

Так ходила она за ним ходила, бранила его бранила. А охотник её не слышит – видно, водица старухина так подействовала, что не стал он слышать её злую ругань. Нарубил дров, растопил печь, тесто замесил, в печь горшки поставил.

– Или я здесь теперь не хозяйка!? – причитала за ним старуха.

А охотник накрыл на стол, у него в горшках щи да каша:

– Садись, бабушка, есть будем.

Но старуха не унималась:

– Ишь, ещё за столом я с тобой не сидела! Щей с тобой из одного горшка не ела!

Наелся охотник, сунул в котомку коврижку.

– Ну, спасибо тебе, бабушка, за хлеб-соль, пора мне свою дорогу искать. – Покло-
нился он ей и ушёл.

Села бабка за стол и заплакала.

УПРЯМАЯ ОЙМЕ

Все началось с юбки. Или, должно быть, с того, что в одной семье родилась девочка, и назвали её Марусей. А в далекой глухой деревне, за семью лесами, за семью холмами жили три её бабушки. Узнав о рождении внучки, они тут же пришли её навестить. Склонившись над колыбелью, бабушки беззвучно пошептались и решили подарить Марусе юбку. Обычную льняную юбку с незатейливой вышивкой по краю. И ещё дали девочке другое имя, потому что был такой обычай: в их деревне все имели другие имена, не те, что в городе. Имя ей дали – Ойме, что на языке бабушек означает «душа».

Юбка оказалась длинной, почти до самых пят, но Марусе это так нравилось, что она всегда и везде ходила только в этой юбке. Даже самые красивые платья, которые мама приносила из магазина, Маруся надевать не хотела, и маме приходилось относить новые наряды обратно в магазин. Потому скоро девочку и прозвали – упрямая Маруся.

Шло время. Маруся ходила в детский сад, потом в школу. Летом родители отвозили её в далекую глухую деревню за семь лесов, за семь холмов, и девочка гостила по очереди у каждой бабушки. Бабушки называли ее Ойме и рассказывали ей давние истории, похожие на сказки. Так, не торопясь, катились годы как старая скрипучая телега. Маруся росла, вместе с ней росла и юбка, и была по-прежнему длинной, почти до самых пят.

Но вот однажды, когда Маруся легла спать, мама, как обычно, потихоньку взяла юбку, чтобы постирать. Наутро, одевшись, Маруся увидела, что юбка вдруг стала коротка.

– Ты просто выросла, моя девочка, – сказала мама, – все вещи когда-нибудь становятся малы.

– Не знаю, – заупрямилась девочка, – но эта юбка никогда не была мне мала. Отвези меня к бабушкам, пусть они пришьют к юбке оборку, чтобы она стала такой же как прежде.

– Я не могу, – ответила мама. – Это очень далеко, а мне нужно на работу. Подожди хотя бы один месяц – тогда я смогу взять отпуск и отвезу тебя в деревню, а лучше давай купим тебе новую юбку.

Но Маруся не хотела другую юбку, и ждать целый месяц она не могла. Поэтому, когда мама ушла на работу, девочка решила пойти в деревню сама. Дороги туда Маруся не знала. Родители, когда везли её к бабушкам, ехали на автобусе, потом на электричке, потом снова на автобусе и ещё долго шли через поле и лес. Но бабушки всегда приходили в город пешком, что получалось гораздо быстрее. И Маруся отправилась пешком, чтобы не терять времени даром.

Вышла Маруся из дому и пошла прямо по улице. Долго ли, скоро ли, но улица закончилась, начались поля и луга, вдали виднелись длинные домики фермы и пастбища с пятнистыми коровами. Огляделась Маруся и видит: справа, в лихом бурьяне, два столба стоят каменных – ни ворот, ни забора, только петли ржавые на ветру скрипят. И тянется к столбам тропинка едва приметная, а меж ними совсем теряется. Пошла Маруся по тропинке, прошла меж столбов, глядь – перед ней знакомый подлесок, лужайка зелёная и пыльная кривая дорога, что в деревню ведёт. А по дороге старая телега едет, такая старая, что всё в ней ходуном ходит, и скрипит, и грохочет: кул-дор – кал-дор-р, кул-дор – кал-дор-р. В телеге, как в корыте, сидит старуха, такая худая и костлявая, будто из палок сделана. Другой бы назвал её Бабой-ягой, но здесь её зовут Кулдор-баба, или Кулдыркай, что значит – скрипучая, как старая телега.

– Здравствуй, Кулдор-баба, – громко сказала Маруся.

– Здравствуй, упрямая Ойме, – проскрипела старуха, будто не она, а телега заговорила. – Не в деревню ли идешь?

– В деревню, – ответила девочка.

– Садись, довезу.

Села Ойме в телегу на соломенную подстилку, сняла башмачки и, болтая босыми ногами, смотрела, как медленно тянется из-под кривых колёс пыльная дорога, а птички с деревьев испуганно разлетаются от громкого скрежета. Казалось, пешком добраться было бы скорее, но не успела Ойме оглянуться, как телега остановилась у ворот дома её первой бабушки. Спрыгнув с телеги, Ойме смахнула часть соломы и увидела, что сидела на большом плоском камне.

– Что это ты везёшь, Кулдор-баба? – удивилась девочка.

Но старуха вдруг так погнала свое корыто, что его и след простыл, только пыль поднялась до небес.

Бабушка сидела на крыльце и вязала носки.

– Здравствуй, бабушка, – бросилась к ней девочка.

– Здравствуй, упрямая Ойме, – обняла её бабушка.

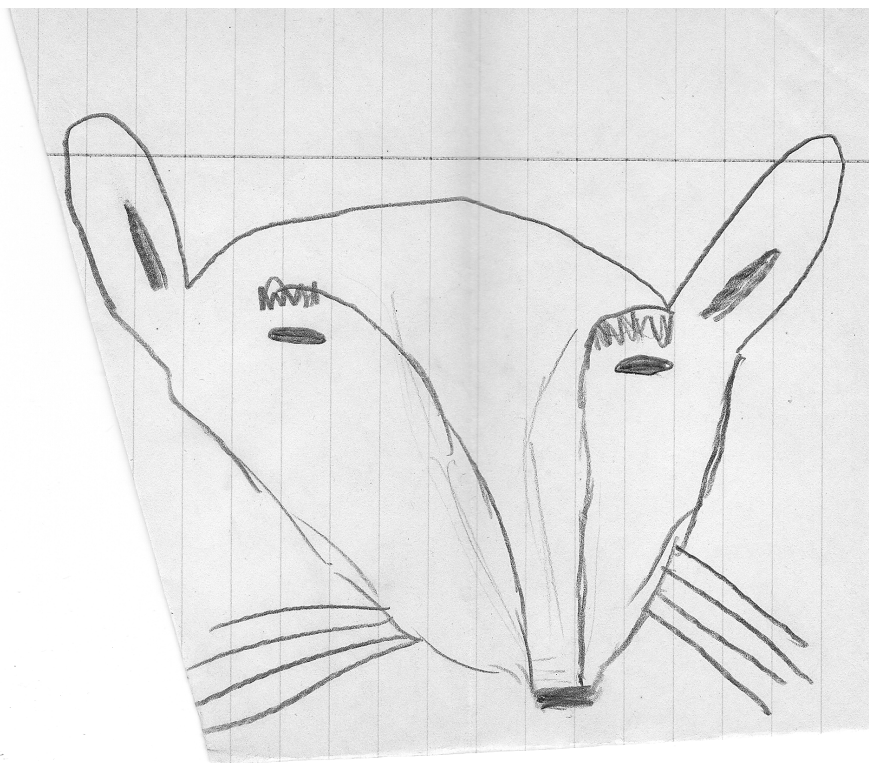
– Посмотри, – сказала ей Ойме, – юбка стала мне коротка. Ты можешь пришить к ней оборку, чтобы она стала длинной, как прежде?

Открыла бабушка сундучок с рукоделием и говорит:

– Есть у меня и ткань на оборку, и нитка тоже есть, только вот беда – все иглы переломались. Найдешь иглу – будет тебе оборка.

Попрощалась девочка с бабушкой и отправилась на поиски иглы. Вышла Ойме за ворота, пошла по дороге, долго ли, скоро ли, оказалась в лесу. Шла, шла да задумалась: куда идти и как же в лесу иголку найдёшь? Где вообще эти иголки водятся, у кого встречаются и из чего же они делаются? Пока думала – тропинка без неё в другую сторону убежала, и девочка заблудилась.

Долго плутала Ойме по лесу. От назойливых дум разболелась её голова, от долгого пути устали её ноги. Наконец она вовсе измучилась и решила забраться на дере-



во – посмотреть, не близко ли деревня, но её остановил запах еды. Ойме вдруг так захотелось есть, что у неё даже голова закружилась. Она пошла в ту сторону, откуда вкусно пахло, и скоро вышла к избушке, сидящей в земле по самые окна. Возле избушки у костра Кулдор-баба сидит, крутит на вертеле большого жирного гуся. Увидев сочное жареное мясо, Ойме едва сдержалась, чтобы не кинуться к огню. Увидела её старуха и спрашивает:

– Чего ты хочешь, упрямая Ойме?

– Мне нужна игла, – выговорила девочка, едва держась на ногах.

Тогда старуха поднялась и вынесла из избушки миску с отваром и связку перьев. Отвар дала выпить Ойме, и та сразу почувствовала в себе силы и тут же забыла об усталости и голоде. Перья же Кулдор-баба воткнула в жареного гуся. Гусь встрепнулся, спорхнул с вертела и полетел, без головы, но быстро и верно.

– Скорей беги за ним! – крикнула старуха, и Ойме побежала за гусем что было сил.

Долго ли, скоро ли, долетел гусь до большой поляны. На одной её стороне стоял дом: синий, белый, голубой – весь ледяной; на другой стороне – тоже дом: жёлто-красный – огненный. А посреди поляны – кузница. Покружил гусь над поляной, залетел в кузницу и упал на наковальню – только перья посыпались, а наковальня зазвенела громко на всю округу – хоть уши затыкай. Услышав звон, выскочили из домиков два старика: один седой с голубой бородой, другой огненно-рыжий. Подбежали они к Ойме, стали палками трясти и кричать наперебой: кто такая к ним пожаловала да посмела их будить, триста лет они тут никого видеть не видывали, слышать не слыхивали! Или двести? или даже пятьсот? – заспорили старички меж собой. Ойме только удивлялась и смотрела, как спорили старички: один при этом

вспыхивал и искрился, другой – плевался и шипел. Наконец они вспомнили о девочке:

– Чего тебе надо, упрямая Ойме? Зачем ты пришла?

– Мне нужна игла, чтобы пришить оборку к юбке, – ответила девочка.

Старички почесали макушки и наперебой стали объяснять, что сначала Ойме должна приготовить им обед и навести порядок в их домах, потому что уже двести лет – или пятьсот? – дома их никто не прибирал и обеды им никто не готовил. И старички снова заспорили. Долго бы Ойме пришлось их слушать, если бы не гусь, – сбросив перья, он снова стал горячим, как на костре, и от него снова потянулся вкусный сочный запах жареного мяса. Сладкий запах долетел до старичков, и те, вдохнув, сразу сообразили, откуда так пахнет, и бросились в кузницу наперегонки.

Ойме взялась за работу. Заглянув в первый дом, она чуть не превратилась в ледышку прямо на пороге. Дом был похож на большую ледяную гору, окон не было видно, двери примёрзли. От другого дома исходил такой жар, что, казалось, он вот-вот вспыхнет как спичка. Невозможно было подойти близко даже к крыльцу.

Ойме нашла длинную палку, намотала на ее конец сухой травы, мха и коры и зажгла свой факел от огненного дома. Растопив огнем заледенелую дверь, она набрала в лесу хвороста и развела огонь в оледенелой печи. Печка разгорелась, наледь с домика текла ручьем. Ойме сделала небольшую канавку от одного дома к другому и направила по ней воду от ледяного дома к огненному, и ещё сама из вёдер поливала разошедшийся от жара дом. Дом шипел, от него клубами шёл пар.

Много хвороста сгорело в печке, много вёдер перетаскала Ойме, пока наконец один дом совсем не оттаял, а другой не остыл. Старички остались довольны работой Ойме и выковали ей прочную стальную иглу.

Ойме скоро вернулась к бабушке, и та пришила к юбке широкую оборку. Девочка так обрадовалась, что тут же заспешила домой, но на дворе уже темнело, и бабушка сказала:

– Куда же ты пойдешь на ночь глядя? Утро вечера мудренее.

И девочка осталась до утра. Но наутро, одевшись, Ойме увидела, что даже с оборкой юбка опять коротка.

– Я больше не могу тебе помочь, – сказала первая бабушка, – вторую оборку может пришить только вторая бабушка. Но прежде чем ты уйдёшь, я сделаю тебе подарок. – И бабушка надела внучке на руку старинный широкий медный браслет. Девочка поблагодарила её, попрощалась и направилась по дороге к домику второй бабушки.

Вторая бабушка сидела на скамье за прялкой и пряла грубую толстую нить из овечьей шерсти. Выслушав просьбу Ойме, она сказала:

– Я пришью тебе вторую оборку. Есть у меня и лоскут ткани, и игла тоже есть, только вот нить у меня грубая, толстая, – шерсть овечья уже старая, такой нитью только худые мешки зашивать.

И Ойме отправилась на поиски нити.

На сей раз она ни о чем не думала, просто шла себе, и тропинка расстилалась перед ней, птички кружились вокруг, весело чирикавая, деревья играли листвой с солнечными лучами. Ойме с такой радостью смотрела на цветущую пахучую траву, слушала шелест и щебетанье, что не заметила, как подошла к знакомой избушке, вросшей в землю по самые окна. Вылезла ей навстречу старуха Кулдыркай.

– Здравствуй, Кулдор-баба! – обрадовалась Ойме.

– Здравствуй, упрямая Ойме, – проворчала старуха, схватила девочку и сунула её в глубокую черную яму, а сверху накрыла большим плоским камнем, оставив только

узкую щель, в которую едва проникал тонкий лучик света. Ойме даже крикнуть не успела, как оказалась в этой западне, в крошечной тьме, и услышала удаляющийся скрип шагов Кулдор-бабы.

Земляные стены были гладкие и высокие, и Ойме не могла даже дотянуться до камня. Лучик света, пробивавшийся сквозь щель, скоро исчез. Ойме села на соломенную подстилку, которую нашла у себя под ногами, и задумалась: что же ей теперь делать? Сначала она думала, что скоро вернётся Кулдор-баба и скажет, зачем она её сюда посадила и что нужно сделать, чтобы отсюда выбраться. Но Кулдыркай всё не шла, и Ойме показалось, что она может здесь что-то найти. Она пядь за пядью обшарила всю яму, но ничего не нашла и снова села ждать. А вдруг старуха Кулдор просто решила её съесть? Ойме не спала всю ночь, и только когда узкая полоска щели стала едва заметно светлеть, а в лесу послышались первые голоса ранних птишек, она успокоилась и заснула.

Наутро пришла Кулдыркай и спустила в яму корзинку с кувшином молока и миской каши.

– Не буду есть, – крикнула Ойме, – пока не скажешь, зачем ты меня сюда посадила!

– Ну и не ешь, – проскрипела старуха, – не больно дорога.

– А к чему посадила, коль не больно дорога?

– Знать, время пришло. – Кулдор села у ямы, сложив свои кости, словно дрова для костра. – Большая Анге, жена солнца-Шкая, мать всего живого на земле, решила тебя выдать замуж. Попала ты ей на глаза, не сидится тебе дома, упрямая Ойме.

– Как это – замуж? Я не хочу замуж! Я ещё маленькая! – испугалась Ойме.

– В самый раз. Посидишь ещё несколько дней и дозреешь.

– Дозреешь? Я же не редиска!

– Ну, редиска не редиска, а пора...

– А за кого хоть замуж?

– За медведя, Овто его у нас зовут.

– За медведя? За настоящего медведя? – удивилась Ойме.

– А то какого же? – ответила Кулдыркай, вытягивая из ямы корзину. – Так и есть: бурый, лохматый... Зато как спать с ним тепло. Особенно зимой... – Старуха собралась, встала с земли и поскрипела к своей избушке.

Просидела Ойме в яме ещё день и ещё ночь, и ещё день, и ещё ночь. Она разбила миску на черепки и попыталась скрести ими стену, чтобы сделать хотя бы выступ и дотянуться до камня, но стена оказалась такой твёрдой, что черепки просто крошились в мел. Старуха больше ничего не говорила, только приносила еду, и на вопросы только ворчала:

– Скоро уж, скоро...

Так прошло несколько дней. Наконец однажды, уходя уже, старуха проворчала:

– Расплетай, красавица, свои косы – завтра в баню пойдём.

Испугалась Ойме. От Кулдор-бабы нелегко сбежать, у неё руки длинные, шаги семимильные, а телега её – не гляди что скрипит, как разгонится, то и вчерашний день догонит. И помочь Ойме некому.

Тут увидела Ойме на стене последний лучик уходящего солнца. Говорят, нельзя наступать на луч света – наступишь на ногу солнцу-Шкаю. Этот лучик, может, всего лишь был клочком его бороды, но Ойме стала что есть силы колотить по нему кулаками, даже пыталась схватить его и дёрнуть, и, кажется, один раз ей это удалось. Но спасительный лучик скоро исчез. Делать нечего, села Ойме ждать следующего дня.

Сказка



Она почти уже засыпала, когда услышала наверху чей-то шорох – кто-то быстро перебирал лапками у самой щели.

– Кто здесь? – прошептала Ойме.

– Я – зайчик ушастый, – пропищали в ответ, – а ты кто?

– Я – Ойме, упрямая Ойме. Помогите мне, зайчик, отсюда выбраться. Завтра Большая Анге выдаст меня замуж за медведя, а мне ещё нитку для оборки найти нужно.

Потоптал зайчик лапками, посучил ушками и сказал:

– Ладно, упрямая Ойме, завтра на рассвете я опушу в яму свою руку, по ней ты и выберешься на землю. До завтра, упрямая Ойме. – И зайчик убежал.

– До завтра, – удивлённо ответила Ойме, но тут же обрадовалась. Как же она сразу не догадалась, что это был сам солнце-Шкай! Все знают, что по ночам он любит превращаться в зайца, когда ходит по лесу, или в свинью, когда идёт в деревню подслушивать под окнами – где что происходит. Конечно, у него много помощников, и он всегда всё знает – ему сверху всё видно, но он же такой непоседа, сам хочет видеть, что ночью без него на земле творится. И Ойме спокойно заснула.

Первый лучик солнца, попавший в яму, был такой тонкий и прозрачный, что Ойме испугалась: щель слишком мала, как рука Шкай пролезет в неё? Да и сама Ойме сквозь неё не протиснется. Вслед за первым лучом пришла Кулдыркой. Она подвинула камень, и в яму упал широкий солнечный столб.

– Ну что, красавица, – склонилась Кулдыркой над ямой.

– Погоди-ка, а что это горелым пахнет? – спросила Ойме. – Не твоя ли телега там горит?

Испугалась Кулдор, бросилась к своей телеге. Солнце залило всю поляну так, что ослепило ей глаза, а Ойме забралась на руку Шкай и полезла вверх, цепляясь за рукава его рубахи. Увидела старуха, что обманула её Ойме, протянула длинную костля-

вую руку и сдёрнула с плеча Ойме косынку. Ойме так испугалась, что полезла ещё быстрее. Тогда Кулдор прыгнула на руку Шкай, но рука рассыпалась под ней на множество солнечных лучей, и старуха упала в яму.

По руке Шкай Ойме забралась на самое солнце. В желтом мареве посреди него стояла широкая круглая кровать. На её краю, болтая босыми ногами, сидел старичок в белой вышитой рубахе, с длинной седой бородой, всклокоченными волосами и большими смешными ушами. Его глазки искрились, и весь он хохотал.

– Здравствуй, дедушка солнце-Шкай! – поклонилась ему Ойме. – Спасибо тебе за помощь.

– Здравствуй, упрямая Ойме, – ответил Шкай, утирая рукавом смешливую слезу. – Это тебе спасибо, меня повеселила. Давно так не прыгала старуха Кулдыркой! Как она в яму угодила! – И он снова расхохотался.

Огляделась Ойме и удивилась:

– Не думала, что на солнце только кровать стоит и больше нет ничего.

– Всё у меня есть, только – зачем? – пожал плечами Шкай. – Лежу тут целый день, рукою – в поле, ногой – в лесу, борода в реке плещается, носом облака гоняю, всё вижу, всё знаю. Надоест, так повернусь в другую сторону, и уже рука в реке купается, с бороды в поле солнечный дождик идёт. Вот. Работа у меня такая... А вообще – скучно стало. Очень давно не приходил к нам никто... Да ты садись. – Он махнул рукой, и перед Ойме появилась широкая лавка, убранная мягким солнечным светом.

– Спасибо тебе, солнце-Шкай, но мне пора идти, – заспешила Ойме.

– Куда же ты идёшь, упрямая Ойме?

– Мне нужно отыскать нитку, чтобы вторая бабушка пришила к юбке вторую оборку.

– Но это же прямой путь к Анге! – Шкай подпрыгнул на кровати. – Она у нас великая ткачиха и пряха.

– Значит, я пойду к Анге.

– Она же выдаст тебя замуж!

– А я скажу, что ни за что не выйду замуж, пока моя юбка не станет такой же, как прежде, и пока сама не захочу выйти замуж, может, даже вообще никогда не пойду!

– Ну, юбка тебе тогда уже не понадобится – для тебя давно готово другое платье, а вот на такие слова Анге может обидеться и превратить тебя в курицу. Курица – любимая птица Анге. Знаешь, почему? Потому что она каждый день несёт яйца! – и Шкай вдруг снова расхохотался. – И будешь ты Ойме-курица! Вот потеха!

– Хорошо, – сказала Ойме. – Я знаю, что летающая по осени паутина – это шерсть с прялки Анге-бабы. Я дождусь осени, соберу её и спряду нить.

– Тебе понадобится не одна осень, – ответил Шкай.

– Тогда я иду к Анге, и пусть она превращает меня хоть в курицу! – воскликнула Ойме.

– Подожди. – Шкай перестал смеяться. – Раз ты такая упорная, Ойме, я помогу тебе. Анге-баба своей нитью каждый год вышивает мне новую рубаху...

Шкай расправил подол своей рубахи, потянул за нить и начал сматывать в клубок шитые цветы и травы. Он распустил целую полосу и протянул Ойме клубок:

– Ступай, упрямая Ойме.

Шкай посадил её на свою ладонь и опустил на землю прямо перед крыльцом домика второй бабушки.

Пока бабушка пришивала к юбке вторую оборку, Ойме заснула на лавке и проспала всю ночь. Наутро она увидела, что юбка, даже со второй оборкой, ей коротка.

– Ты совсем выросла, внучка, – сказала бабушка.

– Нет, – ответила упрямая Ойме, – я пойду к третьей бабушке, и она пришьёт мне новую оборку.

На прощанье вторая бабушка крепко обняла её и подарила ей свои серебряные серьги.

Третья бабушка была самая старая и уже ничего не шила, не вязала и не пряла. Иглу и нить она нашла, но, как ни искала, не могла найти куска ткани для оборки, и отрезать его не от чего – всё уже старое, ветхое. И Ойме пошла искать полосу ткани.

Долго ходила Ойме по лесу и никак не могла никуда прийти. Всё в лесу от неё будто пряталось: идёт, идёт, обернётся – знакомый пень торчит: как же она мимо него прошла? А вернётся – не пень это, муравейник. Раз показалось, что за кустом сама Кулдыркой стоит, подошла – сломанное дерево. Только тропинка бежит себе, будто всё как надо.

Сильно рассердилась на Ойме старуха Кулдыркой, когда вылезла из ямы, но вспомнила, что осталась у неё косынка Ойме. Взяла Кулдор косынку и заколдовала её неодолимым страхом. Позвала старуха из леса злую девчонку-оборвыша Варду и сказала ей:

– Поди отыщи Ойме и повяжи ей на шею эту косынку крепким-крепким узлом.

Побежала Варда, нашла Ойме и выскочила к ней из кустов. Остановилась Ойме, видит: выскочила навстречу ей девчонка – платье лоскутами, косички растрепаны, держит в руках знакомую косынку. Улыбнулась девчонка хитро, протянула косынку и за спину спрятала: догони! – побежала. Ойме за ней.

Девчонка лихо скачет да бойко увёртывается, хихикает да еще и рожицы корчит: то язык покажет, то глаза выпучит. Вредная девчонка да юркая. Ойме только её вот-вот схватит – та закружится веретеном, и уже в другой стороне. Никак Ойме поймать её не может, а Варда хихикает да глазки строит: все равно не поймаешь! Остановилась Ойме, думает: что за подвох? И девчонка встала. Постояла и сама к Ойме пошла. Подошла, косынку на плечи Ойме накинута, узелком завязала, а сама улыбается, будто любимой подружке подарок делает, и – стремглав исчезла в глуши лесной.

Потемнело вдруг в глазах Ойме, нашло на неё наваждение – страх неодолимый. Лес вокруг неё вдруг стал другим – чужим, страшным. Птички перестали весело щебетать, суетились теперь в заботах о гнёздах и в страхе за своих птенцов. Деревья стояли равнодушные, как столбы. Тропинка исчезла совсем и больше не появлялась. Ойме стало страшно: и как она раньше могла спокойно здесь ходить, когда лес полон змеями, дикими зверями, а по ночам холодно и сыро? Ойме захотелось поскорее выбраться отсюда. Она шла в одну сторону, потом вдруг пугалась, что идет не туда, шла в другую – и снова пугалась и пыталась вернуться назад.

К вечеру Ойме проголодалась, но от страха не могла понять, что можно есть, а чем можно отравиться. Ей очень хотелось пить, но она не могла сообразить, где взять воды. Наконец она поняла, что в лесу придётся ночевать, и это напугало её ещё больше. Она в ужасе бегала от дерева к дереву, собирала ветки, рвала траву, пыталась устроить себе ложе в разросшемся кустарнике у опушки, но вспоминала о ядовитых змеях и лезла на дерево. На дереве она боялась заснуть и упасть – тогда она слезала вниз и сидела, прижавшись к стволу. Но какой-нибудь шорох, крик, хруст снова загонял её на дерево. Так она металась до утра, не смыкая глаз, затаив дыхание.

Но и утро было тяжёлым: Ойме хотела есть, хотела пить, ещё больше хотела спать и снова не знала, куда идти. Голова её кружилась, сердце стучало в ушах, она



боялась солнца, боялась тени, ей хотелось бежать и бежать куда-нибудь, лишь бы укрыться от этого страха, который не давал ей ни остановиться, ни найти нужную дорогу.

Так, без сна, одержимая страхом, днем и ночью шаталась безумная Ойме по лесу. Она уже ничего не видела на своём пути. Даже дикие звери шарахались от неё и провожали недоверчивым взглядом. Рассудок почти покинул её, осталась лишь одна мысль: идти, идти, но куда и зачем, Ойме уже не понимала.

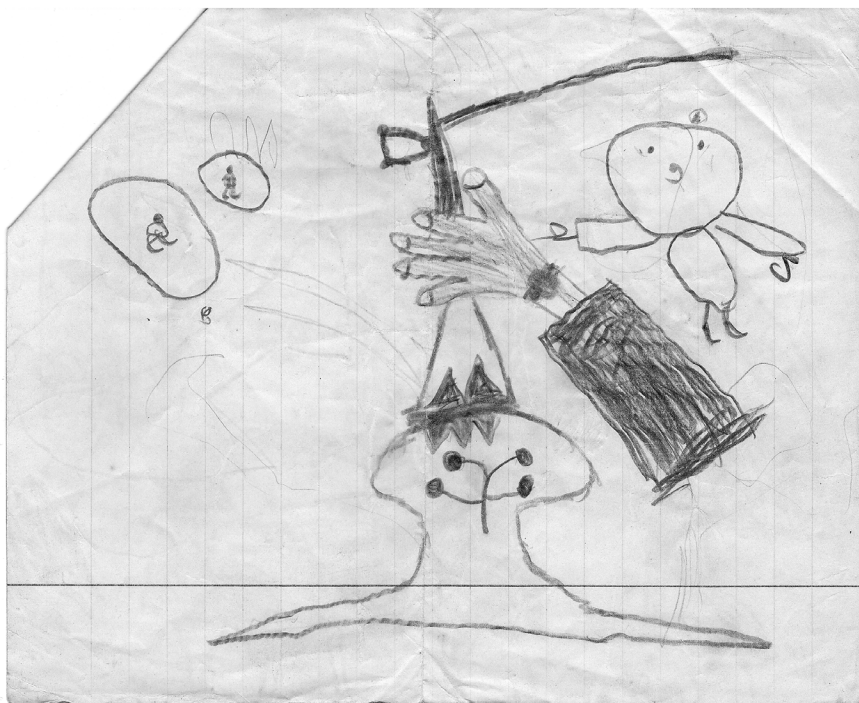
Мало ли, много ли времени прошло – успокоилась Кулдыркай, перестала сердиться. Пожалела она Ойме, умирающую от страха, позвала из леса медведя Овто, того самого, за которого Ойме замуж идти не хотела, и сказала ему:

– Поди, Овто, отыщи Ойме, сними с её шеи платок, избавь от неодолимого страха.

Пошёл медведь Овто, нашёл бродящую по лесу Ойме и преградил ей дорогу. Увидела Ойме медведя и так испугалась, что тело её онемело. Она встала как столбик и не могла даже моргнуть. Медведь повернулся, и Ойме показалось, что глаза у него человеческие. И в тот момент, когда Ойме на минуту забыла о страхе и удивилась, медведь поднял лапу и дернул когтем узел, развязал его и стянул косынку с плеч Ойме. Вдруг в глазах Ойме всё закружилось, потом стало светло-светло, и она опустилась на траву и крепко-крепко заснула. Тогда Овто взял её и отнес в свою берлогу.

Долго и крепко спала Ойме, а когда проснулась, оказалась в незнакомой землянке на мягкой лежанке, покрытой овечьими шкурами. Она тут же вспомнила, как в страхе бродила по лесу, но поняла, что уже ничего не боится, и обрадовалась. Ойме

Кудыра



вышла из землянки и увидела медведя. Он сидел у костра и жарил на железном пруте куски мяса. Удивилась Ойме:

– Никогда не видела, чтобы медведь жарил мясо.

Медведь не ответил. Он подвинул ей деревянную миску с мясом и берестяной кувшин с молоком, протянул лепёшку.

– Спасибо, что ты меня спас, сама бы я, наверное, никогда не выбралась. А не ты ли ты медведь, которого Овто зовут? – спросила Ойме, беря лепёшку.

– Это здесь я стал Овто-медведем, а когда-то был человеком, – ответил медведь.

– Ты был человеком? – удивилась Ойме и села с ним рядом.

– Да, – сказал Овто. – Я жил далеко отсюда и был самым обычным мальчиком в самой обычной семье, но мне очень хотелось чуда. Мне так хотелось, чтобы со мной случилось чудо, что я ушел из дома и отправился путешествовать. Много исходил дорог, много повидал земель, но однажды попал в глухую, забытую всеми деревню. Приютила меня на ночь добрая старая-старая бабушка, рассказал я ей о разных дорогах, о чудесах, о которых слышал, и посетовал, что со мной-то чудес настоящих так и не случилось. Наутро отправила меня старушка в лес и сказала: «Найдешь в лесу старуху Куддыркой – будет тебе чудо». Долго ходил я по лесу – никого не смог отыскать. Вышел наконец на пыльную дорогу и снова пошел в ту глухую деревню. Вдруг подъезжает ко мне телега древняя, а в ней старуха – еще древнее телеги, остановилась и говорит: «Не в деревню ли?». Отвечаю: «В деревню». «Ну, садись, подвезу», – говорит. Сел я на телегу, а телега-то еле движется и скрипит, я прислушался: кул-дор-кал-дор-р... «Ага, – говорю, – значит ты – Куддыркой!» «Ну, раз ты узнал меня, – отвечает она, – будет тебе чудо! Будешь ты у нас медведем-Овто, а то в нашем лесу все медведи повывелись!» И превратила она меня в медведя. Ничего чудесней я никогда не видел! – засмеялся Овто.

– Когда же ты снова станешь человеком? – спросила Ойме.

– Не знаю. Стану. Когда-нибудь.

Ойме поела, выпила молока и сказала:

– Спасибо, Овто, но мне нужно идти.

Попрощалась с ним и отправилась в путь. Теперь она знала, что ей нужна ткань для оборки, и по-прежнему ничего не боялась.

Ойме шла, тропинка бежала перед ней, и лес вокруг был прежним обычным лесом, где жили самые разные звери, шумели деревья, росли цветы и травы, где птицы пели и вили гнезда, ползали змеи, рыли землю кабаны, и волки рыскали по путаному заячьему следу; лесом, где жила Кулдор-баба и солнце-Шкай поливал бородой сочную землянику.

Ойме уже довольно далеко ушла от землянки Овто, когда заметила, что медведь идет за ней.

– Я все же пойду с тобой, – сказал он. – Вдруг тебе понадобится помощь? – И они пошли вместе.

Долго шли они, не зная куда, как вдруг Большая Анге сама спустилась к ним с неба. Задрожала земля и прогнулась под её ступней, и стала перед ними большая женщина: сложения не богатырского, но сила от неё исходила, как жар от раскаленной печи.

– Не меня ли ты ищешь, Ойме? – раскатился её зычный голос. – Не хочешь ли сказать, что выходишь замуж? Будет свадьба весёлая, Ойме. Много будет волшебных подарков. Будете жить вы долго и счастливо. Будет всё у вас: доброе имя, красивые дети, хозяйство в достатке и старость в почёте.

– Не хочу я выходить замуж, мне нужна только ткань для оборки, – ответила Ойме.

– Овто станет опять человеком, если выйдешь за него замуж, а не выйдешь – навсегда останется медведем.

Сжалось у Ойме сердце. Повернулась она к медведю и взглянула Овто в глаза. Тверд был взгляд его и спокоен.

– Разве он не спас меня от страха, чтобы я не боялась идти до конца? – ответила Ойме.

– Хорошо, – сказала Анге-баба, – вот тебе полотно для юбки. Но за это ты станешь птицей.

Взяла Ойме полотно, поклонилась Анге до земли, и пошли они с Овто к третьей бабушке.

Бабушка была совсем стара, долго пришивала оборку. Когда юбка была готова, Ойме попросила медведя:

– Овто, обещай мне, что если Анге превратит меня в курицу, ты разорвёшь меня на куски тут же, не мешкая.

Овто молча кивнул головой.

– Но прежде чем ты наденешь свою юбку, упрямая Ойме, – сказала бабушка, – прими подарок и от меня.

И бабушка надела на шею Ойме подвеску из золотых монет.

Юбка оказалась ей впору и длинной – почти до самых пят. На минуту Ойме и Овто вместе отразились в большом старом зеркале: Овто стал молодым мужчиной, Ойме уже стала девушкой, сама того не заметив. Но через минуту Ойме присела, закинула руки назад, выгнула шею... Нос её стал вытягиваться в клюв, серебряные серьги – подарок второй бабушки – вдруг закружились вокруг головы Ойме, и появилась птичья головка, сияющая серебром. Золотые монеты рассыпались по стану, и пёрышки и крылья Ойме стали золотистыми. Браслет первой бабушки упал с крыла к ногам и сделал их медными.

Взмахнула птица-Ойме крыльями, вылетела в окно и закружила над домом, сияя опереньем. Взлетела птица-Ойме над землей и, увидев, как глубоко небо, вдохнула полной грудью; увидев, как широка и красива земля, – расправила свободно крылья, и наполнилось её сердце радостью. Но вспомнила она родной лес, своих бабушек, Овто-медведя, и наполнила её печаль. От радости и печали родилась в ней песня. Запела Ойме о солнце и лесе, об Овто и старухе Кулдыркай, о счастье и страхе, о радости и о любви. Долгая получилась песня, красивая. Все, и звери и птицы, заслушались её песней, люди вышли из домов, замороженные её сиянием. Только бабушка сидела у старого зеркала и печалилась. Зеркало это было таким старым, что уже не могло ничего отражать, и последнее, что оно видело, так и осталось в нём, как на картине: Ойме и Овто, ставшие вместе на минуту людьми.

Услышали люди песню, доселе неслыханную, увидели птицу, доселе невиданную, стали меж собой говорить: что за птица такая невиданная? что за песня такая неслыханная? Тут нашлись сразу герои-охотники, вызвавшиеся пойти в лес и поймать эту редкую птицу. Непокойно стало в лесу: тут и там охотники крадутся, из ружей стреляют, силки-ловушки ставят. Не могла больше петь птица-Ойме – приходилось только скрываться и прятаться. Снова пришёл ей на помощь Овто: он всегда был с ней рядом, находил ей надёжные укрытия, примечал хитрости охотников. Но скоро прознали охотники о медведе-помощнике, стали и на него ставить капканы, разорили его землянку.

Узнала третья бабушка о том, что творится в лесу, и послала отражение старого зеркала к Анге на небеса, стала просить Большую Анге помочь Ойме и Овто. Увидела Анге отражение, где Ойме и Овто в человеческом облике за руки держатся, услышала просьбу старой бабушки, подумала и сказала:

– Снова сделать их людьми я не могу. Разве только на время...

С тех пор Ойме и Овто могут снова быть людьми. Они построили себе дом в лесу и стали жить вместе. Превращаясь в медведя, Овто уходил в лес, а Ойме, делаясь птицей, летала высоко-высоко, но уже не пела. От этого ей было очень тяжело. Песня копилась в её груди и росла, мучила, не имея выхода. Однажды Ойме поняла, что больше не может терпеть, и скопившаяся песня вот-вот разорвет её на части. Она полетела в старую землянку, где раньше жил Овто, уже почти засыпанную землей, забралась в неё – и скоро снесла яйцо. Из яйца вылупился птенчик, весь в пёрышках с медным отливом, со звенящим, как лесной ручей, голоском. Он расправил крылышки и полетел по свету, за леса, за моря, петь новую песню Ойме. С тех пор каждая новая песня Ойме рождается птенцом, который летит по миру.

Возвращаясь в свой лесной дом, птица и медведь превращаются в людей и живут как муж и жена. Охотники останавливаются у них на ночлег, не догадываясь о том, что едят щи, приготовленные той самой птицей, которую они давно ищут, и сидят за столом с медведем, на которого ставят капканы. Но свадьбы играть Ойме и Овто не стали – побоялись, что Анге сделает их людьми навсегда, и Ойме больше не сможет летать, а Овто умрет от тоски по звериной свободе.

Недавно у Ойме и Овто родился сын. Он растёт не по дням, а по часам. В темноте его голубые глаза светятся яркими вишнями. Он любит слушать, как ветер играет на трубе, и говорит, что скоро пойдет её искать...

Саранск.

Лоскут

АНАНИЙ ЯКОВЛЕВ

Д А Л Ь Н И Е

П О Л О С Ы

Короткие рассказы

1965г.

Воскресенье

ПИСЬМО ГОРЬКОГО К АНАНИЮ ЯКОВЛЕВУ

Вместо предисловия

Перед нами письмо из Италии:

15 февраля 1930, Сорренто.

А.Ф. Яковлеву.

Вы, товарищ, спрашиваете: "Чего не хватает нашим молодым писателям" для того, чтобы книги ихние "брали за живое"? И затем говорите, что по-вашему, одним недостатком "выучки" эту "нехватку" едва ли можно объяснить.

Выучек — две, одна — лыко драть, другая — лапти плести. Лыко драть — значит: копить материал, уметь видеть, слышать; уметь чувствовать за всякого другого человека, и "праведного" и грешного, уметь найти в хорошем — плохое, в плохом человеке — хорошее, человеку. Лапти плести — уметь расположить материал так, чтоб всякая мелочь на месте была, а лишнего — ничего, чтоб все било и в нос, и в глаз, и в лоб читателя.

Вот это и есть — техническая, литературная выучка, и дается она — с трудом, как всякая выучка: агронома, доктора и т.д. Я вот пишу скоро 40 лет, а не могу ска-

зять, что умею писать так, как хотел бы, выучки-то все-таки не хватает. И не мало среди литераторов есть людей, весьма много переживших, видевших и слышавших, — рассказывают они об этом — хорошо, а пишут — плохо.

Выучка, техника — великое дело, товарищ, без нее мы бы и теперь сохой землю ковыряли и одевались в зверинные шкуры. А вот выучились тракторами пахать, из дерева шелк делаем.

Нет, товарищ, надобно учиться всегда, всему, надобно напрягать все силы для того, чтобы больше знать, все знать. Встарину говорилось, что "познание умножает скорбь", — в этих словах есть правда, но не вся. Горько и тягостно познание, когда видишь, что люди живут тяжело и плохо, но — великая радость знать, что они понимают, а многие уже и поняли, что надобно жить лучше и работают для того, чтобы всем лучше жилось.

Молодые писатели — молоды, это тоже недостаток их, но, вы знаете, это — проходит. Торопятся они, небрежно работают, часто портят свой материал, да и язык родной, русский, плоховато знают, а писатель должен отлично знать свой язык. Вот как Пушкин, Гоголь и др. отлично знали его.

Будьте здоровы, товарищ.

Всего доброго.

М. Горький.

15.11.30.

Предлагаемая вниманию читателей книжка "Дальние полосы" — пять коротких рассказов — и есть, собственно, ответ сельского учителя Анания Яковлева Горькому.

Могут заметить, что ответ задержался.

Действительно, эти пять рассказов написаны в продолжении срока громадного — несколько десятилетий, включая сюда и 1964 год. Но в том-то и дело!

Тут мы имеем литературное явление особого порядка.

Во многообразном мире русской литературы находим мы имена совершенно выделяющиеся, занимающие свое и только им принадлежащее место. Писатели эти и их произведения светятся в великом созвездии литературы России своим, неповторимым светом, излучают свои, неповторимые лучи. Сюда относятся Засодимский и Прокунин, Вольно^В и Ерошин, и много других, хотя они исчисляются не сотнями.

Павел Засодимский написал "Хронику села Смурина", и мы неотразимо и доподлинно видим в этой хронике Россию; Иван Ерошин — поводырь слепых, а затем поэт дореволюционной "Правды" — лучом своего стиха пронзил громадные пространства России от отчей курной избы в Рязанской губернии, до горных долин сияющих льдами белков Алтая. И так у каждого из них, этих писателей.

Они не создали произведений, которые ознаменовали бы собою эпоху. Их имена не славословят в литературных поминальниках. Их книги не толсты. Всё это непреложно так. Но без них, без их имен и творчества, без этих нетолстых книг и книжек немыслима литература России. Наличие их — особенности русской литературы и только ее. Без нее, этой особенности, мы не смогли бы объяснить ни Толстого и Достоевского, ни Некрасова и Есенина, сказать тверже: без них, без тех имен, без тех нетолстых книг и книжек русская литература оказалась бы ущербленной, не-русской, не той, которая завоевала человечество и его духовный мир.

Дело в том, что это — родниковая литература.

Благотворная сила ее объясняется тем, что она идет из самых глубоких и глубочайших недр народных, совершая такой же неизъяснимый путь, какой совершает родник, выходя из зем-

ных недр на поверхность, к солнцу.

При такой своей природе не могут быть эти произведения спешными, в угоду дню, господствующему нраву, мимолетучей моде и прочему и прочему такому.

Помимо того, что их авторы необыкновенно талантливо умеют видеть, слышать, чувствовать, и верны правилу "Не смеяться, не плакать, а понимать", они самоотверженны в труде. Произведения родниковой литературы — творения многолетние. В них вложен труд колоссальный. В этом отношении авторов можно сравнить лишь с гранильщиками алмазов — так они упорны, неторопливы и неиссякаемо деятельны. Вместе с талантом такой труд становится колдовским по силе воздействия на человека, того решающего свойства литературы, о котором пишет Горький Ананию Яковлеву.

Не лежат родниковые книжки на полках магазинов и не требуется рекламировать их, чтоб продать, а то и носить по домам в поисках читателя, которого часто ^{с/}неркачивается, не глядя на пространные статьи хвалебной критики в газетах, журналах, радио и даже в телевидении. Объясняя мир, помогая людям жить, ибо они полны философского смысла, эти нетолстые книги и книжки свидетельствуют непреложную правду Горького также и в том, что он называет двумя выучками.

К родниковым книжкам следует отнести, по нашему мнению, и книжку Анания Яковлева "Дальние полосы".

Рассказы и очерки Анания Яковлева печатались в районных газетах, что тоже весьма знаменательно. Печатались они тут издавна, регулярно, но весьма не часто. Строгость к себе и высокое чувство ответственности перед изображением людей

и их души не оставили автора и теперь, когда он согласился издать свою первую книжку. Из одиннадцати произведений, отобранных поначалу, оставил он, в конечном, только пять, и даже хотел — только четыре.

Не будем их пересказывать, хвалить или хулить, или хвалить и хулить в одно и то же время — читатель сам составит о них мнение и даст им цену. Мы же скажем еще несколько слов о духе творчества Анания Яковлева, с целью, так сказать, итога: в чем же именно отразился в них склад народного характера.

Да, "познание умножает скорбь", если оно, это познание, остается мертвым или другими словами — созерцательным. Советская литература по своей революционной природе обезопасена от умножения скорби, ибо чужда созерцательности. Она действующая. Такой создала ее партия. Некричащие, ничем не вздобранные рассказы Анания Яковлева наполнены жизнедеянием настолько, что порою кажется, что это вовсе не сочинения, а живые, дымящиеся куски бытия людского, каким-то чудом выхваченные из того бурного и горячего потока, который мы называем жизнью. Есть произведения скульптуры слитные с живой действительностью в столь предельной мере, что кажется будто и не применялся тут резец, а все явилось само собою. Так обычно трудится только народ — повседневно, постоянно, изо дня в день, что и обозначает творчество жизни. И, именно, это осчастлиливает человека.

И, именно, это и есть подлинное, человеческое счастье.

В. В е л и ч к о.

Апрель 1965,
починок Болотовский.
Кострома.

В. Величко.

ЖИЗНЬ ФИЛИППА

Керосиновая лампа, без стекла, еле-еле освещала довольно обширное помещение крестьянской избы. Временами огонек тускнел, колебался и, казалось, вот-вот его поглотит густой мрак, притаившийся по углам, но чья-то неразличимая в полутьме рука вовремя приходила на помощь, и скудное мерцание по-прежнему освещало оклеенные газетами стены избы, большую печь, полати и плотную человеческую массу. Люди сидели на лавках, расположенных вдоль стен, и просто на полу. На псчке и полатах ютились подростки и малыши.

В переднем углу за небольшим столом сидели трое. Один из них, с всклокоченной рыжей бородой и такой же шапкой волос на голове, с каким-то безразличным видом переводил свой взгляд с плотной толпы, занявшей избу, на полати и печь, на темные углы около порога, на колеблющееся пламя лампы. Второй, низко склонившись ~~над~~^{над} столом, называл по списку присутствующих в избе крестьян, оглашая при этом количество земли, закрепленной за каждым хозяйством.

— Василий Кириллов, — не торопясь читал он в списке очередную запись, а затем, чуть помедлив, скороговоркой добавил: — пашни два гектара, сенокоса гектар, леса и прочих земель гектар, а всего земли четыре гектара.

Из темного угла у порога дрожащий голос подтвердил:

— Должно так, не считали мы на гектары-то, две души у меня земли всей.

- Филипп Николаев, - снова неторопливо читал сидевший за столом:

- пашни полтора гектара, сенокоса три четверти гектара, а всего земли три гектара.

Сидевший на лавке ближе к столу молодой русоволосый мужик при этих словах вдруг зачем-то надел на голову потрепанную ушанку, которую до этого комкал в руках, затем снял её и, снова комкая в руках, подтвердил уверенно и громко:

- Ошибки поди нет, так и в самом деле, полторы души мой надел.

Переключка продолжалась. Одни из присутствующих, подобно Василию Кириллову и Филиппу Николаеву, с различными замечаниями подтверждали размер своего земельного надела, другие, то ли по привычке, то ли вымещая на ком-то недовольство, а иногда и явную злость, порожденные событиями последних дней, упорно, без всяких оснований, оспаривали каждую цифру, названную при переключке, не к месту ссылаясь при этом на мирской луг, на дальний выгон, которые никто и никогда не измерял. Однако, в конце концов каждый из этой группы крестьян вдруг с непонятным безразличием говорил:

- Ну будь по-твоему, ладно, пиши так.

... Тяжелые раздумья, тревоги и яростные споры были позади. Теперь все решено. Деревня, исключая немногих, еще месяц назад проголосовала за колхоз. Сегодня этот колхоз принимал определенное обличье, он возникал и становился явью, особенно потому, что сейчас подсчитывали землю, которая становилась колхозной. А завтра третий из сидевших за столом, землеустроитель,

- 3 -

совсем необычно, зимой, по глубокому снегу, ^{определил} ~~попутно~~ границы колхозных земель и отрезет от этой большой земли жалкие клочки для тех немногих, кто пытался, затрачивая неизмеримо большие усилия воли, идти против бурного течения, под напором которого трещали и рушились вековые устои деревенского быта.

II.

К обмеру колхозной земли приступили ранним февральским утром. Помогать землеустроителю вызвались четверо, и среди них — Филипп Николаев. Каждый из них настолько хорошо знал любой угол деревенской земли, что без труда мог с повязкой на глазах найти свою полосу среди десятков таких однообразных, и таких до мелочей схожих крестьянских полос. Эти четверо, несмотря на глубокий снег, безошибочно знали где кончается каждая полоса, где проходит граница ^лмирского луга, знали даже, где петляет по этому лугу узкая-узкая тропка, проложенная, должно быть, их дедами. Потому-то и встали они этим утром на лыжи, сопровождая землеустроителя.

Недолог зимний день. Хотя и февраль на дворе, и солнце в полдень уже не по-зимнему ласково, но все же едва-едва успевали засветло обойти какую-то четвертую часть окружной границы. Вечером землеустроитель наносил на карту итоги дневной работы. Но и тут нельзя было обойтись без помощи тех, кто ходил с ним днем по снежным полям. Однако, эта помощь ^снасилась другой характер. Тут нужен был советчик, отчетливо помнивший каждый поворот границы, каждый изгиб поля или луга. А в таких делах лучше Филиппа не было в деревне мужика. И Филипп в роли

"консультанта" почти неотлучно находился при землеустроителе целую неделю.

Землеустроитель, подобно людям схожей с ним профессии, был любознателен. Он всегда пытался понять причины, побуждающие того или иного человека свершать или творить что-то. Филипп казался ему мужиком незаурядным. И в долгие зимние вечера отдельные эпизоды жизни Филиппа, кусочки воспоминаний, как бы вскользь попутно рассказанные им, воссоздавали и прошлое и богатый духовный мир крестьянина.

Ш.

Первое из детских воспоминаний связано было у Филиппа с зимними холодами. Он сидит на печке и монотонно повторяет одно и то же:

- Ма-а-м, пусти гулять.

- Сиди, сиди на печке, куда пойдешь босой, знаешь ведь, обуться-то не во что, - отвечает мать, гремя у печки ухватами.

- Я Настюшкины сапоги надену, ма-а-м...

- Еще чего, поговори вот у меня, сколько Настёнка ждала, две зимы дома сидела.

А с улицы ясно доносится детский смех, крики. Товарищи Филиппа, родители которых были, как говорили в деревне, побогаче, не боясь холода, шумной ватагой толпились на горе, под самыми окнами Филипповой избы. Кое-кто из них, как будто вспомнив, что с ними нет Филиппа, время от времени подбегает к окнам и весело кричит:

- 5 -

- Филюшка, выходи гулять!

А потом также быстро бежит с горы, догоняя санки, забитые плотной кучей ребятишек.

А Филипп с тоской глядит через стекл~~а~~ окна, покрыт~~ы~~ прозрачными узорами.

IV.

На всю жизнь запомнилось Филиппу моление у странников. Вместе с группой парней, также работавших у Лобанова, зимним субботним вечером, помывшись в бане, отправились они за несколько верст, в Ряхино, небольшую деревушку, где находилась келья странников. Пришли туда около полуночи. Келья представляла из себя заднюю половину обычной крестьянской избы, выходившую окнами на огороды. От передней половины избы отделялась она холодным коридором. В передней половине, маленькие оконца которой уныло и неприветливо поглядывали на деревенскую улицу, жила обычная крестьянская семья, приютившая "бежавших от мира" последователей секты странников.

Вскоре келью заполнили как местные, жители Ряхина, так и пришедшие из окрестных деревень. Раздевались в проходе между русской печью и стеной. Были тут и пожилые мужики и женщины, были и молодые парни вроде Филиппа. Многих Филипп знал по работе на лобановском заводе. Все они недосыпали, недоедали, каждый день работали у Лобанова с двух часов утра и до шести вечера с небольшими перерывами на завтрак и обед. И для всех их воскресенье было единственным днем в неделе, когда

можно было выспаться. И, пожалуй, не было большего желания ни у кого из присутствовавших, лишь только бы заснуть. Однако все они пришли сюда, а многие, как и Филипп, проделали немалый путь, чтобы добраться до кельи.

"Бежавших от мира" проживало в келье несколько человек, большей частью преклонного возраста. Старшим среди них был Лёва, по прозвищу Загустинский. Непременным условием вступления в секту странников считался обряд водного крещения. При этом вступающему присваивали новое имя. Уж очень любили вожаки секты называть вступающих "мудренными" именами, которые или вовсе не встречались в крестьянской среде, или встречались в виде исключения. Здесь почти нельзя было встретить Ивана, Петра, Николая, но зато в каждой келье жили Иеремия, Лев, Давид, Самуил. Так поступили и с крестьянином преклонных лет из деревни Загустино, назвав его при крещении Львом. Но кличка деревни прочно укрепилась за этим старцем, и в какой бы келье не проживал Лёва, везде и всегда называли его Загустинским.

Нелегкую жизнь прошел Лёва. Было у него когда-то и хозяйство, из таких, которые в деревне коротко, но выразительно характеризовались словами: так себе. Для всех было привычно, что за этими словами скрывалась и нужда, не покидавшая мужика, и долги, постоянно висевшие за его плечами, но мужик все же тянулся, еле-еле сводил концы с концами, но никогда при этом не бросал землю. Даже самая мысль уйти от земли показалась бы ему кощунственной, как говорили странники, называя этим именем любое вольнодумство по отношению к основным

догматам их секты. Но пришла пора, когда Лёва оказался не у дел. Жена умерла, сыновья обзавелись своими семьями, в его доме хозяйствовать стал младший сын, а сноха постоянно злыми глазами неотступно следила за каждым шагом Лёвы, считая его лишним ртом в семье. Мрачные дни ожидали ~~впереди~~ мужика. Но в свое время заметили старцы из секты странников способность Лёвы "доходить до корней" любого запутанного вопроса и понятными для всех в деревне словами раскрывать "глубину мудрости". И предложили они Лёве вступить в секту. Все же это был лучший выход по сравнению с тем, что ожидало его впереди. Так Лёва стал старшим в келье странников, а такие кельи в его краю были нередкостью.

К моленью приступили вскоре после полуночи. Продолжалось оно без перерыва не менее шести часов. Монотонное чтение временами прерывалось пением, в котором могли принимать участие только крещеные, а остальные молящие, ^{сх} вроде Филиппа, молчаливо созерцали все действия старцев и стариц, терпеливо выстаивая все эти долгие часы. Рассевшись после моленья по лавкам кельи, приготовились слушать "поучение". Это-то и было тем моментом, который остался в памяти Филлипа. Обычно "поучение" заключалось в чтении какого-либо "жития святого" с краткими объяснениями. Но Лёва придавал этой скучной процедуре своеобразную форму, по-своему излагая непонятные жития, каждое древнеславянское слово которых было чуждо слуху крестьян.

На этот раз темой "поучения" Лёва избрал один из "псалмов пророка Давида", прочитанных до этого на молении. В псалме речь шла о трех еврейских отроках, плененных войсками Вавилона, о пребывании их в плену, о стойкости этих отроков. Лёва почти

не заглядывал в тяжелую книгу в кожаном переплете, раскрытую у него на коленях. Да и читал он славянскую вязь этой книги с большим трудом. Но псалом знал на память, а книгу на коленях держал "ради величия", чтобы придать большую силу своим словам в глазах слушателей. "На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом, ~~всегда~~ помянути нам ~~Сина~~ ...", протяжно произнеся слова псалма, Лёва после небольшой паузы начинал "толковать". И перед мысленным взором собравшихся возникали их родные реки и речки, спокойные и тихие, заросшие тальником и ольхой. Они, конечно, ничем не походили на реки Вавилона, но Лёва говорил именно о родных берегах своих речек. Он на миг допускал возможность появления врага на этих берегах и спрашивал их: разве не плакали бы они при такой обстановке, утратив свободу родной ~~земли~~? И вспомнив о своих полосах и лугах, представил ~~себя~~ себя оторванными от мест, где жили деды их и прадеды, многие невольно начинали плакать, вместе со всеми плакал и Филипп. А Лёва продолжал свою беседу. Враги предложили пленникам спеть свои песни. "Како воспоем ~~песнь~~ на земле чуждей?..." приводил Лёва слова псалма и снова толковал. И снова в воображении слушателей возникала чужбина. Разве будет веселиться сердце на чужбине? Повернется ли язык для песен в дальнем чужом краю? Многие из них знают, как они тосковали по родным деревням, когда нужда бросала их в поисках куска хлеба по разным местам России. До песен ли было им тогда? Филипп не знал еще таких переживаний, пока он не расставался с родным домом, но угадывал всю тяжесть такого расставания. И картина пребывания на чужбине, нарисованная Лёвой, становилась страшной и для него...

- 9 -

Позднее Филипп пытался определить источник неотразимого впечатления Лёвиных бесед. С этой целью он даже не раз заводил разговор с мужиками из Загустина, но ничего, кроме того, что Лёва очень любил землю, Филипп не узнал.

У.

Филиппу не было и тринадцати лет, когда его впервые отец определил на завод местного кулака.

Странные, на первый взгляд, это были заводы, расположенные в гуще крестьянского населения и, подобно пауку, существовавшие за счет жизненных сил этого народа. Они не были обычными предприятиями, работа на которых проводится в течение всего года. В то же время нельзя было назвать их и сезонными. Сезонные заводы и заводчики связаны были с переработкой определенного сырья, выращиваемого на крестьянских землях. Кончалось сырье — замирала жизнь на таких заводах до следующего сезона. Завод, куда поступил Филипп, выпускал валяную обувь. Огромные запасы шервти круглый год не иссякали на складе завода. Однако, как правило, и здесь замирала работа в летние месяцы. И объяснялось такое явление исключительно ~~отсутствием~~ ^{составом} рабочей силы. Все работавшие на заводе были связаны с землей. Пусть и низки урожаи, пусть и не кормила их земля, пусть нередко была она для многих из них мачехой, но крепко держались земли все они. И мирился поэтому кулак-заводчик с вынужденным простоем завода летом, старлицею ^{8/}возмещая упущенное в оставшееся время года.

В два часа ночи будил отец Филиппа, и почти всей семьей, исключая мать, отправлялись они на завод. Идти было недалеко. Отец привычно входил в темный проход заводского корпуса и в темноте наощупь находил первые лестничные приступки. Нижний этаж корпуса занимали шерстообитные машины, здесь было малоллюдно и сравнительно тихо. Зато на втором этаже, где проходила закладка и катка валяной обуви, было шумно. В тусклом свете керосиновых ламп мелькали полуголые люди. Испарения человеческих тел и плотные слои пыли, поднимавшиеся из-под рук рабочих, которые раскладывали шерсть на повалах — длинных и широких полотнищах грубого домотканного льняного полотна, создавали ^{своеобразную} ~~особую~~ атмосферу, свойственную ~~этой~~ этой части завода. Филипп с первых же дней стал выполнять обязанности "каталя". Работа эта была не только изнуряющая, она подавляла все мысли, из всех человеческих желаний к концу дня оставалось одно — только бы лечь где-нибудь, пусть на этом покрытом липкой грязью и клочками шерсти полу, и лежать недвижимо. Не было силы идти домой, всё окружающее растворялось и меркло в какой-то дымке, а внешние события и даже голоса людей, не оставляя следа в сознании, воспринимались как нечто лишнее и ненужное.

У каждого мастера-закладчика были два "каталя". Филипп работал у отца. Вместе с ужасами завода, которые потом, много лет спустя, всё еще напоминали о себе в кошмарных снах, сознание запечатлело неповторимо близкий образ отца. С двух часов ночи и до позднего вечера отец, полуголый, с ввалившейся грудью, в затхлой атмосфере завода, не переставая ни на минуту, раскладывал шерсть на мокрых повалах, создавая основу многих пар

- II -

валяной обуви. Пару за парой передавал он каталям, а значит, и ему, Филиппу, а он должен был эту, пока еще бесформенную массу из шерсти, укатывать своими руками до тех пор, пока она не становилась плотной и настолько прочной, что её невозможно уже было разорвать руками.

Видел Филипп: усталость сковывала его отца. Иногда, принимая новую партию шерсти, отец на минуту присаживался на край закладочного стола, и по его лицу Филипп угадывал, как невыносимо тяжело подниматься отцу снова на ноги и продолжать прямо-таки мерзкую эту работу. А к концу дня ручейки пота, не иссякая, стекали по его телу, и он уже не имел никаких сил стереть этот пот хотя бы с лица. Но даже и в эти особенно тяжелые последние часы рабочих суток отец, улучив минуту, как бы мимоходом прикасался рукой к Филиппу, тихо гладил его мокрую голову и скупно говорил:

-Ничего, Филя, ничего, вот справим нужду нашу, куплю тебе к празднику на рубашку.

И не было сладостнее для Филиппа иного мгновения, чем это прикосновение ласкающей теплой руки отца. На какое-то время исчезала гнетущая тяжесть непосильного труда, вновь появлялись и сила, и ясное сознание. Новая рубашка к празднику - ну кто не думает об этом из ребятшек его деревни! Немного таких праздников в году, когда покупали для них новые рубашки - пасха и рождество. Но нет, вовсе не это обещание было дорого для Филиппа: он чувствовал за скупой лаской отца признание его труда, его работы, необходимой для семьи. А потом, и ласка отца, какая радостная и большая это награда.

Лоскут

- 12 -

Иногда на верх, где работал Филипп, заходил хозяин завода, Федор Лобанов. Он с достоинством и величием шествовал в проходах между закладочными столами, его грузное тело не умещалось в этих проходах, и поэтому рабочие были вынуждены на это время прекращать катку валянок, чтобы не мешать хозяину. Федор Лобанов ежедневное задание каждому рабочему называл "уроком". И двигаясь вдоль рядов выстроившихся рабочих, он невнятно, но упорно повторял:

- Урок, урок, не забывай об этом, будет урок - полтину получишь, нет урока - двугривенный долой, тебе убыток, а я добра хочу, добра вам хочу.

Полтина /пятьдесят копеек/ полагалось на заводе мастеру за урок. И никто из самых расторопных рабочих не выполнял этого урока раньше пяти-шести вечера, почти с полуночи начиная работу. А плата "каталям" была вдвое меньше.

За все шесть долгих лет пребывания на заводе, исключая летнюю пору, Филипп не мог припомнить и дня, когда бы он не чувствовал постоянного отвращения к этой навсегда опостылевшей работе.

VI.

Восемнадцать лет мобилизовали Филиппа в армию и после короткой подготовки отправили на фронт. Шли первые месяцы мировой войны. Впервые очутился Филипп вне дома, в чуждой ему обстановке. И здесь он ощутил ту гнетущую тоску по дому, о которой так ярко говорил когда-то Лёва Загустинский. Его

- 13 -

сновидения были заполнены образами отца, матери, он чувствовал их близость, казалось, ощущал прикосновение их рук, а просыпаясь, снова наблюдал ту же казарменную обстановку, а позднее грязные окопы. И трудно сказать, что больше угнетало его на фронте: тяжелая ли тоска по близким и прежде всего разлука с отцом и матерью или постоянный страх скорой смерти, которая как будто ходила по пятам за каждым солдатом.

Окончание войны застало Филиппа в немецком плену. Потом, спустя несколько лет, он не мог даже отчетливо представить себе чередование событий того времени. Порой ему казалось, что обычная жизнь прекратилась, а вокруг него какое-то подобие людей, и сам он уже перестал быть человеком. Все усвоенные им с детства понятия о достоинстве человека в обстановке плена утратили свой смысл. И только прочная нравственная связь с прошлым, стремление во что бы то ни стало снова видеть свою деревню, близких и родных, помогли ему выдержать все напасти, выпавшие на его долю.

УП.

Полной грудью вздохнула деревня, где жил Филипп, с первых дней Советской власти. И не потому, что уж очень много прибавилось земли. Нет, помещичьих земель в этой деревне не было, лишь "казенные" десятины возвращены были мужикам, да "купчие" луга, когда то захваченные местными

богатеями. Но сняли с деревни гнет различных сборов и податей, возвратилось ^{сам} достоинство и уважение крестьянина, утраченные ~~ими~~ в пору бесправия и нищеты. Прекратилась работа и на заводе Лобанова, и хотя непривычно это было и, как-никак, сказывалось отсутствие заработка, все же стало легко. Впервые за долгие, долгие годы появилась возможность взглянуть вокруг себя, задуматься над происходящими событиями.

Новая волна необыкновенной тяги к земле захлестнула весь край с отменой продразверстки. Даже безлошадные испоконь веков мужики, почти махнувшие на свои полосы рукой, начиная с весны, почти все сутки находились в поле. Они ловили каждый уповод, когда лошадь соседа временно простаивала, настойчиво упрашивали владельца лошади о помощи, и с большой любовью, почти с восторгом следил ^и за тем, как ложились пласты серой и влажной земли на их полосах.

Оживала деревня, менялся её облик. Сначала появились новые драночные крыши на месте соломенных, а потом то тут, то там возникали и дома из свежесрубленного леса. Да и дома эти были другими. Старые постройки смотрели на вольный мир маленькими, маленькими оконцами, в которые едва проходила голова человека. А теперь дома возводились с большими, чуть не в рост человека окнами.

В эту пору отец надумал женить Филиппа.

- В годах парень, возмужал, да и время позволяет, как-никак - недостаток появился, - советовался по этому поводу отец с домашними.

Невесту подобрали верст за десять от своей деревни. До этого Филипп никогда не встречался со своей невестой. Звали её Катериной.

- Ничего девка, работающая, смиренная, хорошая помощница будет мужу в хозяйстве.

Так отзывались о Катерине в её родной деревне. И это было лучшей характеристикой для жены крестьянина.

Вскоре после свадьбы стали готовиться к выделу Филиппа из семьи. И не потому, что лад не брал при совместной жизни. Нет, жили дружно, Катерина действительно оказалась характером на редкость покладистая, во всем угождала свекрови и очень легко "вошла в семью".

- Как будто век с нами жила, - говорили про нее домашние Филиппа. **З** Выделяли Филиппа лишь потому, что за ним подрастали его братья, которых тоже через год - два нужно было женить, а вместе всем не прожить, тесно будет в доме.

Лес для постройки дома Филиппу был заготовлен еще до свадьбы. С весны приступили к постройке, а к осени крестьянский дом был готов.

Покров провели вместе, а после праздника приступили и к разделу. Решающее слово при разделе оставалось за отцом. Но Филипп не перечил, знал он, что не может отец обижать. Лошадь оставалась в хозяйстве отца, договорились общими усилиями купить к весне Филиппу пока что хотя бы немудрого коня, а там видно будет. Корова тоже оставалась в отцовском хозяйстве, но за-то Филиппу передавалась хорошая нетель, выращенная заранее, в предвидении раздела. Из трех душ земли, которой владела семья

отца, полторы души выделили Филиппу. И это было вполне справедливо. Лишь при дележке кухонной посуды там, за перегородкой, свекровь и сноха временами начинали уж очень громко разговаривать, похоже, что они затевали спор. Однако, неопределенный вопрос отца, вроде: "ну что там у вас?" — сразу же вносил успокоение. Наконец раздел был закончен. Затешили перед образом свечу и немного помолились всей семьей. А потом стали прощаться, как перед долгим расставанием. Обняв Филиппа, отец заплакал. Он провожал сына, хотя и в привычную, но всегда по-своему неизведанную крестьянскую жизнь.

— Ну, дай тебе бог, Филя, не пропить, не проесть, живи по правде, никогда не лукавь.

Всплакнули, прощаясь и свекровь со снохой, но больше так, для порядка.

До порога нового дома Филиппа с женой провожали всей семьей, но в дом при этом не зашли, не время для этого.

И зажил Филипп самостоятельной крестьянской жизнью.

УШ.

С новой силой вспыхнула у Филиппа вековая крестьянская привязанность к земле, когда он своими руками стал возделывать отведенный ему надел. Лошаденку к весне купили, правда, старую, всегда дремавшую даже при короткой остановке, но все же она таскала плуг, справлялась и с небольшим возом, а это уже было почти хорошо для хозяйства. Теперь он не мыслил себя

без земли. Эти узкие полоски, раскиданные в трех полях, вошли в его жизнь и заняли в ней главное место,

Однажды, еще до войны, он был свидетелем горячего спора между двумя крестьянами своей деревни, возникшего по поводу межи. Разделявшая полосы узкая межа была наполовину припахана одним из крестьян к своей полосе. Филипп был очень удивлен в то время, и спор их напоминал ему детские ссоры, возникавшие из-за всякой мелочи. Но теперь он и сам ревниво следил за межами и, пожалуй, тоже поднял бы скандал, случись такое сейчас. Иногда он размышлял: что это — жадность? Нет, никто и нигде не считали его жадным. На фронте и в плену он готов был с каждым делиться последней крошкой хлеба, и это знали его товарищи. Да и сейчас он мог отдать любому из соседей последние копейки, имевшиеся в его хозяйстве. Но вот что касается земли, тут он не мог поступиться ни одним вершком.

При всем этом была и еще одна особенность его привязанности к земле. Все воскресные дни весны и лета, когда деревня отдыхала, бредил он по полям. И тут уж его собственные полосы отступали назад. В эти дни он как бы чувствовал себя хозяином больших деревенских полей и лугов. На его глазах за лето поднимались и вызревали хлеба, расцветали луга, и это радовало его больше, чем урожай, какой бы он ни был, на собственных полосах. И если он замечал иногда зашедший на посеvy или луга, по оплошности пастуха, скот, возмущению его не было границ и он не успокаивался до тех пор, пока сам не сгонял скот с полос. Любая погрыва урожая на чьей бы то ни было полосе всегда переносилась им с болью.

x

x

x

В послевоенные годы случайная командировка забросила землеустроителя в те края, где когда-то он слушал рассказы Филиппа о своей жизни. Местность эта сравнительно далеко находилась от фронта. Враг не топтал Филипповых полей. Но война на всех оставила свою печать.

Колхоз в деревне Филиппа существовал и в трудные послевоенные годы копил жизненные силы. Но теперь он уже состоял из нескольких деревень. Один из сыновей Филиппа возглавлял бригаду в своей деревне.

Разговор, завязавшийся с бригадиром, был продолжением повести жизни Филиппа.

- Погиб отец наш на фронте. Рассказывает один из соседней деревни, с ним служил, на его глазах погиб. Говорит, что люто дрался отец с фашистами, даже удивлялись, в роте, замечали ему, что, мол, ты, пожилой, семья поди есть, а на месте не удержишь, все вперед рвешься.

И вспомнились человеку переживания Филиппа в плену еще в той, первой войне, его необъяснимая ~~жизненная~~ ^{жизненная} ~~проблематичность~~ ^{проблематичность}, и земле, его тоска по родному краю, когда судьба надолго отрывала Филиппа от семьи, от деревни. Припомнились и такие слова, когда он как-то случайно заметил, что не было в их роду очень уж смелых людей, обыкновенные они. И понял человек, что не храбрость, не отвага двигала поступками Филиппа на

Фронте, а связь кровная с землей родной, тоска его по отчему краю.

И еще узнал человек, что до войны крепко сдружился Филипп с колхозом, как свой собственный берёг каждый колхозный колос. И за это уважали его в деревне и даже предлагали председател^ьский пост. Но Филипп уклонился от этого.

При прощании с сыном Филиппа, спросил его приезжий, не скорбят ли в семье о том, что безвестна могила отца их, негде поклониться его праху.

- Плохо, что и говорить, - ответил сын. - Однако в русской земле покоится отец, не на чужбине.

МНОГОГОЛОСИЕ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

Жизнь можно унижить, искалечить, исказить, в конце концов отнять, но пока она есть, даже в самом последнем углу, на исчезающе малом пространстве последней свободы, она полна собой: своей мыслью, любовью, надеждой, своей единственностью, своим цветом.

И.А. Дедков

Русская общественная мысль, о которой иногда говорят почему-то в прошедшем времени, не отошла в прошлое. На деле это живой непре-секающийся процесс, выдвигающий вперед все новые идеи и фигуры. Общественную мысль в России невозможно подменить партийными программами или популярными нынче “технологиями”, имеющими дело с обезличенными массами людей. Она традиционно обращена к человеку, его внутреннему миру, возможностям его самосовершенствования и связывает воедино вещи, казалось бы, несоединимые: политику и нравственность, быт и эстетику, экономику и народные идеалы.

На огромных просторах России течет своя жизнь, далекая от столичной, идет напряженная и вполне оригинальная мыслительная и творческая работа. Об этой работе мало что известно. Важно знать историю идей, произраставших на отечественной почве. Но не менее важно знать, над какими «проклятыми вопросами» бьются сегодняшние наследники русской общественной мысли, наши с вами современники. Видеть их лица.

ИМЕННО ЭТОМУ СЛУЖИТ НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «ПИСЬМА ИЗ РОССИИ».

Еще одна задача журнала – положить начало литературной летописи народной жизни последнего двадцатилетия, времени радикальных переворотов и катастрофических сломов, горестными масштабами сравнимых только с революционными десятилетиями начала XX века. С каждым днем уходят подробности. Важно зафиксировать жизнь в ее сегодняшней и недавней подлинности, не пропустив ни одну человеческую трагедию.

Шлите нам статьи, очерки или эссе, стихи, рассказы, повести, просто письма. Наиболее интересные произведения и мысли появятся на страницах очередного номера.

Рассматриваются произведения любых жанров объемом не более 4 авторских листов (1 авт. л. = 40 тыс. знаков). Рукопись должна быть набрана на компьютере и прислана по электронной почте (sayakovlev@yandex.ru). Принимаются иллюстрации (рисунки, графика) и документы, представляющие художественную ценность либо имеющие общественное значение.

**ДОСТОИНСТВО РОССИИ, ОСМЫСЛЕННОСТЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ –
ДЕЛО ВАШИХ УМОВ И ТАЛАНТОВ!**

